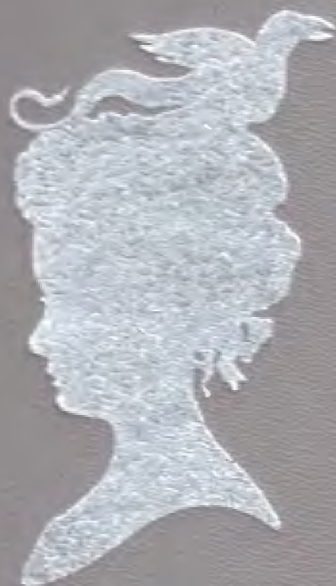


EDGAR ALLAN POE

Poems



Стихотворения

ЭДГАР АЛЛАН ПОЭ

EDGAR ALLAN POE

ЭДГАР АЛЛАН ПОЭ



Edgar Allan Poe



EDGAR ALLAN POE

Poems



Moscow

Raduga Publishers

1988

ЭДГАР АЛЛАН ПО

Стихотворения



Москва

„Радуга“

1988

Составление и комментарии Е. К. НЕСТЕРОВОЙ
Предисловие А. М. ЗВЕРЕВА
Художник Ю. М. СКОВОРОДНИКОВ
Редактор С. Б. БЕЛОВ

По, Эдгар Аллан
СТИХОТВОРЕНИЯ. Сборник. Сост. Е. К. Нестерова.— На англ. яз. с параллельным русским текстом.— М.: Радуга.— 1988.— 414 с.

Издание является самым полным из выходивших в СССР собраний стихотворений крупнейшего американского писателя-романтика; текст печатается с параллельными русскими переводами. В Приложении воссоздается история освоения поэзии По в России — от переводов 70-х годов прошлого столетия до новых работ; большинство стихотворений приводится в нескольких переводах, выполненных с различных творческих позиций.

© Составление, предисловие, комментарии и переводы, отмеченные в содержании *, издательство «Радуга», 1988

П $\frac{4703000000—531}{031(01)—88}$ — 430—88

ISBN 5-05-001854-4



CONTENTS СОДЕРЖАНИЕ

A. <i>Зверев. «Подводное течение смысла»</i>	13
--	----

POEMS СТИХОТВОРЕНИЯ

1. TAMERLANE	38
ТАМЕРЛАН. <i>Перевод И. Озеровой</i>	39
2. SONG	52
ПЕСНЯ. <i>Перевод Н. Вольпин</i>	53
3. DREAMS	54
МЕЧТЫ. <i>Перевод Ю. Корнеева</i>	55
4. SPIRITS OF THE DEAD	56
* ДУХИ МЕРТВЫХ. <i>Перевод В. Топорова</i>	57
5. EVENING STAR	58
ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА. <i>Перевод Ю. Корнеева</i>	59
6. A DREAM WITHIN A DREAM	60
СОН ВО СНЕ. <i>Перевод В. Брюсова</i>	61
7. STANZAS	62
СТАНСЫ. <i>Перевод Ю. Корнеева</i>	63

8. A DREAM	64
СОН. <i>Перевод Г. Кружкова</i>	65
9. THE HAPPIEST DAY	66
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ! СЧАСТЛИВЫЙ ЧАС! <i>Перевод</i> <i>Т. Гнедич</i>	67
10. THE LAKE—TO —	68
ОЗЕРО. <i>Перевод Ю. Корнеева</i>	69
11. SONNET—TO SCIENCE	70
СОНЕТ К НАУКЕ. <i>Перевод В. Брюсова</i>	71
12. AL AARAAF	70
АЛЬ-ААРАФ. <i>Перевод В. Топорова</i>	71
13. ROMANCE	94
РОМАНС. <i>Перевод Ю. Корнеева</i>	95
14. TO— (Should my early life seem...)	96
К*** («Прежняя жизнь предо мной...»). <i>Перевод В. Брюсо-</i> <i>ва</i>	97
15. TO— (The bowers whereat, in dreams, I see...)	100
К*** («Та роща, где, в мечтах,—чудесней...»). <i>Перевод</i> <i>В. Брюсова</i>	101
16. TO THE RIVER—	100
К РУЧЬЮ. <i>Перевод В. Брюсова</i>	101
17. TO— (I heed not that my earthly lot...)	102
К*** («Не жду, чтоб мой земной удел...»). <i>Перевод</i> <i>В. Брюсова.</i>	103
18. FAIRY-LAND	102
* ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА. <i>Перевод Р. Дубровкина</i>	103
19. TO HELEN (Helen, thy beauty is to me...)	104
* К ЕЛЕНЕ. <i>Перевод Р. Дубровкина</i>	105
20. ISRAFEL	106
ИЗРАФИЛ. <i>Перевод В. Топорова</i>	107
21. THE SLEEPER	110
СПЯЩАЯ. <i>Перевод А. Эппеля</i>	111
22. THE VALLEY OF UNREST	114
ДОЛИНА ТРЕВОГИ. <i>Перевод Г. Кружкова</i>	115
23. THE CITY IN THE SEA	116
ГОРОД СРЕДИ МОРЯ. <i>Перевод Н. Вольпин</i>	117
24. TO ONE IN PARADISE	118

	ТОЙ, КОТОРАЯ В РАЮ. <i>Перевод В. Рогова</i>	119
25.	HYMN	120
	ГИМН. <i>Перевод А. Щербакова</i>	121
26.	SERENADE	122
	СЕРЕНАДА. <i>Перевод В. Топорова</i>	123
27.	THE COLISEUM	124
	* КОЛИЗЕЙ. <i>Перевод Р. Дубровкина</i>	125
28.	TO F—S S. O—D	126
	К Ф—С О—Д. <i>Перевод Ю. Корнеева</i>	127
29.	TO F—	128
	К Ф***. <i>Перевод Б. Томашевского</i>	129
30.	BRIDAL BALLAD	128
	ПОДВЕНЕЧНАЯ БАЛЛАДА. <i>Перевод Ю. Корнеева</i>	129
31.	TO ZANTE	130
	СОНЕТ К ОСТРОВУ ЗАНТЕ. <i>Перевод В. Рогова</i>	131
32.	THE HAUNTED PALACE	132
	ПРИЗРАЧНЫЙ ЗАМОК. <i>Перевод Н. Вольпин</i>	133
33.	SONNET—SILENCE	134
	МОЛЧАНИЕ. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	135
34.	THE CONQUEROR WORM	136
	ЧЕРВЬ-ПОБЕДИТЕЛЬ. <i>Перевод В. Рогова</i>	137
35.	LENORE	138
	ЛИНОР. <i>Перевод Н. Вольпин</i>	139
36.	DREAM-LAND	142
	СТРАНА СНОВИДЕНИЙ. <i>Перевод Н. Вольпин</i>	143
37.	EULALIE	146
	ЕВЛАЛИЯ. <i>Перевод В. Рогова</i>	147
38.	THE RAVEN	148
	ВОРОН. <i>Перевод М. Зенкевича</i>	149
39.	A VALENTINE	158
	ДРУГУ СЕРДЦА В ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА. <i>Перевод А. Щербакова</i>	159
40.	TO M.L.S—	160
	«ИЗ ВСЕХ, КОМУ ТЕБЯ УВИДЕТЬ—УТРО...». <i>Перевод</i> <i>К. Бальмонта</i>	161
41.	TO— (Not long ago, the writer of these lines...)	162
	К М. Л. Ш. <i>Перевод В. Топорова</i>	163

42. ULALUME—A BALLAD	162
УЛЯЛЮМ. <i>Перевод В. Топорова</i>	163
43. AN ENIGMA	170
ЗАГАДОЧНЫЙ СОНЕТ. <i>Перевод А. Щербакова</i>	171
44. THE BELLS	170
КОЛОКОЛЬЧИКИ И КОЛОКОЛА. <i>Перевод К. Бальмон- та</i>	171
45. TO HELEN (I saw thee once—once only—years ago...)	176
К ЕЛЕНЕ. <i>Перевод В. Рогова</i>	177
46. FOR ANNIE	180
АННИ. <i>Перевод А. Сергеева</i>	181
47. ELDORADO	188
ЭЛЬДОРАДО. <i>Перевод В. Рогова</i>	189
48. TO MY MOTHER	188
СОНЕТ К МОЕЙ МАТЕРИ. <i>Перевод В. Топорова</i>	189
49. ANNABEL LEE	190
ЭННАБЕЛ ЛИ. <i>Перевод В. Рогова</i>	191

UNCOLLECTED POEMS СТИХОТВОРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

50. O, TEMPORA! O, MORES!	196
* О, ТЕМПОРА! О, МОРЕС! <i>Перевод Р. Дубровкина</i>	197
51. TO MARGARET	202
* МАРГАРЕТ. <i>Перевод Р. Дубровкина</i>	203
52. TO OSTAVIA	202
* ОКТАВИИ. <i>Перевод Р. Дубровкина</i>	203
53. IMITATION	202
ИМИТАЦИЯ. <i>Перевод В. Брюсова</i>	203
54. ALONE	204
* ОДИН. <i>Перевод Р. Дубровкина</i>	205
55. TO ISAAC LEA	206
* АЙЗЕКУ ЛИ. <i>Перевод Р. Дубровкина</i>	207
56. ELIZABETH	206
ЭЛИЗАБЕТ Р. ХЕРРИНГ. <i>Перевод Ю. Корнеева</i>	207
57. AN ACROSTIC	208

* АКРОСТИХ. <i>Перевод Р. Дубровкина</i>	209
58. LINES ON JOE LOCKE	208
* СТРОКИ ДЖОЗЕФУ ЛОККУ. <i>Перевод Р. Дубровкина</i>	209
59. INTRODUCTION	210
* ВСТУПЛЕНИЕ. <i>Перевод В. Топорова</i>	211
60. FAIRY LAND	214
СТРАНА ФЕЙ. <i>Перевод В. Брюсова</i>	215
61. THE VALLEY NIS	218
ДОЛИНА НИСА. <i>Перевод В. Брюсова</i>	219
62. A PAEAN	220
ПЭАН. <i>Перевод В. Брюсова</i>	221
63. TO — (I would not lord it o'er thy heart...)	224
* К*** («Ни приказать, ни воспретить...»). <i>Перевод Р. Дубровкина</i>	225
64. THE DIVINE RIGHT OF KINGS	224
* НЕТ КОРОЛЕЙ ГОСПОДНЕЙ ВЛАСТЬЮ. <i>Перевод Р. Дубровкина</i>	225
65. STANZAS (TO F.S.O.)	226
* СТАНСЫ. <i>Перевод Р. Дубровкина</i>	227
66. TO MISS LOUISE OLIVIA HUNTER	228
* МИСС ЛУИЗЕ ОЛИВИИ ХАНТЕР. <i>Перевод Р. Дубровкина</i>	229
67. LINES ON ALE	228
* СТРОКИ В ЧЕСТЬ ЭЛЯ. <i>Перевод Р. Дубровкина</i>	229

ПРИЛОЖЕНИЕ

РУССКИЕ ПЕРЕВОДЫ 1878—1988

2а. ПЕСНЯ. <i>Перевод В. Брюсова</i>	234
3а. МЕЧТЫ. <i>Перевод В. Брюсова</i>	235
6а. СОН ВО СНЕ. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	236
8а. ГРЕЗА. <i>Перевод Эллиса (Л. Л. Кобылинского)</i>	237
8б. СОН. <i>Перевод В. Брюсова</i>	237
9а. СЧАСТЛИВЕЙШИЙ ДЕНЬ. <i>Перевод Е. Зета</i>	238
9б. СЧАСТЛИВЕЙШИЙ ДЕНЬ. <i>Перевод В. Брюсова</i>	239
10а. ОЗЕРО. К***. <i>Перевод В. Брюсова</i>	240

12а. ИЗ ПОЭМЫ «АЛЬ-ААРАФ». ГИМН НЕСЭСИ. <i>Перевод В. Брюсова</i>	241
17а. «Я НЕ СКОРБЛЮ, ЧТО МОЙ ЗЕМНОЙ УДЕЛ...». <i>Перевод К. Бальмонта</i>	242
18а. ФЕЙНАЯ СТРАНА. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	242
18б. СТРАНА ФЕЙ. <i>Перевод В. Брюсова</i>	244
19а. К ЕЛЕНЕ. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	245
19б. СТАНСЫ К ЕЛЕНЕ. <i>Перевод А. Салтыкова</i>	246
19в. К ЕЛЕНЕ. <i>Перевод В. Брюсова</i>	247
20а. ИЗРАФЕЛЬ. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	247
20б. ИЗРАФЕЛИ. <i>Перевод В. Брюсова</i>	249
21а. УСНУВШАЯ. <i>Перевод Н. Г-ского</i>	251
21б. СПЯЩАЯ. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	252
21в. СПЯЩАЯ. <i>Перевод В. Брюсова</i>	254
22а. ДОЛИНА ТРЕВОГИ. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	256
22б. БЕСПОКОЙНАЯ ДОЛИНА. <i>Перевод В. Брюсова</i>	257
23а. ГОРОД НА МОРЕ. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	258
23б. ГОРОД НА МОРЕ. <i>Перевод В. Брюсова</i>	260
24а. К ОДНОЙ ИЗ ТЕХ, КОТОРЫЕ В РАЮ. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	262
24б. ОДНОЙ В РАЮ. <i>Перевод В. Брюсова</i>	263
25а. ГИМН. <i>Перевод В. Брюсова</i>	264
27а. КОЛИЗЕЙ. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	265
27б. КОЛИСЕЙ. <i>Перевод В. Брюсова</i>	266
28а. В АЛЬБОМ. <i>Перевод В. Брюсова</i>	268
29а. К Ф. <i>Перевод В. Брюсова</i>	268
30а. СВАДЕБНАЯ БАЛЛАДА. <i>Перевод В. Брюсова</i>	269
31а. ЗАНТЕ. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	270
31б. К ЗАНТЕ. <i>Перевод Н. Новича</i>	271
31в. К ЗАНТЕ. <i>Перевод В. Брюсова</i>	271
32а. ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЗАМОК. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	272
32б. НЕПОКОЙНЫЙ ЗАМОК. <i>Перевод В. Брюсова</i>	273
33а. МОЛЧАНИЕ. <i>Перевод В. Брюсова</i>	275
34а. ЧЕРВЬ-ПОБЕДИТЕЛЬ. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	275
34б. ЧЕРВЬ ПОБЕДИТЕЛЬ. <i>Перевод В. Брюсова</i>	277
35а. ЛИНОР. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	278
35б. ЛИНОР. <i>Перевод В. Брюсова</i>	279

36а. СТРАНА СНОВ. Перевод С. Андреевского	280
36б. СТРАНА СНОВ. Перевод К. Бальмонта	282
36в. СТРАНА СНОВ. Перевод В. Брюсова	284
37а. ЛЕЛЛИ. Перевод К. Бальмонта	286
37б. НЕЛЛИ. Перевод Н. Новича	287
37в. ЮЛЭЛЕЙ. Перевод В. Брюсова	288
38а. ВОРОН. Перевод С. Андреевского	288
38б. ВОРОН. Перевод Л. Пальмина	295
38в. ВОРОН. Переводчик неизвестен	299
38г. ВОРОН. Перевод Дм. Мережковского	302
38д. ВОРОН. Перевод К. Бальмонта	309
38е. ВОРОН. Перевод В. Брюсова	312
* 38ж. ВОРОН. Перевод Н. Голя	316
* 38з. ВОРОН. Перевод В. Топорова	320
39а. ВАЛЕНТИНА. Перевод В. Брюсова	323
40а. К МАРИИ-ЛУИЗЕ (ШЮ). Перевод В. Брюсова	324
41а. «НЕДАВНО ТОТ, КТО ПИШЕТ ЭТИ СТРОКИ...». Перевод К. Бальмонта	325
41б. МАРИИ-ЛУИЗЕ (ШЮ). Перевод В. Брюсова	326
42а. УЛЯЛЮМ. Перевод К. Бальмонта	326
42б. ULALUME. Перевод А. Курсинского	329
42в. ULALUME. Перевод М. Трубецкой	332
42г. ЮЛАЛЮМ. Перевод В. Брюсова	335
42д. УЛЯЛЮМ. Перевод Н. Чуковского	338
43а. ЭНИГМА. Перевод В. Брюсова	340
44а. ЗВОН. Перевод В. Брюсова	341
45а. К ЕЛЕНЕ. Перевод К. Бальмонта	344
45б. ЕЛЕНЕ. Перевод В. Брюсова	347
46а. FOR ANNIE. Перевод М. Трубецкой	349
46б. К АННИ. Перевод К. Бальмонта	352
46в. К ЭННИ. Перевод В. Брюсова	355
47а. ЭЛЬДОРАДО. Перевод К. Бальмонта	358
47б. ЭЛЬ-ДОРАДО. Перевод В. Брюсова	359
47в. ЭЛЬДОРАДО. Перевод Э. Гольдернесса	360
47г. ЭЛЬДОРАДО. Перевод Н. Вольпин	361
48а. К МОЕЙ МАТЕРИ. Перевод К. Бальмонта	362
48б. МОЕЙ МАТЕРИ. Перевод В. Брюсова	362

49а. АННАБЕЛЬ-ЛИ. <i>Перевод Д. Садовникова</i>	363
49б. АННАБЕЛЬ-ЛИ. <i>Перевод К. Бальмонта</i>	364
49в. АННАБЕЛЬ ЛИ. <i>Перевод В. Брюсова</i>	366
49г. АННАБЕЛЬ ЛИ. <i>Перевод А. Оленича-Гнененко</i>	367

КОММЕНТАРИИ

<i>Е. Нестерова</i> . Эдгар По в России	371
Примечания <i>Е. Нестеровой</i>	392



« ПОДВОДНОЕ ТЕЧЕНИЕ СМЫСЛА »

Судьба позаботилась о том, чтобы легенды сопутствовали и триумфам его, и катастрофам, продолжая жить десятилетиями, когда Эдгара По давно уже не было на свете. Или, может быть, об этом позаботился он сам? Романтики нередко создавали воображаемую личную биографию, столь властно подчинявшую себе реальные факты, что полтора столетия спустя становится подчас невозможно отделить истину от фантазии. Это было характерное свойство романтического сознания, выражение тоски по идеалу, вызвавшей к жизни сам романтизм. Складывался особый тип поведения, возникал тщательно продуманный образ скептика, бунтаря, вечного скитальца, снедаемого презрением к окружающему убожеству, томимого разочарованием, безверием и неудовлетворенной жаждой действия, которое призвано переменить весь существующий порядок вещей. И уже не имело большого значения, соответствует ли этот образ подлинным обстоятельствам, подтверждаемым не преданием, а документом.

Эдгар Аллан По (1809—1849) сосредоточил в себе черты личности романтического склада настолько полно, что еще и через много лет сомнения вызывали даже, кажется, бесспорные, бумагами и надежными свидетельствами удостоверенные события, из которых складывалась недолгая его жизнь. Мифы громоздились на мифы, выдумки были одна изобретательнее другой. При этом обязательно возникали подробно-

сти, придававшие вымыслу тот романтический оттенок, которого требовала толпа. Для нее романтизм означал только разного рода отклонения от обывательской нормы. Они выискивались биографами По с усердием необыкновенным. Рассказывалось, например, что родители По обвенчались без благословения, что его мать тяготилась двусмысленностью подобной ситуации, и оттого вскоре стала жертвой чахотки. Что отец поэта был блестящим генералом, и брак с актрисой, поразительной своей красотой покоровшей сердце родовитого аристократа, приходилось держать в тайне. Что поэт вырос в семье нищих комедиантов, с детства был погружен в атмосферу, менее всего способствовавшую твердости нравственных устоев, что подобному воспитанию он и обязан изменными свойствами своей души. Что комедианты трагически погибли, когда их сын был еще младенцем, а значит, сиротству и надо приписать изъяны его характера.

Никого не смущала разноречивость этих сведений, еще менее — их совершенная произвольность. С молодых лет По стал фигурой, вызывавшей кривотолки, которые со временем переросли в прямую клевету. Сплетни о его происхождении были сравнительно безвредны на фоне инсинуаций, задевавших куда более болезненно. Теперь не так просто понять, отчего соотечественники не принимали его почти единодушно. Но надо прикоснуться к атмосфере Америки той поры, перечтя хотя бы заметки Диккенса, шокированного воинствующим практицизмом и пренебрежением к интеллекту, на каждом шагу поражавшими его в заокеанской республике. Когда отмечали столетний юбилей По, Бернард Шоу, выражая мнение едва ли не всех европейских ценителей «Ворона» и «Улялюм», недоуменно вопрошал: «Каким образом мог явиться в Америке этот тончайший из художников, истинный аристократ литературы?» А Шарль Бодлер, которому По обязан своей громкой славой во Франции, еще в середине прошлого века со всей решительностью заявил, что «Соединенные Штаты были для него (По.—А. З.) лишь громадной тюрьмой, по которой он лихорадочно метался, как существо, рожденное дышать в мире с более чистым воздухом». Иначе

и не могло быть. Тогдашняя Америка виделась Бодлеру, никогда, правда, ее не посещавшему, лишь как «сброд продавцов и покупателей», как «безымянное чудовище», удушающее истинные поэтические дарования, которые там никому не нужны.

В такого рода суждениях — а их можно привести десятки — есть немалая доля правды. Восстанавливая по сохранившимся откликам прижизненную репутацию По, нельзя не заметить, что за редчайшим исключением оценки современников были крайне нетерпимыми. Резкости тогда никого не удивляли: По, лучший журналист и критик своей эпохи, на журнальных страницах и сам бывал беспощаден, грубо высмеивая оппонентов, хотя бы увенчанных лаврами. А все же... Усвоив, что с ним сложно спорить с помощью эстетических аргументов, хулители предпочитали копаться в личной жизни поэта и без колебаний пускали в ход самые нелепые измышления. По устал удивляться, читая в газетах, что он человек безнравственный, авантюрист, пьяница, развратник — чему только не нашлось места в этом длинном перечне.

И после смерти клевета продолжала преследовать поэта. Его душеприказчиком стал некто Руфус Грисуолд, печатавшийся в нью-йоркской периодике и составлявший довольно посредственные антологии текущей американской литературы. Отношения По с Грисуолдом все еще прояснены не до конца. Был недолгий период дружбы, затем убийственная рецензия По на первую из грисуолдовских антологий, разрыв, примирение и письмо, которым По отдавал в руки Грисуолда весь свой архив. В недобрый час было оно написано. Грисуолд сполна использовал предоставившийся шанс свести счеты. Скандально знаменитый некролог за подписью «Людвиг» и мемуары, помещенные в «Сочинения покойного Эдгара По», начавших выходить с 1850 года, начинены гнусостями, преподносимыми с морализаторским пылом, который импонировал добродетельной мешанской публике. Она и сам четырехтомник раскупала больше, чтобы повздыхать над «безумствующим» сочинителем да поупражняться в

ханжеском красноречии. Проза, а тем более стихи По, интересовали ее мало. Сенсация, в свое время произведенная некоторыми его новеллами, забылась. Остался лишь старательно отретушированный Грисуолдом портрет циника, скандалиста и честолюбца, которого природа зачем-то наделила даром создавать порой блистательные строфы.

Наветы Грисуолда не вызвали доверия у лучших литераторов той поры. Позднейшие разыскания уличили его в приемах, которыми не побрезговал бы разве что бульварный журналист (к примеру, характеристика По, как выяснилось, была списана из одного романа Э. Бульвер-Литтона, изображавшего ходульного злодея). Но дело было сделано: для тех, кто не вникал в литературные тонкости, По, казалось, погиб окончательно, а Грисуолд мог чувствовать себя отмщенным за давнюю обиду. Много ли значили опровержения экспертов, коль вспомнить, что уже укрепилась молва, основанная главным образом на мемуарах душеприказчика. И что он, по всей видимости, уничтожал доставшиеся ему документы, а также исправлял рукописи, встречая в них страницы, опровергающие его тенденциозную версию.

Все пишущие о По обязательно вспоминают Грисуолда в качестве его злого демона. Спорить тут не о чем. Однако справедливость требует уточнить, что во многом Грисуолд опирался на «меморандум», самим По подготовленный для своих биографов. А «меморандум» этот — тоже легенда. Сознательно творимая автором.

Просмотрим эти полторы странички, они скажут о По очень многое. Он решил помолодеть на два года и непременно доказать, что принадлежит к сливкам балтиморского общества. Для этого был изобретен дед — английский адмирал, а другой дед, скромный майор интендантской службы, сделан генералом и другом прославленного Лафайета, героя американской и французской революций. О профессии родителей, скитавшихся по всей стране актеров, «меморандум» не обмолвился ни словом, зато в нем есть занимательная история о собственных странствиях По в юности. Оказывается, сердце влекло его к берегам Греции, сражающейся за свободу; в

кармане не было ни гроша, но он, семнадцатилетний романтик, чуть было не осуществил пламенную мечту, хотя судьба под конец забросила его не на Ионические острова, а в Санкт-Петербург, откуда он выбрался лишь с помощью американского консула. И так далее.

Замечательный документ, особенно если прочесть его в контексте эпохи. Перед нами продуманный сюжет жизни, какой ей надлежало быть согласно романтическим канонам. Воображение По, возмись он за автобиографический роман, конечно, украсило бы этот план-набросок самыми красочными подробностями, и мы бы погрузились в историю законченного идеалиста, жаждущего осуществить свое высокое предназначение, не считаясь с законами реальной жизни. Таких героев в те времена было нетрудно встретить и среди итальянских карбонариев, и на баррикадах Парижа, и в полках Черноморской линии или Кавказского корпуса.

Выражаясь современным языком, По моделирует жизненный путь типичного сына века и очень хотел бы, чтобы в нем видели не проштрафившегося и отчисленного питомца военной школы, не редактора провинциальных американских журналов, но личность героическую, воодушевленную великой идеей, движимую сознанием собственного избранничества на подвиг. Образец перед глазами. Им, разумеется, служит Байрон, чье имя еще у всех на устах. Точнее сказать, не образец, а весьма условный и обобщенный образ, который с этим именем сопрягается в сознании бесчисленных «байронистов» той поры.

Предлагая свое толкование личности По, его недоброжелатели отталкиваются от той же модели, но совсем иначе увиденной и оцененной. Для Эдгара По Байрон воплощает идеальную сторону романтизма, для Грисуолда и других — сторону разрушительную, «демоническую» и, по филистерским меркам, крайне опасную. И в том, и в другом случае целостный образ Байрона неизбежно размывается, упрощается, однако важна тенденция, направляющая подобные усилия. Как средоточие аморализма Байрон изображался светской

хроникой и бульварной беллетристикой уже при жизни, и заключительная, греческая глава его биографии по существу ничего не изменила: клеветники не умолкли, порочащие Байрона легенды продолжали множиться. Из этих легенд Грисуолд черпает все основное, что войдет в его рассказ об Эдгаре По, изобилующий словами о распутстве, безбожии, высокомерии, желчности, самообожании, ненависти к человечеству...

Самое интересное, что и после того, как открылась произведенная Грисуолдом подтасовка, По все равно воспринимался сквозь призму фальсификаторских мемуаров его душеприказчика. Причем так воспринимали По не только «обличители», но и приверженцы. Их отношение было, конечно, другим: там, где Грисуолд возмущался или провоцировал обывательские страхи, энтузиасты восторгались бескомпромиссностью, с какой По следовал своему назначению истинного романтика и в творчестве, и в будничной жизни. Однако они не замечали, что рассуждают не столько о поэте, сколько о вымышленной фигуре.

И оттого Бодлер с убежденностью писал о бесконечном одиночестве По, представлявшегося ему «мрачным и блестящим гением», для которого родина была лишь «громادным варварским загоном, освещенным газом», царством «подлых душонок», бахвалящихся своей лживой праведностью, об «истерии, подавлявшей волю», о «противоречии между нервами и умом человека, дошедшего до того, что боль он выражает хохотом». Оттого Брюсов уверенно говорил: «Мы, которым Эдгар По открыл весь соблазн своего демона извращенности...» Оттого Блоку казалось, что «Эдгар По — воплощенный экстаз, «планета без орбиты» в изумрудном сиянии Люцифера...»

Если вдуматься, станет ясно, что в искреннем своем восхищении американским поэтом все они едва ли не буквально повторяли сказанное Грисуолдом, придав прямо противоположный смысл его суждениям. Живучесть грисуолдовской интерпретации удивительна. Литературные достоинства мемуаров, в которых она изложена, тут ни при чем. Когда

Грисуолда схватили за руку, его домыслы должны были стать лишь полузабытой недостойной страницей американских литературных анналов, однако этому воспрепятствовало одно обстоятельство: выдуманый им По был слишком легко и хорошо узнаваемым. За ним возникал другой образ, вставала другая яркая личность, без малого столетье оставшаяся предметом самой страстной полемики и самых фантастических истолкований,— Байрон. Спорили об Эдгаре По, но этот спор раз за разом перерастал в крайне разноречивые осмысления байронизма как жизненной философии и этической позиции, как умонастроения, которое сохранило свою актуальность, когда творчество самого Байрона сделалось скорее достоянием истории литературы, чем живым художественным явлением.

Отчетливей других это почувствовал Блок. Есть у него статья «Русские дэнди», написанная в 1919 году и рассказывающая о встрече с молодым поэтом (будущим известным переводчиком В. Стеничем), исповедовавшим весь тот комплекс мыслей и чувств, по которому сразу можно было отличить поклонника декадентства. В голодном промерзшем Петрограде того времени странное впечатление производил этот не без щегольства одетый юноша: он сыпал парадоксами и похвалялся ранним разочарованием в жизни, презрением к ее серой заурядности. На месте Блока многие сочли бы, что тут одно позерство, однако он видел дальше и глубже, ощутив в собеседнике пусть слабую, но все же искру, которая затеплилась от могучего байроновского огня. Она опалила «крылья крылатых», сказано у Блока, и перекинулась на пустоши «прогрессивности» и «полезностей». Но затем перешла и за недозволенную черту, когда пламя это, великий соблазн «антимещанства», начинает разрушать нравственный остов личности.

«Крылатые» — для Блока это и Оскар Уайльд, и Бодлер. А первым названо имя По.

Известно, как много оно значило для символизма. В дневниках и статьях молодого Блока довольно частые отсылки к По принципиально однородны: речь идет исключительно

о поэзии, о «безмерной остроте и сложности», которые носил в сердце этот непризнанный гений, о «воплощенном экстазе», о чужеродности «толпе». Русский символизм открывал По через бодлеровское посредничество, неизбежно усваивая и тот образ, который в конечном счете опирается на переосмысленные грисуолдовские мемуары.

Но «Русские дэнди» — статья не о литературе. Она — об определенном типе мироощущения и поведения, от Байрона идущем и сохраняющем устойчивость основы. При всех трансформациях во времени. И написана она после «Скифов» и «Двенадцати», когда символизм, не говоря уж о его предтечах, среди которых По фигурировал на первых ролях, давно утратил для Блока былое значение. Он теперь судит об этих материях беспристрастно, даже сухо. За поэзией он постигает судьбу, вписанную в большую и противоречивую этическую традицию. Тут уже не интерпретация, выросшая из легенд, тут обобщение мыслей, которые родились над стихами По, прочитанными как документ духовной истории XIX, да отчасти и XX столетия. И сама масштабность контекста придает блоковской идее большую убедительность, чем та, какой обладают концепции, пытающиеся привязать творчество По лишь к его стране, к его эпохе или еще конкретнее — к его биографии, пусть и очищенной от искажений.

Подлинная биография, стараниями нескольких поколений филологов наконец установленная в основных звеньях, только с серьезными оговорками может быть признана путеводной нитью для входящих в этот художественный мир. Конечно, лирика всегда связана с пережитым самим поэтом, но опосредования столь прихотливы и сложны, что прямые биографические аналогии оказываются несостоятельны: чем крупнее поэт, тем это очевидней. В стихах По сказал о себе намного больше, чем скажет самая подробная хронология его трудов и дней. Нужда в такой хронологии, чтобы читать По, невелика.

Все же кое-что должно войти в нее обязательно. Осиротев в неполные три года, По был взят на воспитание ричмондским

торговцем Алланом, человеком вполне буржуазных понятий, с детства ставших будущему поэту ненавистными. Дела фирмы вскоре призвали Аллана в Лондон. Это было единственное заграничное путешествие По. Париж его новелл о гениальном сыщике Дюпене, пейзажи южных морей в «Приключениях Артура Гордона Пима»,— все рождено фантазией, для которой достаточно скудных сведений из путеводителя или дневника бывалого мореплавателя.

В закрытых пансионах с их строгим распорядком и нудной зубрежкой прошли пять школьных лет. Чувство облегчения пришло, лишь когда Алланы вернулись в Ричмонд. А затем пришла и первая любовь—к Джейн Стэнард, матери школьного товарища. Оборвалась эта любовь трагически, словно предвещая развязки многих последующих его увлечений: возлюбленная умерла совсем молодой. По оплакал ее стихами, обращенными к Елене (см. с. 104—105 наст. сборника). Вслед за этим умерла миссис Аллан, которую По разве что не боготворил. И началось одиночество.

Из университета он ушел, так как Аллан наотрез отказался оплачивать его карточные и прочие долги. О профессии литератора По, уже изведавший сладкую муку сочинительства, пока не задумывался. Безденежье заставило его стать солдатом, затем записаться в Вест-Пойнт, американскую военную академию. Нигде он не задерживался надолго. Денег не было. Аллан отказывал в помощи. По пытался поступить на сцену, переписывал бумаги в бостонских и ричмондских конторах, а случалось, и просто-напросто голодал. Более или менее твердо он стал на ноги, когда в нем открылся талант газетчика. В Балтиморе, где По жил с 1831 года, сумели оценить его перо редактора и журналиста. Стихов он теперь почти не писал, но занялся прозой и быстро завоевал известность. Особенно после того, как выиграл в 1833 году конкурс своей первой новеллой—«Рукопись, найденная в бутылке».

Но до благоденствия было далеко. Впрочем, не то что благоденствия, а хотя бы относительного спокойствия он так и не изведал до самого конца. Тянулись годы, заполненные

работой на износ в различных журналах, его стараниями приобретающих престиж, сменяли друг друга города: Нью-Йорк, Филадельфия, опять Нью-Йорк, Провиденс, Ричмонд. Ссорился с издателями, задевал влиятельных лиц, хлопал дверью — но скудные сбережения иссякали и снова приходилось тянуть ляжку.

Несколько поэтических сборников и новеллы, составившие два тома «Гротесков и арабесков», вышедших в 1839 году (затем он выпустил еще три книги рассказов), принесли шумную славу, но не поправили материальных дел. Силы шли на убыль. По неотступно преследовали страх перед безумием и предощущение новых катастроф. Смерть По в сорок лет сочли расплатой за беспорядочный быт, за пристрастие к рюмке: «Так возопили вы, над гением глумясь, что яд философа развел он в алкоголе», — писал впоследствии возмущенный этими пересудами Стефан Малларме. Подобно Бодлеру, он твердо верил, что причины таких развязок не лежат в житейской будничности. Тут действует закон антагонизма поэта и профана, тупых обывателей и озаренного провидца.

Однако была и будничность. Были нищета, убийственное перенапряжение, горечь неудач, боль ударов судьбы. Самым страшным из них стала гибель Вирджинии. Она приходилась По кузиной, была младше его на пятнадцать лет и когда-то носила записочки даме, за которой он ухаживал. Любовь вспыхнула внезапно и оказалась огромным чувством, не признающим никаких препятствий. Брак, потребовавший подкупа свидетелей, под присягой подтвердивших явно сомнительное совершеннолетие невесты, дал пищу для самых грязных поклепов. Хрупкая, изящная, сходная на портретах с сильфидой, Вирджиния выказала редкое мужество, сопротивляясь сплетне и судьбе, определившей ей дорогу лишений, травли и страданий. Чахотку тогда лечить не умели. Она умерла весной 1847 года.

Я любил, был любим, мы любили вдвоем,
Только этим мы жить и могли, —

скажет По в стихах, навеянных памятью о ней. А следующую строфу закончит так:

И, взирая на нас, серафимы небес
Той любви нам простить не могли.

Перевод К. Бальмонта

Укор небу, пусть сравнительно мягко выраженный,—как это характерно для байронического сознания. Личная трагедия оказывается подтверждением извечной несправедливости, которая дана в удел истинной красоте, любви, таланту. Все незаурядное, все прекрасное, что есть в мире,—обречено.

Такой строй мысли не согласовать с общепринятыми моральными заповедями и принципами. Они всегда враждебны романтику, отчего вызывает конфликт, разрешающийся для него тягостно, нередко—катастрофически. Сама его биография разворачивается как бы в предугазанном соответствии с романтической формулой, говорящей о неизбежности резкого столкновения «крылатой» души с убогой, плоской обыденностью.

И эти столкновения порождают в романтике бурю противоречий, отчаяние, страсть к вызывающим жестам, за которыми скрыто непереносимое чувство, что крылья подрезаны и на них не взлететь. Сплетается тугой узел, в котором нераздельны великая мечта и низкая проза будней, духовное упорство и психологический надлом, бунтарство, одиночество, прозрения, депрессии.

В лирике По, как и в его судьбе, этот спектр теснящих друг друга настроений необыкновенно широк, а жизнь и стихи сливаются, перетекают друг в друга—до полного тождества.

Как критик он часто писал о поэзии, в том числе и о своих произведениях. Например, взялся объяснить, как им был

создан знаменитый «Ворон», и доказывал, что стихотворение возникало у него «ступень за ступенью... с точностью и жесткой последовательностью, с какой решают математические задачи». Сам этот анализ производит такое впечатление, словно он выполнен не поэтом, а механиком, у нас на глазах разбирающим и вновь собирающим сложную машину.

Статья о «Вороне» названа «Философия творчества». По и в самом деле излагает целую систему взглядов на познание, многие тезисы, там сформулированные, имели для него программный характер. Тем не менее что-то мешает отнести к его автокомментариям с безусловным доверием. Слишком строгая логика, слишком рационалистический подход. Магия поэтического слова исчезает, точнее сказать, предстает от начала до конца рукотворной, словно бы в лирике нет места таким понятиям, как интуиция, спонтанность, вдохновение. А разве не вдохновению обязаны немеркнущей славой «Ворон» и другие лирические шедевры По — «Аннабель Ли», и «Город среди моря», и «Улялюм», и «Эльдорадо»?

При всей подчеркнутой логичности изложения «Философия творчества» до известной степени была мистификацией. Такой же, как многие новеллы По — хотя бы его знаменитый беллетристический отчет о перелете через Атлантику на воздушном шаре, заставивший тысячи людей собираться на площади перед редакцией газеты в ожидании очередного выпуска с новостями о путешествии, которого никто и не думал затевать, и прибытия воздухоплавателей, на самом деле не существовавших.

Как создается стихотворение? У Эдгара По есть совершенно точный ответ. Прежде всего необходима некоторая фабула или ситуация, продуманная от начала и до самой развязки, — пока это не сделано, нечего и братья за перо. В данном случае речь идет о человеке, потерявшем возлюбленную; все его мысли сосредоточены на одном — встретит ли он ее в ином мире? Человек этот в бурную полночь сидит у окна, единственного, в котором еще не погас свет. Какой-то Ворон,

улетевший от хозяина, устремляется к этому освещенному окну, хлопаньем крыльев привлекает к себе внимание—окно распахнуто, он проник в комнату, уселся высоко на шкафу, где стоит бюст Паллады, и, когда человек обратился к нему с вопросом, как его зовут, выкрикнул слово, механически им затверженное. Но спрашивавший думал в тот миг, разумеется, не об имени птицы, мысли его были заняты любимой, и оттого резкий выкрик Ворона им воспринимается как отказ в последней робкой надежде: встречи не произойдет никогда.

Просто и—при некоторой экстравагантности сюжета—психологически убедительно. Дальше все решает техника. Необходимо добиться единства впечатления. Для По это значит, что прежде всего нужно точно рассчитать объем стихотворения. Поэма не годится—слишком пространна. Лирический фрагмент тоже—слишком тесен. Значит, требуется поэтическое повествование, но сжатое—примерно сто строк. Оно будет скреплено звуковыми повторами, создающими интенсивность восприятия и прямо-таки с математической регулярностью управляющими «волнением или возвышением души».

Единство впечатления—это и единство интонации, которая, в данном случае, разумеется, должна быть печальной. Меланхолия вообще наиболее подходит лирике, ибо прекрасное, если оно хорошо выражено, трогает до слез. Рефрен непременно печален—слово, вложенное в уста Ворона, отыскивается само собой, и теперь осталось только добиться сращения двух основных линий: мысли об умершей—ночной визит птицы. Тут понадобится эффект смысловой вариации: первый вопрос, заданный Ворону,—естественный, обычный вопрос о его имени, однако затем вопросы становятся все более обобщенными, метафоричными, тогда как в ответ снова и снова слышится страшное *Nevermore*—«никогда», и с каждым повторением в этом слове как бы сгущается метафорический смысл.

Частные проблемы метрики и строфики не представляют серьезной трудности при условии, что автор не станет

стремиться к оригинальности любой ценой. Установка на оригинальность опасна, так как в этом случае впечатление может быть искажено или ослаблено. Но сама оригинальность — несомненное достоинство, и достигается она не за счет новых размеров или необычных цезур, а путем нового сочетания хорошо известных элементов. Что касается «Ворона», новое в нем — это построение строфы из строк разной длины, с усечениями безударных слогов. Это традиционный хорей, и усечения тоже применялись не раз, но до «Ворона» нигде не было такой строфической комбинации.

Итак, стихотворение объяснено во всех своих компонентах, воссоздан весь процесс от замысла до воплощения. Проштудировав «Философию творчества», нельзя не прийти к выводу, что в поэзии все зависит от выучки, владения приемами и точности подсчетов. Опасная иллюзия! Не говоря уже о провалах, которые поджидали на таком пути имитаторов, каких у По было немало, доверие к этой иллюзии погубило не одно переложение «Ворона»: русские примеры можно дополнить опытом переводчиков на другие языки. Описанная автором система как будто воспроизведена во всех элементах, но получается механическое пощелкивание, убивающее стихи. Живой их трепет исчезает бесследно, и, убедившись в этом, с особым вниманием присмотришься к заключительной странице эссе, трактующего о «Вороне». А на странице этой сказано нечто, решительно не согласующееся со всем предыдущим: мастерство необходимо, случайности должны быть исключены, знание выше любой интуиции, а все же самое главное — это «известная сложность, или вернее, известная тонкость, и, во-вторых, известная доля намека, подводное течение смысла».

Само собой разумеется, что По отказывается объяснять, каким образом может быть обретено еще и это качество, признанное им важнейшим. Финал «Философии творчества» обманывает готовое читательское ожидание столь же блистательно, как опровергает вроде бы достаточно продуманные версии префекта Огюст Дюпен.

Если подразумевать внутренние соотношения текста «Ворона» и многих других стихотворений, это эссе, конечно же, незаменимо для каждого внимательного читателя. Тот же принцип единства впечатления, здесь всесторонне обоснованный, для лирики По оставался безусловным начиная еще с юношеских стихотворений, которые составили два небольших сборника «Тамерлан» (1827) и «Аль-Аараф» (1829). То же толкование оригинальности как необычного сочетания знакомых компонентов на страницах эссе, опубликованного в 1846 году, только получает теоретическое оформление, но фактически оно всегда было для По неоспоримым. Причем у него эта мысль охватывала не одну лишь сферу размеров и ритмов.

Бодлер пронизательно заметил, что поэзия, как представлял себе ее сущность Эдгар По, «вне всяких философских систем постигает раньше всего внутренние и тайные соотношения между вещами, соответствия и аналогии». Следовало бы добавить, что эти соотношения в лирике По чаще всего кажутся необыкновенными, хотя сами вещи привычны, а иногда даже шаблонны. Решает новизна сочетания. Сам По (правда, применительно к прозе) в таких случаях предлагал термин «экстраваганца», с тех пор прижившийся в английском словоупотреблении, и не случайно ввел понятие «арабеск» в заглавие своего основного сборника рассказов. Арабеск для него — больше чем художественный прием, это определенное видение, когда в обыденном обнаруживается нечто странное, а странное прорастает мистическим и пугающим.

«Ворон» может быть воспринят как законченный «арабеск», но ведь такого рода стихи По писал и раньше. В «Аль-Аарафе», одном из самых загадочных его произведений, содержащем набросок целой космогонии (объективно он напоминает о Блейке, тогда всеми забытом, даже в Англии), характерный для романтиков спор с рационализмом ведется как раз при помощи многозначности слов — «арабесков», однако вовсе не становящихся столь эзотеричными, как в переводе К. Бальмонта. Написанный за четырнадцать лет до

«Ворона» фантастический «Город среди моря» — стихотворение, варьирующее мотив наказания Содома и Гоморры, — быть может, всего более поражает обилием реалий, которые никак не назвать эзотерическими, однако соединение этих реалий действительно уникально, и возникает символ, по содержательности и величественности сопоставимый с библейским прообразом. «Долина тревоги», «Линор», «Спящая» — стихи, помеченные тем же 1831 годом, — все это образцы новаторского сочетания привычных вещей, которые восхитили не одного Бодлера, но несколько поэтических поколений, пришедших после него.

И все это, как и «Ворон», стихи о смерти. Даже количественный подсчет обнаруживает, что смерть была самой неотступной лирической темой По. Легко отыскать этому сугубо биографические объяснения. Жизнь По действительно оказалась чередой утрат. Быть может, он предчувствовал, что и самому ему сужден недолгий земной срок. Кто знает, не о себе ли самом говорит он в «Долине тревоги», заполненной скорбными мыслями, что смерть — это забвение, которое страшнее, чем физический конец:

А степь фиалками полна,
И плачет лилия одна
Там над могилой безымянной!
И плачет вечно, с лепестка
Роняя капель жемчуга,
И жжет слеза, на стебли трав
Росой бессмертною упав.

Перевод Г. Кружкова

Но в поэзии жизненный факт, даже обладающий таким громадным и трагическим значением, как смерть, сам по себе существовать не может. Он должен войти в определенную систему поэтического мышления, преломиться через сложную гамму ассоциаций, соответствий, соотношений, врасти в

целостный образ мира, возникающий из тома стихов. По никогда не был тем певцом смерти, каким хотели видеть его самозваные декадентские наследники. Они не чувствовали того «подводного течения смысла», которое было центральной формулой его поэтики.

Замечались только повторяющиеся темы, мотивы, лирические сюжеты. Утрата и гибель среди них действительно главенствуют, однако они не замкнуты в себе. Как всех романтиков, По властно притягивали те моменты человеческого бытия, когда резко обнажается его сущность, его неотменяемый закон. Смерть оказывалась у него теснейшим образом переплетена с любовью, с красотой, с ужасом бесследного исчезновения, с несмелой и все-таки упорной надеждой, что не могут и не должны навсегда оборваться связи, которые здесь, на земле, составляли истинную жизнь души. «Ворон» выразил эту философскую, духовную, эмоциональную настроенность наиболее полно и навсегда вошел в мировую поэзию:

Я воскликнул: «Ворон вещей! Птица ты иль дух зловещий!
Если только Бог над нами свод небесный распростер,
Мне скажи: душа, что бремя скорби здесь несет со всеми,
Там обнимет ли в Эдеме лучезарную Линор—
Ту святую, что в Эдеме ангелы зовут Линор?»

Перевод М. Зенкевича

Поразительно, что и такие строки могли восприниматься, даже интерпретироваться исключительно как пример виртуозного и самоценного мастерства. У бесчисленных критиков По—и давних, и сегодняшних—это обычное явление. Куда реже предпринимались усилия разгадать магию этой поэзии, проникнуть в ее секреты, о которых молчат «Философия творчества» и другие статьи По. Одна из наиболее серьезных попыток сделать это была осуществлена американским поэтом Ричардом Уилбером. Он исходит из того, что для По

самым главным было создать «эффект»; «значение» оставалось вторичной категорией — оно выросло из той специфической, предельно интенсивной эмоциональности, которой заряжены эти строки, а оттого не становилось, в принципе не могло стать, «ясным». Оно никогда не являлось до конца выраженным, поскольку смысл как бы теряется в том эффекте «магического воздействия», которым По дорожил всего больше. Читая его, мы отрешаемся от будничного психологического состояния, мир открывается в пропорциях, недоступных восприятию, скованному рациональной нормой. Эти пропорции неожиданны, они завораживают, как прикосновение к тайне. Все оказывается глубоко содержательным — рефрены, неравномерность строк, ритмические перебивы, анафоры, ассонансы.

Это менее всего игра, это прорыв в сферу бесконечно далекую от тусклой повседневности, — мимолетное, но зато незабываемое причащение к мировой гармонии, к красоте, чей облик не в силах изуродовать даже непреложность смерти, так остро чувствуемая Эдгаром По. В юности прилежный ученик Байрона, По затем так далеко ушел от него, что не могло быть и речи о подражании. Однако байроническое умонастроение держало его в своей власти до самого конца, формируя судьбу и предопределяя поэтическую тональность. В лирике По оно отозвалось не какими-то легко распознаваемыми отзвуками байроновской музыки, а скорее теснейшей переплетенностью взаимоисключающих начал. Любовь здесь всегда рядом со смертью, и ощущению духовной свободы мешает еще более неотступное чувство: человек не более как раб неподвластных ему злых начал бытия, а каждый миг существования таит в себе бездну противоречий, создающих непреодолимые конфликты и жесточайшие драмы духа.

Вот что было смыслом этой лирики, открывающимся действительно лишь в «подводном течении», поскольку проясненность, однозначная определенность образа для По исключались всем характером его взглядов. И этот смысл, им самим не раз названный мистическим, мог воплощаться в

строфах, обладающих редким многоцветьем оттенков — от крайней мрачности «Города среди моря» или «Ворона» до мелодии «Колоколов» то скорбной, то ликующей:

О, как звонко, звонко, звонко,
Точно звучный смех ребенка,
В ясном воздухе ночном
Говорят они о том,
Что за днями заблужденья
Наступает возрожденье,
Что волшебно наслажденье — наслажденье нежным сном.

Перевод К. Бальмонта

Лирика По была, согласно его собственному определению, «созиданием прекрасного посредством ритма». Очень часто эту мысль понимали формалистически. На рубеже XIX и XX веков имя По замелькало в декларациях «чистого искусства», и он был провозглашен художником, ранее многих других осознавшим, что искусство не имеет ничего общего ни с познанием, ни с моралью. Приводились его высказывания, которые при желании можно толковать в таком контексте. Исторический контекст при этом игнорировался, хотя он крайне важен. По в самом деле не принимал «ересь дидактизма», и в этой войне против рифмованного проповедничества доходил до крайности, до категорического отрицания каких бы то ни было достоинств Лонгфелло и его единомышленников, стремившихся «внедрить в читателя некоторую мораль». Вероятно, сам культ поэтической точности, столь откровенно проявившийся в «Философии творчества» и других статьях о поэзии, вырос у По на той же почве неприятия декламации, притворяющейся стихами. Тут были несомненные издержки и опасности — дальнейшее движение искусства и поэзии это обнаружило с достаточной определенностью, если вспомнить опыт таких приверженцев По, как Малларме, да и отчасти Брюсов. Но так произошло лишь оттого, что принципы,

провозглашенные По, абсолютизировались, толковались отвлеченно от литературных обстоятельств, в которых они оформились. «Ереси дидактизма» тогда, в Америке 40-х годов, и вправду нужно было противостоять, и повинен в ней был не только Лонгфелло — она принимала характер общего поветрия. И нужно было напоминать о том, что у поэзии строгие законы, которые нельзя безнаказанно переступать, жертвуя музыкой, гармонией, ритмом во имя моралистической патетики.

А главное, мысли, защищаемые По, отнюдь не служили обоснованию искусства, равнодушного ко всему, кроме совершенства формы. Безупречное мастерство требовалось не само по себе. Оно одно давало возможность преодолеть узкие рамки общепринятого, поверхностного, самоочевидного, достичь такого могущества слов, когда они могут выразить даже неуловимую грезу, даже неясное, едва мерцающее переживание — и сохранить его неискаженным.

Трудно было рассчитывать, что такие идеи встретят сочувствие в тогдашней американской критике, больше думавшей о тех самых «полезностях», которые скептически поминает Блок. Когда в 1845 году По выпустил свою главную поэтическую книгу «Ворон и другие стихотворения», Джеймс Рассел Лоуэлл, поэт, известный теперь только историкам литературы, но в свое время знаменитый, написал, что автор схож с каменотесом, превосходно обработавшим целую груду плит, которых хватило бы на впечатляющую пирамиду, но все они так и остались валяться перед площадкой для будущей постройки, не образовав хотя бы фундамента.

Вскоре подобные суждения сделаются общим местом, а затем имя Эдгара По вообще перестанут упоминать, и к американскому читателю он вернется только через Европу, где его — прежде всего стараниями Бодлера — сумели намного лучше прочесть и оценить. Однако и в Европе лишь очень немногим открылось в стихах По то «подводное течение смысла», которое становится особенно мощным в последние годы его творчества, когда созданы и «Ворон», и «Улялюм»,

и «Колокола», и «Аннабель Ли». У него искали аллегории, хотя По всегда считал, что им не место в истинной поэзии, так как аллегория и многозначность, таящаяся в символе, несовместимы. Восхищались его музыкальностью, звукописью, строфикой, внутренними рифмами, и Брюсов, например, говорил о «Колоколах», что это «стихи, в которых преобладающую роль играют не образы... а звуки слов», как будто возможна поэзия, образов не создающая. У него находили что угодно, только не то свидетельство об озарениях и катастрофах романтической души, которое содержит скромный—около ста стихотворений—итоговый том его поэтического наследия.

Должно было пройти много лет, прежде чем за всевозможными масками, присосланными к По, когда его на свой лад взялись перетолковывать декаденты и формалисты, выступило истинное своеобразие этого убежденного романтика. Природа наделила его не только удивительным лирическим даром, но и вечным стремлением к идеальному, соединившимся с чувством ничтожества окружающей жизни. Обостренная рефлексия, не признающая компромиссов аналитичность, страстная вера в гармоничный мир, рожденный поэтическим воображением, скепсис холодного наблюдателя, знающего настоящую меру всех вещей на свете,—какой уникальный сплав, какая напряженная конфликтность начал, и вместе с тем какая прочность их сращения! Может быть, с дистанции в полтора века это поражает в Эдгаре По всего сильнее.

И нам уже вовсе не кажутся одной лишь воспаленной фантазией эта тоска, это самобичевание, перебиваемое безумными надеждами одолеть власть смерти и иступленной нежностью к той «святой, что там в Эдеме ангелы зовут Линор», не кажется лишь плачем над умершей возлюбленной стихотворение, обессмертившее имя По, даже если бы он больше не написал ни строки. Мы читаем его, чтобы еще раз прикоснуться к поэзии, умеющей созвучиями слов сближать понятия, для обыденного восприятия несочетаемые, и находить родственность там, где обычное зрение не обнаружит ни

близости, ни переключки, и рушить межевые столбы, разделяющие будничное и воображаемое, действительное и грезящееся, бытие и небытие.

По считали «поэтом неопределенности», однако контур судьбы, запечатленный его лирикой, достаточно рельефен. Стихи для него, как и для любого романтика, были формой исповеди, только расцветенной фантазией—такой яркой и щедрой, что она обладала способностью превращать в захватывающий сюжет самую скучную прозу обыденности. Но, если взглядеться, откроется типично романтическая драма личности, переживающей и счастье, и муку жизни с предельной напряженностью, а оттого заведомо непонятной и неприемлемой для толпы. Эту драму По сумел наполнить неподдельной трагедийностью. Его метафоры ослепительны, его символы сложны и масштабны, но лирику По нельзя назвать ни иносказательной, ни в строгом смысле слова философской. Это лирика сердца, и в ней запечатлены метания духа, рушащиеся иллюзии, порывы к потустороннему, болезненные конфликты с невзрачностью эпохи—все то, что принес в поэзию романтизм.

Совсем не главное, что у Эдгара По воплощены мотивы, большей частью не им впервые найденные. Аналогий его стихам, пожалуй, не отыскать во всей богатейшей романтической литературе, как бы много ни дали ему Байрон, а затем Кольридж. Трагическая его музыка, эти резкие перепады испепеляющей тоски и минутной, но беспредельной радости, это прочнейшее единство алгебры и гармонии,—неподражаемы и неповторимы.

В одном из его сонетов, переведенном К. Бальмонтом, есть слова:

Есть свойства—существа без воплощенья,
С двойною жизнью: видимый их лик—
В той сущности двоякой, чей родник—
Свет в веществе, предмет и отраженье.

Пройдут столетья, но поклонники поэзии будут все так

же, как и мы сегодня, разгадывать эту «двоякую сущность» мира, запечатленного Эдгаром По, и так же гадать над бесконечным подводным смыслом каждого предмета, отразившегося в волшебном зеркале его лирики.

А. Зверев

Poems



Стихотворения





1. TAMERLANE

Kind solace in a dying hour!
Such, father, is not (now) my theme—
I will not madly deem that power
Of Earth may shrive me of the sin
Unearthly pride hath revell'd in—
I have no time to dote or dream:
You call it hope—that fire of fire!
It is but agony of desire:
If I *can* hope—Oh God! I can—
Its fount is holier—more divine—
I would not call thee fool, old man,
But such is not a gift of thine.

Know thou the secret of a spirit
Bow'd from its wild pride into shame.
O yearning heart! I did inherit
Thy withering portion with the fame,
The sering glory which hath shone
Amid the Jewels of my throne,
Halo of Hell! and with a pain
Not Hell shall make me fear again—
O craving heart, for the lost flowers
And sunshine of my summer hours!
The undying voice of that dead time,
With its interminable chime,



1. ТАМЕРЛАН

Отец! Дай встретить час мой судный
Без утешений, без помех!
Я не считаю безрассудно,
Что власть земная спишет грех
Гордыни той, что слаще всех;
Нет времени на детский смех;
А ты зовешь надеждой пламя!
Ты прав, но боль желаний—с нами;
Надеясь—о Боже—в том
Пророческий источник ярк!—
Я не сочту тебя шутом,
Но этот дар—не твой подарок.

Ты постигаешь тайну духа
И от гордыни путь к стыду.
Тоскующее сердце глухо
К наследству славы и суду.
Триумф в отрешьях ореола
Над бриллиантами престола,
Награда ада! Боль и прах...
Не ад в меня вселяет страх.
Боль в сердце из-за первоцвета
И солнечных мгновений лета.
Минут минувших вечный глас,
Как вечный колокол, сейчас

Rings, in the spirit of a spell
Upon the emptiness—a knell.

I have not always been as now:
The fever'd diadem on my brow
 I claim'd and won usurpingly—
Hath not the same fierce heirdom given
 Rome to the Cæsar—this to me?
 The heritage of a kingly mind,
And a proud spirit which hath striven
 Triumphantly with human kind.

On mountain soil I first drew life:
 The mists of the Taglay have shed
 Nightly their dews upon my head,
And, I believe, the winged strife
And tumult of the headlong air
Have nestled in my very hair.

So late from Heaven—that dew—it fell
 ('Mid dreams of an unholy night)
Upon me with the touch of Hell,
 While the red flashing of the light
From clouds that hung, like banners, o'er,
 Appeared to my half-closing eye
 The pageantry of monarchy,
And the deep trumpet-thunder's roar
Came hurriedly upon me, telling
 Of human battle, where my voice,
My own voice, silly child!—was swelling
 (O! how my spirit would rejoice,
And leap within me at the cry)
The battle-cry of Victory!

The rain came down upon my head
 Unshelter'd—and the heavy wind

Звучит заклатьем похорон,
Отходную пророчит звон.

Когда-то я не ведал трона,
И раскаленная корона
В крови ковалась и мученьях.
Но разве Цезарю не Рим
Дал то, что вырвал я в сраженьях?
И разум царственный, и годы,
И гордый дух — и мы царим
Над кротостью людского рода.

Я рос в краю суровых гор:
Таглей, росой туманы сея,
Кропил мне голову. Взрослея,
Я понял, что крылатый спор
И буйство бури — не смирились,
А в волосах моих укрылись.

Росы полночный водопад
(Так в полусне мне мнилось это),
Как будто осязал я ад,
Тогда казался вспышкой света,
Небесным полымем знамен,
Пока глаза туманил сон
Прекрасным призраком державы,
И трубный голос величаво
Долбил мне темя, воспевал
Людские битвы, где мой крик,
Мой глупый детский крик! — звучал
(О, как мой дух парил, велик,
Бил изнутри меня, как бич),
В том крике был победный клич!

Дождь голову мою студил,
А ветер не щадил лица,

Rendered me mad and deaf and blind.
 It was but man, I thought, who shed
 Laurels upon me: and the rush—
 The torrent of the chilly air
 Gurgled within my ear the crush
 Of empires—with the captive's prayer—
 The hum of suitors—and the tone
 Of flattery 'round a sovereign's throne.

My passions, from that hapless hour,
 Usurp'd a tyranny which men
 Have deem'd, since I have reach'd to power,
 My innate nature—be it so:
 But, father, there liv'd one who, then,
 Then—in my boyhood—when their fire
 Burn'd with a still intenser glow
 (For passion must, with youth, expire)
 E'en *then* who knew this iron heart
 In woman's weakness had a part.

I have no words—alas!—to tell
 The loveliness of loving well!
 Nor would I now attempt to trace
 The more than beauty of a face
 Whose lineaments, upon my mind,
 Are—shadows on th' unstable wind:
 Thus I remember having dwelt
 Some page of early lore upon,
 With loitering eye, till I have felt
 The letters—with their meaning—melt
 To fantasies—with none.

O, she was worthy of all love!
 Love—as in infancy was mine—
 'Twas such as angel minds above

Он превращал меня в слепца.
Но, знаю, человек сулил
Мне лавры; и в броске воды
Поток холодный, призрак битвы
Нашептывал мне час беды
И час пленения молитвы,
И шло притворство на поклон,
И лесть поддерживала трон.

С того мгновенья стали страсти
Жестокими, но судит всяк
С тех пор, как я добился власти,
Что это суть моя; пусть так;
Но до того, как этот мрак,
Но до того, как этот пламень,
С тех пор не гаснувший никак,
Меня не обратили в камень,
Жила в железном сердце страсть
И слабость женщины — не власть.

Увы, нет слов, чтобы возник
В словах любви моей родник!
Я не желаю суеты
При описанье красоты.
Нет, не черты лица — лишь тень,
Тень ветра в незабвенный день:
Так прежде, помнится, без сна,
Страницы я листал святые,
Но расплывались письма, —
Мелела писем глубина,
На дне — фантазии пустые.

Она любви достойна всей!
Любовь, как детство, — над гордыней.
Завидовали боги ей,

Might envy; her young heart the shrine
 On which my every hope and thought
 Were incense—then a goodly gift,
 For they were childish and upright—
 Pure—as her young example taught:
 Why did I leave it, and, adrift,
 Trust to the fire within, for light?

We grew in age—and love—together—
 Roaming the forest, and the wild;
 My breast her shield in wintry weather—
 And, when the friendly sunshine smil'd,
 And she would mark the opening skies,
 I saw no Heaven—but in her eyes.

Young Love's first lesson is—the heart.
 For 'mid that sunshine, and those smiles,
 When, from our little cares apart,
 And laughing at her girlish wiles,
 I'd throw me on her throbbing breast,
 And pour my spirit out in tears—
 There was no need to speak the rest—
 No need to quiet any fears
 Of her—who ask'd no reason why,
 But turn'd on me her quiet eye!

Yet *more* than worthy of the love
 My spirit struggled with, and strove,
 When, on the mountain peak, alone,
 Ambition lent it a new tone—
 I had no being—but in thee:
 The world, and all it did contain
 In the earth—the air—the sea—
 Its joy—its little lot of pain
 That was new pleasure—the ideal,

Она была моей святыней,
Моя надежда, разум мой,
Божественное озаренье,
По-детски чистый и прямой,
Как юность, щедрый — дар прозренья;
Так почему я призван тьмой —
Обратной стороной горенья.

Любили вместе и росли мы,
Бродили вместе по лесам;
И вместе мы встречали зимы;
И солнце улыбалось нам.
Мне открывали небеса
Ее бездонные глаза.

Сердца — любви ученики;
Ведь среди улыбок тех,
Когда все трудности легки
И безмятежен смех,
Прильну я к трепетной груди
И душу обнажу.
И страхи будут позади,
И все без слов скажу...
Она не спросит ни о чем,
Лишь взором тронет, как лучом.

Любви достоин дух, он в бой
Упрямо шел с самим собой,
Когда на круче, горд и мал,
Тщету тщеславия познал,
Была моею жизнью ты;
Весь мир — моря и небеса,
Его пустыни и цветы,
Его улыбка и слеза,
Его восторг, его недуг,

Dim, vanities of dreams by night—
 And dimmer nothings which were real—
 (Shadows—and a more shadowy light!)
 Parted upon their misty wings,
 And, so, confusedly, became
 Thine image and—a name—a name!
 Two separate—yet most intimate things.

I was ambitious—have you known
 The passion, father? You have not:
 A cottager, I mark'd a throne
 Of half the world as all my own,
 And murmur'd at such lowly lot—
 But, just like any other dream,
 Upon the vapor of the dew
 My own had past, did not the beam
 Of beauty which did while it thro'
 The minute—the hour—the day—oppress
 My mind with double loveliness.

We walk'd together on the crown
 Of a high mountain which look'd down
 Afar from its proud natural towers
 Of rock and forest, on the hills—
 The dwindled hills! begirt with bowers
 And shouting with a thousand rills.

I spoke to her of power and pride,
 But mystically—in such guise
 That she might deem it nought beside
 The moment's converse; in her eyes
 I read, perhaps too carelessly—
 A mingled feeling with my own—
 The flush on her bright cheek, to me
 Seem'd to become a queenly throne

И снов бесцветных немота,
И жизни немота вокруг.
(И свет и тьма — одна тщета!)
Туман разняв на два крыла —
На имя и на облик твой,
Я знал, что ты была, была
Вдали и все-таки со мной.

Я был честолюбив. Укор
Услышу ль от тебя, отец?
Свою державу я простер
На полземли, но до сих пор
Мне тесен был судьбы венец.
Но, как в любой другой мечте,
Роса засохла от тепла.
В своей текучей красоте
Моя любимая ушла.
Минута, час иль день — вдвойне
Испепеляли разум мне.

Мы вместе шли — в руке рука,
Гора взирала свысока
Из башен вековых вокруг,
Но башни эти обветшали!
Шум обезличенных лачуг
Ручьи стогласо заглушали.

Я говорил о власти ей,
Но так, что власть казалась вздором
Во всей ничтожности своей
В сравненье с нашим разговором.
И я читал в ее глазах,
Возможно, чуточку небрежно —
Свои мечты, а на щеках
Ее румянец, вспыхнув нежно,

Too well that I should let it be
 Light in the wilderness alone.

I wrapp'd myself in grandeur then
 And donn'd a visionary crown—
 Yet it was not that Fantasy
 Had thrown her mantle over me—
 But that, among the rabble—men,
 Lion ambition is chain'd down—
 And crouches to a keeper's hand—
 Not so in deserts where the grand—
 The wild—the terrible conspire
 With their own breath to fan his fire.

Look 'round thee now on Samarcand!—
 Is she not queen of Earth? her pride
 Above all cities? in her hand
 Their destinies? in all beside
 Of glory which the world hath known
 Stands she not nobly and alone?
 Falling—her veriest stepping-stone
 Shall form the pedestal of a throne—
 And who her sovereign? Timour—he
 Whom the astonished people saw
Striding o'er empires haughtily
 A diadem'd outlaw!

O, human love! thou spirit given,
 On Earth, of all we hope in Heaven!
 Which fall'st into the soul like rain
 Upon the Siroc-wither'd plain,
 And, failing in thy power to bless,
 But leav'st the heart a wilderness!
 Idea! which bindest life around
 With music of so strange a sound
 And beauty of so wild a birth—
 Farewell! for I have won the Earth.

Мне пурпур царственный в веках
Сулил светло и неизбежно.

И я пригрезил облаченье,
Легко вообразил корону;
Не удивляясь волшебству
Той мантии, я наяву
Увидел раболепство черни,
Когда коленопреклоненно
Льва держат в страхе на цепи;
Не так в безлюдии, в степи,
Где заговор существованья
Огонь рождает от дыханья.

Вот Самарканд. Он, как светило,
Среди созвездья городов.
Она в душе моей царила,
Он — царь земли, царь судеб, снов.
И славы, возвещенной миру.
Так царствен он и одинок.
Подножье трона, дань кумиру,
Твердыня истины — у ног.
Единственного Тамерлана,
Властителя людских сердец,
Поправшего чужие страны...
Я — в царственном венце — беглец.

Любовь! Ты нам дана, земная,
Как посвященье в тайны рая.
Ты в душу падаешь, жалея,
Как ливень после суховея,
Или, слабея каждый час,
В пустыне оставляешь нас.
Мысль! Жизни ты скрепляешь узы
С обычаями чуждой музыки
И красотой безумных сил.
Прощай! Я землю победил.

When Hope, the eagle that tower'd, could see
 No cliff beyond him in the sky,
His pinions were bent droopingly—
 And homeward turn'd his soften'd eye.
'Twas sunset: when the sun will part
There comes a sullenness of heart
To him who still would look upon
The glory of the summer sun.
That soul will hate the ev'ning mist
So often lovely, and will list
To the sound of the coming darkness (known
To those whose spirits harken) as one
Who, in a dream of night, *would* fly
But *cannot* from a danger nigh.

What tho' the moon—the white moon
Shed all the splendor of her noon,
Her smile is chilly—and *her* beam,
In that time of dreariness, will seem
(So like you gather in your breath)
A portrait taken after death.
And boyhood is a summer sun
Whose waning is the dreariest one—
For all we live to know is known
And all we seek to keep hath flown—
Let life, then, as the day-flower, fall
With the noon-day beauty—which is all.

I reach'd my home—my home no more—
 For all had flown who made it so.
I pass'd from out its mossy door,
 And, tho' my tread was soft and low,
A voice came from the threshold stone
Of one whom I had earlier known—
 O, I defy thee, Hell, to show

Когда Надежда, как орлица,
Вверху не разглядела скал,
Когда поникли крылья птицы,
А взор смягченный дом искал,—
То был закат; с предсмертной думой
И солнце шлет нам свет угрюмый.
Все те, кто знал, каким сияньем
Лучится летний исполин,
Поймут, как ненавистна мгла,
Хоть все оттенки собрала,
И темноты не примут (знаньем
Богаты души), как один,
Они бы вырвались из ночи;
Но мгла им застилает очи.

И все-таки луна, луна
Сияньем царственным полна,
Пусть холодна, но все же так
Она улыбку шлет во мрак
(Как нужен этот скорбный свет).
Посмертный нами взят портрет.
Уходит детство солнца вдаль,
Чья бледность, как сама печаль.
Все знаем, что мечтали знать,
Уходит все — не удержать;
Пусть жизнь уносит темнота,
Ведь сущность жизни — красота.

Пришел домой. Но был мой дом
Чужим, он стал давно таким.
Забвенье дверь покрыло мхом,
Но вслед чужим шагам моим
С порога голос прозвучал,
Который я когда-то знал.
Что ж, Ад! Я брошу вызов сам

On beds of fire that burn below,
An humbler heart—a deeper wo.

Father, I firmly do believe—
I *know*—for Death who comes for me
From regions of the blest afar,
Where there is nothing to deceive,
Hath left his iron gate ajar,
And rays of truth you cannot see
Are flashing thro' Eternity—

I do believe that Eblis hath
A snare in every human path—
Else how, when in the holy grove
I wandered of the idol, Love,
Who daily scents his snowy wings
With incense of burnt offerings
From the most unpolluted things,
Whose pleasant bowers are yet so riven
Above with trellic'd rays from Heaven
No mote may shun—no tiniest fly—
The light'ning of his eagle eye—
How was it that Ambition crept,
Unseen, amid the revels there,
Till growing bold, he laughed and leapt
In the tangles of Love's very hair?

(1827-1828/45)

2. SONG

I saw thee on thy bridal day—
When a burning blush came o'er thee,
Though happiness around thee lay,
The world all love before thee:

Огням могильным, небесам,
На скромном сердце скорбь, как шрам.

Отец, я твердо верю в то,
Что смерть, идущая за мной
Из благостного далека,
Оттуда, где не лжет никто,
Не заперла ворот пока,
И проблеск правды неземной—
Над вечностью, над вечной тьмой.

Я верую, Иблис не мог
Вдоль человеческих дорог
Забуть расставить западни...
Я странствовал в былые дни,
Искал Любовь... Была она
Благоуханна и нежна
И ладаном окружена.
Но кров ее давно исчез,
Сожженный пламенем небес.

Ведь даже муха не могла
Избегнуть зорких глаз орла.
Яд честолюбия, сочась,
В наш кубок праздничный проник.
И в пропасть прыгнул я, смеясь,
И к волосам любви приник.

(1976)

Перевод И. Озеровой

2. ПЕСНЯ

Я видел: в день венчанья вдруг
Ты краской залилась,
Хоть счастьем для тебя вокруг
Дышало все в тот час.

And in thine eye a kindling light
 (Whatever it might be)
Was all on Earth my aching sight
 Of Loveliness could see.

That blush, perhaps, was maiden shame—
 As such it well may pass—
Though its glow hath raised a fiercer flame
 In the breast of him, alas!

Who saw thee on that bridal day,
 When that deep blush *would* come o'er thee,
Though happiness around thee lay,
 The world all love before thee.

(1827-1845)

3. DREAMS

Oh! that my young life were a lasting dream!
My spirit not awak'ning till the beam
Of an Eternity should bring the morrow:
Yes! tho' that long dream were of hopeless sorrow,
'Twere better than the dull reality
Of waking life to him whose heart shall be,
And hath been ever, on the chilly earth,
A chaos of deep passion from his birth!

But should it be—that dream eternally
Continuing—as dreams have been to me
In my young boyhood—should it thus be given,
'Twere folly still to hope for higher Heaven!
For I have revell'd, when the sun was bright
In the summer sky; in dreamy fields of light,
And left unheeding my very heart
In climes of mine imagining—apart

Лучи, что затаил твой взор,—
Как странен был их свет!—
Для нищих глаз моих с тех пор
Другого света нет.

Когда девическим стыдом
Румянец тот зажжен,
Сойдет он вмиг. Но злым огнем
Горит его отсвет в том,

Кто видел, как, венчаясь, вдруг
Ты краской залилась,
Хоть счастьем для тебя вокруг
Все расцвело в тот час.

(1972)

Перевод Н. Вольпин

3. МЕЧТЫ

О, будь вся юность долгим сном одним,
Чтоб пробуждался дух, объятый им,
Лишь на рассвете вечности холодной;
Будь этот сон печален безысходно,—
И все ж удел подобный предпочтет
Безрадостной и косной яви тот,
Чье сердце предназначено с рожденья
Страстей глубоких испытать смятенье.
Но будет сходен сон такой иль нет
С фантазиями отроческих лет,
Когда бывают грезы столь прекрасны,
Что лучших небо ниспослать не властно?
Как часто ярким полднем в летний зной
Я, мысленно покинув дом родной,
Скитался по далеким чуждым странам,
Плыл к существам неведомым и странным,
Плодам воображенья моего...

From mine own home, with beings that have been
Of mine own thought—what more could I have seen?

'Twas once and *only* once and the wild hour
From my remembrance shall not pass—some power
Or spell had bound me—'twas the chilly wind
Came o'er me in the night and left behind
Its image on my spirit, or the moon
Shone on my slumbers in her lofty noon
Too coldly—or the stars—howe'er it was
That dream was as that night wind—let it pass.

I have been happy—tho' but in a dream.
I have been happy—and I love the theme—
Dreams! in their vivid colouring of life—
As in that fleeting, shadowy, misty strife
Of semblance with reality which brings
To the delirious eye more lovely things
Of Paradise and Love—and all our own!
Than young Hope in his sunniest hour hath known.

(1827-1828)

4. SPIRITS OF THE DEAD

I

Thy soul shall find itself alone
'Mid dark thoughts of the gray tomb-stone—
Not one, of all the crowd, to pry
Into thine hour of secrecy:

II

Be silent in that solitude,
Which is not loneliness—for then
The spirits of the dead who stood
In life before thee are again
In death around thee—and their will
Shall overshadow thee: be still.

Что мог еще желать я сверх того?
Лишь раз пора мечтаний нам дается,
Тоска ж по ней до смерти остается.
Уж не под властью ль тайных чар я жил?
Не ветер ли ночной в меня вложил
Свой образ и порывы? Не луна ли
Меня манила в ледяные дали?
Не к звездам ли с земли меня влекло?
Не знаю. Все, как вихрем, унесло.
Но хоть в мечтах, а счастлив был тогда я
И к ним пристрастье ввек не обуздаю.
Мечты! Без них была бы жизнь бледна.
В них, радужных, олицетворена
Та схватка яви с видимостью ложной,
Благодаря которой и возможно
В бреду познать любовь и рай полней,
Чем в самом цвете юных сил и дней.

(1976)

Перевод Ю. Корнеева

4. ДУХИ МЕРТВЫХ

В уединенье темных дум
Душа окажется... Угрюм
Здесь камень, мертвенна могила —
И празднословье отступило.

В молчанье здешней тишины
Нет одиночества... Ты знаешь:
Здесь мертвые погребены,
Которых ты не забываешь.
Здесь души их, здесь духи их,
Здесь их завет: будь строг и тих.

III

The night—tho' clear—shall frown—
 And the stars shall look not down,
 From their high thrones in the heaven,
 With light like Hope to mortals given—
 But their red orbs, without beam,
 To thy weariness shall seem
 As a burning and a fever
 Which would cling to thee for ever.

IV

Now are thoughts thou shalt not banish—
 Now are visions ne'er to vanish—
 From thy spirit shall they pass
 No more—like dew-drop from the grass.

V

The breeze—the breath of God—is still—
 And the mist upon the hill
 Shadowy—shadowy—yet unbroken,
 Is a symbol and a token—
 How it hangs upon the trees,
 A mystery of mysteries!—

(1827-1839)

5. EVENING STAR

'Twas noontide of summer,
 And mid-time of night;
 And stars, in their orbits,
 Shone pale, thro' the light
 Of the brighter, cold moon,

Ночь — хоть ясная — ненастна.
Россыпь ярких звезд — ужасна;
Помертвели ореолы,
Пали светлые престолы;
Не надеждою полны,
А кровавы и мрачны
Их лучи — чума и пламя,
Вечно властные над нами.

Дум неизгладимых бремя
И видений вещей время —
Ими дух твой напоен,
Как росой омытый склон.

Ветер — вздох Господен — тих.
Холм, обитель неживых, —
Тень, лишь тень в ночном тумане;
А туман — напоминанье,
Образ, символ и покров
Тайны Тайн во тьме миров!

(1988)

Перевод В. Топорова

5. ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА

Лето в зените,
Полночь темна.
Звезды бледнеют —
Всходит луна,
В небо выводит

'Mid planets her slaves,
Herself in the Heavens,
Her beam on the waves,
I gaz'd awhile
On her cold smile;
Too cold—too cold for me—
There pass'd, as a shroud,
A fleecy cloud,
And I turn'd away to thee,
Proud Evening Star,
In thy glory afar,
And dearer thy beam shall be;
For joy to my heart
Is the proud part
Thou bearest in Heav'n at night,
And more I admire
Thy distant fire,
Than that colder, lowly light.

(1827)

6. A DREAM WITHIN A DREAM

Take this kiss upon the brow!
And, in parting from you now,
Thus much let me avow—
You are not wrong, who deem
That my days have been a dream;
Yet if hope has flown away
In a night, or in a day,
In a vision, or in none,
Is it therefore the less *gone*?
All that we see or seem
Is but a dream within a dream.

Свиту планет.
Брызжет холодный
На воду свет.

Луна улыбалась,
Но мне показалась
Улыбка ее неживой,
А тучи под нею —
Трикраты мрачнее,
Чем черный покров гробовой,
Но тут я в молчанье
Увидел мерцанье
Вечерней звезды над собой.
Был луч ее дальний
Во тьме изначальной
Чуть зрим, но согрел с вышины
Он душу, которой
Так больно от взора
Бесстрастной и близкой луны.

(1976)

Перевод Ю. Корнеева

6. СОН ВО СНЕ

В лоб тебя целую я,
И позволь мне, уходя,
Прошептать, печаль тая:
Ты была права вполне, —
Дни мои прошли во сне!
Упованье было сном;
Все равно, во мгле иль днем,
В дымном призраке иль нет,
Но оно прошло, как бред.
Все, что в мире зримо мне
Или мнится, — сон во сне.

I stand amid the roar
 Of a surf-tormented shore,
 And I hold within my hand
 Grains of the golden sand—
 How few! yet how they creep
 Through my fingers to the deep,
 While I weep—while I weep!
 O God! can I not grasp
 Them with a tighter clasp?
 O God! can I not save
One from the pitiless wave?
 Is *all* that we see or seem
 But a dream within a dream?

(1827-1849)

7. STANZAS

How often we forget all time, when lone
 Admiring Nature's universal throne;
 Her woods—her wilds—her mountains—the intense
 Reply of *HERS* to *OUR* intelligence!

1.

In youth have I known one with whom the Earth
 In secret communing held—as he with it,
 In day light, and in beauty from his birth:
 Whose fervid, flick'ring torch of life was lit
 From the sun and stars, whence he had drawn forth
 A passionate light—such for his spirit was fit—
 And yet that spirit knew not—in the hour
 Of its own fervor—what had o'er it power.

2.

Perhaps it may be that my mind is wrought
 To a fever by the moon beam that hangs o'er,

Стою у бурных вод,
Кругом гроза растет;
Хранит моя рука
Горсть зернышек песка.
Как мало! Как скользят
Меж пальцев все назад...
И я в слезах,— в слезах:
О боже! как в руках
Сжать золотистый прах?
Пусть будет хоть одно
Зерно сохранено!
Все ль то, что зримо мне
Иль мнится,— сон во сне?

(1924)

Перевод В. Брюсова

7. СТАНСЫ

Как часто сердцу горы, чащи, воды —
Безлюдные святилища Природы
Дают столь всеобъемлющий ответ,
Что забываем мы о беге лет!

1.

Был в юности знакомец у меня,
Имевший дар общенья со вселенной;
Но, красоту ее в себе храня
И дух свой, этот факел в жизни брэнной,
Воспламеняя и лучами дня,
И блеском звезд на тверди довременной,
Не знал он, что за силой одержим,
Когда владело исступленье им.

2.

Что это было? То ли наважденье
От чар луны в глухой полночный час?

But I will half believe that wild light fraught
 With more of sov'reignty than ancient lore
 Hath ever told—or is it of a thought
 The unembodied essence, and no more
 That with a quick'ning spell doth o'er us pass
 As dew of the night-time, o'er the summer grass?

3.

Doth o'er us pass, when, as th' expanding eye
 To the loved object—so the tear to the lid
 Will start, which lately slept in apathy?
 And yet it need not be—(that object) hid
 From us in life—but common—which doth lie
 Each hour before us—but *then* only bid
 With a strange sound, as of a harp-string broken
 T'awake us—'Tis a symbol and a token,

4.

Of what in other worlds shall be—and giv'n
 In beauty by our God, to those alone
 Who otherwise would fall from life and Heav'n
 Drawn by their heart's passion, and that tone,
 That high tone of the spirit which hath striv'n
 Tho' not with Faith—with godliness—whose throne
 With desp'rate energy 't hath beaten down;
 Wearing its own deep feeling as a crown.

(1827)

8. A DREAM

In visions of the dark night
 I have dreamed of joy departed—
 But a waking dream of life and light
 Hath left me broken-hearted.

То ль краткий миг внезапного прозренья,
Что раскрывает больше тайн для нас,
Чем древние оккультные ученья?
То ль просто мысль, что в плоть не облеклась,
Но, как роса траву в начале лета,
Живит рассудок несмотря на это?

3.

Как вид того, что любишь всей душой,
Ленивые зрачки нам расширяет,
Иной предмет, в который день-деньской
Любой из нас привычно взор вперяет,
В нежданном свете предстает порой
И глубиной своею изумляет.
Лишь звон разбитой арфы душу так
Пронзает.— Это символ, это знак

4.

Того, что нам сулят миры другие
И в красоте дает провидеть тут
Создатель лишь таким сердцам, какие,—
Не будь ее,— от неба отпадут,
Поскольку бой в себе они, слепые,
Не с верою, но с божеством ведут,
Чтобы себя, его низринув с трона,
Венчать своей же страстью, как короной.

(1976)

Перевод Ю. Корнеева

8. СОН

В ночи отрадной грезил я,
Не помня о разлуке,
Но сон дневной настиг меня
И пробудил — для муки!

Ah! what is not a dream by day
 To him whose eyes are cast
 On things around him with a ray
 Turned back upon the past?

That holy dream—that holy dream,
 While all the world were chiding,
 Hath cheered me as a lovely beam
 A lonely spirit guiding.

What though that light, thro' storm and night,
 So trembled from afar—
 What could there be more purely bright
 In Truth's day-star?

(1827-1845)

9. THE HAPPIEST DAY

The happiest day—the happiest hour
 My sear'd and blighted heart hath known,
 The highest hope of pride, and power,
 I feel hath flown.

Of power! said I? Yes! such I ween
 But they have vanish'd long alas!
 The visions of my youth have been—
 But let them pass.

And, pride, what have I now with thee?
 Another brow may ev'n inherit
 The venom thou hast pour'd on me—
 Be still my spirit.

The happiest day—the happiest hour
 Mine eyes shall see—have ever seen

Ах, что мне в том, что видно днем? —
Не все ли это сон
Тому, чей взор всегда в былом,
Печалью освещен?

Но тот, родной — тот сон святой
Назло судьбе жестокой
Был мне звездой золотой
В дороге одинокой.

Откуда он мерцал — бог весть! —
Сквозь шторм, в ночах глухих...
Но что у правды ярче есть
Средь звезд ее дневных?

(1972)

Перевод Г. Кружкова

9. «СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ! СЧАСТЛИВЫЙ ЧАС!»

Счастливым день! Счастливым час!
И я был горд и ослеплен!
Но дух мой сир и слаб мой глас —
Растаял сон!

Познал я сил своих расцвет,
Свой молодой и смелый пыл,
Но юных лет давно уж нет —
Я их забыл.

И гордость я вотще познал —
Пускай другим венки дарит —
Еще жестокий яд похвал
В душе горит.

Счастливым день! Счастливым час!
Ты не обман мечты пустой —

The brightest glance of pride and power
I feel—have been:

But were that hope of pride and power
Now offer'd, with the pain
Ev'n *then* I felt—that brightest hour
I would not live again:

For on its wing was dark alloy
And as it flutter'd—fell
An essence—powerful to destroy
A soul that knew it well.

(1827)

10. THE LAKE—TO——

In spring of youth it was my lot
To haunt of the wide world a spot
The which I could not love the less—
So lovely was the loneliness
Of a wild lake, with black rock bound,
And the tall pines that towered around.

But when the Night had thrown her pall
Upon that spot, as upon all,
And the mystic wind went by
Murmuring in melody—
Then—ah then I would awake
To the terror of the lone lake.

Yet that terror was not fright,
But a tremulous delight—
A feeling not the jewelled mine
Could teach or bribe me to define—
Nor Love—although the Love were thine.

Ты мне сиял, но ты погас,
Мираж златой.

Когда бы гордость, блеск и власть
Я смог бы *снова* обрести,
Не стало б силы боль и страсть
Опять снести.

Я помню — в мощи этих крыл
Слились огонь и мрак —
В самом уж взлете этом был
Паденья вещей знак.

(1976)

Перевод Т. Гнедич

10. ОЗЕРО

Был в мире мне на утре дней
Всего милее и родней
Забытый уголок лесной,
Где над озерною волной
Я одиночество вкушал
Под соснами, меж черных скал.

Когда же ночь своим плащом
Окутывала все кругом
И ветер начинал опять
В ветвях таинственно роптать,
Во мне рос ужас, леденя,
Как холодок от волн, меня.

Но не со страхом был он все ж,
А с трепетным восторгом схож
И слаще для меня стократ,
Чем набогатейший клад
Иль даже твой влюбленный взгляд.

Death was in that poisonous wave,
 And in its gulf a fitting grave
 For him who thence could solace bring
 To his lone imagining—
 Whose solitary soul could make
 An Eden of that dim lake.

(1827-1845)

11. SONNET—TO SCIENCE

Science! true daughter of Old Time thou art!
 Who alterest all things with thy peering eyes.
 Why preyest thou thus upon the poet's heart,
 Vulture, whose wings are dull realities?
 How should he love thee? or how deem thee wise,
 Who wouldst not leave him in his wandering
 To seek for treasure in the jewelled skies,
 Albeit he soared with an undaunted wing?
 Hast thou not dragged Diana from her car?
 And driven the Hamadryad from the wood
 To seek a shelter in some happier star?
 Hast thou not torn the Naiad from her flood,
 The Elfin from the green grass, and from me
 The summer dream beneath the tamarind tree?

(1829-1843)

12. AL AARAAF

PART I

O! nothing earthly save the ray
 (Thrown back from flowers) of Beauty's eye,

И верил я: под толщей вод
Меня на ложе смерти ждет
Та, без кого я стражду так,
Что погружен мой дух во мрак
И только рядом с ней, на дне,
Вновь светлый рай заблещет мне.

(1976)

Перевод Ю. Корнеева

11. СОНЕТ К НАУКЕ

Наука! ты — дитя Седых Времен!
Меняя все вниманьем глаз прозрачных,
Зачем тревожишь ты поэта сон,
О коршун! крылья чьи — взмах истин мрачных!

Тебя любить? и мудрой счесть тебя?
Зачем же ты мертвишь его усилья,
Когда, алмазы неба возлюбя,
Он мчится ввысь, раскинув смело крылья!

Дианы кобней кто остановил?
Кто из леса изгнал Гамадриаду,
Услав искать приюта меж светил?

Кто выхватил из лона вод Няяду?
Из веток Эльфа? Кто бред летних грез,
Меж тamarисов, от меня унес?

(1924)

Перевод В. Брюсова

12. АЛЬ-ААРАФ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Земного — здесь простыл и след
(Лишь цвет цветов), здесь божий свет

As in those gardens where the day
 Springs from the gems of Circassy—
 O! nothing earthly save the thrill
 Of melody in woodland rill—
 Or (music of the passion-hearted)
 Joy's voice so peacefully departed
 That like the murmur in the shell,
 Its echo dwelleth and will dwell—
 Oh, nothing of the dross of ours—
 Yet all the beauty—all the flowers
 That list our Love, and deck our bowers—
 Adorn yon world afar, afar—
 The wandering star.

'Twas a sweet time for Nesace—for there
 Her world lay lolling on the golden air,
 Near four bright suns—a temporary rest—
 An oasis in desert of the blest.
 Away—away—'mid seas of rays that roll
 Empyrean splendor o'er th' unchained soul—
 The soul that scarce (the billows are so dense)
 Can struggle to its destin'd eminence—
 To distant spheres, from time to time, she rode,
 And late to ours, the favour'd one of God—
 But, now, the ruler of an anchor'd realm,
 She throws aside the sceptre—leaves the helm,
 And, amid incense and high spiritual hymns,
 Laves in quadruple light her angel limbs.

Now happiest, loveliest in you lovely Earth,
 Whence sprang the "Idea of Beauty" into birth,
 (Falling in wreaths thro' many a startled star,
 Like woman's hair 'mid pearls, until, afar,
 It lit on hills Achaian, and there dwelt)
 She look'd into Infinity—and knelt.
 Rich clouds, for canopies, about her curled—
 Fit emblems of the model of her world—

Пчелой собирает с высоты
Лучи небесной красоты.
Земного — здесь пропал и звук
(Лишь сердца стук), здесь лес и луг
Иною — тише тишины —
Мелодией оглашены,
Той музыкой морского дна,
Что раковинам раздана...
Ах! на земле иначе. — Там
Мы можем только по цветам
Гадать о Красоте, мечтам
Вослед, летя за ней, — куда?
Ответь, звезда!

Об эту пору счастлива Незейя —
Ее планета дремлет, пламенея
Под четырьмя светилами небес, —
Оазис чуда посреди чудес.
Но прочь-прочь-прочь, над океаном света,
Душа-Незейя, крыльями одета,
Над гроздьями созвездий мировых
(Они как волны; пенны гребни их),
Велению божественному внемя,
Пускалась в путь, спускалась к нам, на землю.
Так было раньше... А теперь она
Уснула или грезила без сна
И без движенья — на планете странной
Учетверенным солнцем осиянна.

Избранница на высших эмпиреях
(Где Красота предстала на заре их,
Мерцающая, словно жемчуг в волосах
Влюбленной девы, в звездных небесах
И на Ахайю бросив свет Селены)
Взирала восхищенно в даль вселенной.
Раскинулись куртины облаков
У ног ее — весь этот мир таков:
Прекрасен, но прозрачен, чтоб напрасно

Seen but in beauty—not impeding sight
Of other beauty glittering thro' the light—
A wreath that twined each starry form around,
And all the opal'd air in color bound.

All hurriedly she knelt upon a bed
Of flowers: of lilies such as rear'd the head
On the fair Capo Deucato, and sprang
So eagerly around about to hang
Upon the flying footsteps of—deep pride—
Of her who lov'd a mortal—and so died.
The Sephalica, budding with young bees,
Uprear'd its purple stem around her knees:
And gemmy flower, of Trebizond misnam'd—
Inmate of highest stars, where erst it sham'd
All other loveliness: its honied dew
(The fabled nectar that the heathen knew)
Deliriously sweet, was dropp'd from Heaven,
And fell on gardens of the unforgiven
In Trebizond—and on a sunny flower
So like its own above that, to this hour,
It still remaineth, torturing the bee
With madness, and unwonted reverie:
In Heaven, and all its environs, the leaf
And blossom of the fairy plant, in grief
Disconsolate linger—grief that hangs her head,
Repenting follies that full long have fled,
Heaving her white breast to the balmy air,
Like guilty beauty, chasten'd, and more fair:
Nyctanthes too, as sacred as the light
She fears to perfume, perfuming the night:
And Clytia pondering between many a sun,
While pettish tears adown her petals run:
And that aspiring flower that sprang on Earth—
And died, ere scarce exalted into birth,
Bursting its odorous heart in spirit to wing
Its way to Heaven, from garden of a king:
And Valisnerian lotus thither flown

Всего не застить, что равнопрекрасно,—
Цветной туман, цветных туманов шторм,
В котором исчезает косность форм.

Владычица упала на колени
На ложе трав, в прелестное цветенье
Левкадских лилий, легкою главой
Качавших над гордичкой страстной той,
Что смертного мятежно полюбила
И со скалы в бессмертие ступила.
А рядом цвел сефалик на стебле
Багровей, чем закаты на земле,
И тот цветок, что дерзко «требизонтом»
Зовем (он за небесным горизонтом
Возрос на самой пышной из планет);
Его хмельной, медовый, дивный цвет
(Известный древним, нектар благовонный),—
От благодати небесной отлученный
За то, что он сулит восторг во зле,—
Цветет, в изгнание жалком, на земле,
Где, жаля и желая, в забытыи
Над ним кружатся пьяные рои,
А сам он, брошен пчелам на потребу,
Стеблями и корнями рвется к небу.
Как падший ангел, голову клонит
(Забытый, хоть позор и не забыт)
И горькой умывается росой,
Блестящая обещанной красою.
Цвели никанты, дневный аромат
Ночным перевозмогая во сто крат,
И клитии — подсолнечники наши —
Под солнцами, одно другого краше,
И те цветы, чья скоро гибнет прелесть,
С надеждою на небо засмотрелись:
Они туда в июле полетят,
И опустеет королевский сад.
И лотос, над разливом бурной Роны
Подъемяющий свой стебель непреклонно,

From struggling with the waters of the Rhone:
 And thy most lovely purple perfume, Zante!
 Isola d'oro!— Fior di Levante!
 And the Nelumbo bud that floats for ever
 With Indian Cupid down the holy river—
 Fair flowers, and fairy! to whose care is given
 To bear the Goddess' song, in odors, up to Heaven:
 "Spirit! that dwellest where,

In the deep sky,
 The terrible and fair,
 In beauty vie!
 Beyond the line of blue—
 The boundary of the star
 Which turneth at the view
 Of thy barrier and thy bar—
 Of the barrier overgone
 By the comets who were cast
 From their pride, and from their throne
 To be drudges till the last—
 To be carriers of fire
 (The red fire of their heart)
 With speed that may not tire
 And with pain that shall not part—
 Who livest—*that* we know—
 In Eternity—we feel—
 But the shadow of whose brow
 What spirit shall reveal?
 Tho' the beings whom thy Nesace,
 Thy messenger hath known
 Have dream'd for thy Infinity
 A model of their own—
 Thy will is done, Oh, God!
 The star hath ridden high
 Thro' many a tempest, but she rode
 Beneath thy burning eye;
 And here, in thought, to thee—
 In thought that can alone
 Ascend thy empire and so be

Цветок Нелумбо, Гангом порожден
(А в нем самом родился Купидон),
Пурпурное благоуханье Занте!
Isola d'oro! Fior di Levante!
Цветы, цветы! чисты их голоса
И запахи восходят в небеса.

О великий Аллах!
Ты с высот высоты
Видишь горе и страх
В красоте красоты!
Где лазурный шатер
Гложут звезд пламена—
Там твой вечный дозор,
Страж на все времена—
В окруженье комет,
Из сияния в синь
До скончания лет
Низведенных рабынь,
Осужденных нести
Меж недвижных огней
В нарастании скорости
Факел скорби своей.—
Вечность— только в предчувствии
Нам дарованный срок—
Твоего соприсутствия
Неизменный залог.
В том и радость, Незейя,
В том великая весть:
Ибо, в вечности рея,
Вечность— ведаешь— есть!
Так ты судишь, Аллах.
И звезда одиноко
В путь пустилась в мирах
К свету божьего ока.
Разум был вознесен!
Он один, величавый,
И державу и трон

A partner of thy throne—
 By wingéd Fantasy,
 My embassy is given,
 Till secrecy shall knowledge be
 In the environs of Heaven.”

She ceas'd—and buried then her burning cheek
 Abash'd, amid the lilies there, to seek
 A shelter from the fervour of His eye;
 For the stars trembled at the Deity.
 She stirr'd not—breath'd not—for a voice was there
 How solemnly pervading the calm air!
 A sound of silence on the startled ear
 Which dreamy poets name “the music of the sphere.”
 Ours is a world of words: Quiet we call
 “Silence”—which is the merest word of all.
 All Nature speaks, and ev'n ideal things
 Flap shadowy sounds from visionary wings—
 But ah! not so when, thus, in realms on high
 The eternal voice of God is passing by,
 And the red winds are withering in the sky!

“What tho' in worlds which sightless cycles run,
 Link'd to a little system, and one sun—
 Where all my love is folly and the crowd
 Still think my terrors but the thunder cloud,
 The storm, the earthquake, and the ocean-wrath—
 (Ah! will they cross me in my angrier path?)
 What tho' in worlds which own a single sun
 The sands of Time grow dimmer as they run,
 Yet thine is my resplendency, so given
 To bear my secrets thro' the upper Heaven.
 Leave tenantless thy crystal home, and fly,
 With all thy train, athwart the moony sky—
 Apart—like fire-flies in Sicilian night,
 And wing to other worlds another light!
 Divulge the secrets of thy embassy
 To the proud orbs that twinkle—and so be

Делит с богом по праву.
Ввысь, мой разум, взлети!
Стань, фантазия, птицей!
Мысли божьи прочти —
И воздастся сторицей!

Петь кончила — и очи опустила,
И лилии к ланитам приложила,
Смущенная прихлынувшим огнем. —
Дрожали звезды перед Божеством.
Она ждала (робела, трепетала)
Речения, которое звучало
Сначала как молчание и свет, —
«Музыкой сфер» зовет его поэт.
Мы — в мире слов, но мир словесный наш —
Молчания великого мираж,
Лишь теням звуков или крыльям теней
Мы внемлем в мире подлинных видений.
Но ах! порой молчание прервет
Глас Господа, струящийся с высот, —
И красный вихрь охватит небосвод:

«Невидимо летит в потоках света
Под скудным солнцем скудная планета,
Божественный презревшая закон, —
За что сей мир в пучину погружен
Отчаянья, мучения, позора,
Изведал ужас пламени и мора,
Под скудным солнцем (так мой гнев велик)
Дано изведать людям смертный миг.
Но, властная и вечная, не надо
Пренебрегать и жителями ада;
С алмазных и хрустальных эмпирей
Ты с сестрами сойди в юдоль скорбей,
Даруйте людям свет иного края,
Как светлячки Сицилии сияя.
Божественные тайны разгласи!
Смиренье неземное принеси!

To ev'ry heart a barrier and a ban
Lest the stars totter in the guilt of man!"

Up rose the maiden in the yellow night,
The single-mooned eve!—on Earth we plight
Our faith to one love—and one moon adore—
The birth-place of young Beauty had no more.
As sprang that yellow star from downy hours
Up rose the maiden from her shrine of flowers,
And bent o'er sheeny mountain and dim plain
Her way—but left not yet her Therasæan reign.

PART II

High on a mountain of enamell'd head—
Such as the drowsy shepherd on his bed
Of giant pasturage lying at his ease,
Raising his heavy eyelid, starts and sees,
With many a mutter'd "hope to be forgiven"
What time the moon is quadrated in Heaven—
Of rosy head, that towering far away
Into the sunlit ether, caught the ray
Of sunken suns at eve—at noon of night,
While the moon danc'd with the fair stranger light—
Uprear'd upon such height arose a pile
Of gorgeous columns on th' unburthen'd air,
Flashing from Parian marble that twin smile
Far down upon the wave that sparkled there,
And nursled the young mountain in its lair.
Of molten stars their pavement, such as fall
Thro' the ebon air, besilvering the pall
Of their own dissolution, while they die—
Adorning then the dwellings of the sky.
A dome, by linkéd light from Heaven let down,
Sat gently on these columns as a crown—
A window of one circular diamond, there,
Look'd out above into the purple air,

Свет истины моей! И стань пределом
Всем смелым и опорой — оробелым».

Душа очнулась в златотканый час.
(Как на земле! — Одна луна зажглась.
Мы, люди, однолюбы, одноверцы:
Единственная страсть сжимает сердце.)
И, как луна скользит из облаков,
Восстала с ложа замерших цветов
И обозрела сонный мир Незея:
То не Земля была, а Теразея.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Гора над миром в пламени заката —
Такую лишь пастух узрел когда-то,
Очнувшись от нечаянного сна,
И прошептал (слепила вышина):
«Спасите, небеса, меня и стадо!» —
Плыла луны квадратная громада
Над той горой, бросая дикий блеск
На пик ее, а волн эфира плеск
Еще златился в ясный полдень ночи
При свете солнц, терявших полномочья.
На той горе в причудливом сиянье
Ряды виднелись мраморных колонн,
Меж них располагались изваянья,
И весь невозмутимый пантеон
Был в искрометных водах отражен.
Колоннами поддержанный помост
Сковали духи из падучих звезд,
Погибших, как злодей на эшафоте,
В рассеянном серебряном полете.
Сам храм — магнит лучей его держал —
Короной на помосте возлежал
И созерцал окна алмазным оком
Все, что творилось в космосе высоком.

And rays from God shot down that meteor chain
 And hallow'd all the beauty twice again,
 Save when, between th' Empyrean and that ring,
 Some eager spirit flapp'd his dusky wing.
 But on the pillars Seraph eyes have seen
 The dimness of this world: that greyish green
 That Nature loves the best for Beauty's grave
 Lurk'd in each cornice, round each architrave—
 And every sculptur'd cherub thereabout
 That from his marble dwelling peeréd out,
 Seem'd earthly in the shadow of his niche—
 Achaian statues in a world so rich?
 Friezes from Tadmor and Persepolis—
 From Balbec, and the stilly, clear abyss
 Of beautiful Gomorrah! O, the wave
 Is now upon thee—but too late to save!

Sound loves to revel in a summer night:
 Witness the murmur of the grey twilight
 That stole upon the ear, in Eyraco,
 Of many a wild star-gazer long ago—
 That stealeth ever on the ear of him
 Who, musing, gazeth on the distance dim.
 And sees the darkness coming as a cloud—
 Is not its form—its voice—most palpable and loud?

But what is this?—it cometh—and it brings
 A music with it—'tis the rush of wings—
 A pause—and then a sweeping, falling strain
 And Nesace is in her halls again.
 From the wild energy of wanton haste
 Her cheeks were flushing, and her lips apart;
 And zone that clung around her gentle waist
 Had burst beneath the heaving of her heart.
 Within the centre of that hall to breathe
 She paus'd and panted, Zante! all beneath,
 The fairy light that kiss'd her golden hair
 And long'd to rest, yet could but sparkle there!

Когда, казалось, блеск ослабевал,
Пылал огнем расплавленный металл
Метеоритов, но порою все же
Тревожный дух из сумеречной дрожи
Трепещущим крылом туманил свет...
Здесь целый мир: прекрасен он — и сед.
Здесь Красоты волшебная могила,
Здесь опочила вся земная сила,
Вся слава, вся надежда наша — лишь
Бездушный мрамор, мраком черных ниш
Одетый и навечно погребенный.
Руины и пожарища вселенной!
Обломки Персеполя, приговор
Гордыне вашей, Бальбек и Тадмор,
Величие, расцветшее в Гоморре.—
Исхода нет... О волны в Мертвом море!

Ночь летняя — час пиршества речей.
Эйрацкий звездочет и книгочей
Умел, внимая звездные порядки,
Расслышать их законы и загадки,—
Но чутче тем реченьям внемлет Тот,
Кто ниоткуда ничего не ждет,
И видит, наши вечности листая,
Как тьма нисходит — громкая, густая...

Но что это? все ближе, все слышнее,
Нежней свирели, звонких струн стройнее,—
Звук... нарастанье... грянет... нарастет...
Незейя во дворце... скрипичный взлет.
От быстрого полета расплелась
Ее коса, ланиты заалели,
И лента, что вокруг стана обвилась,
Висит свободно на воздушном теле.
Она вступила в свой заветный зал
И замерла... Но свет не замирал,
Ее волосы золотистые лобзая
И звезды золотые в них вонзая.

Young flowers were whispering in melody
To happy flowers that night—and tree to tree;
Fountains were gushing music as they fell
In many a star-lit grove, or moon-lit dell;
Yet silence came upon material things—
Fair flowers, bright waterfalls and angel wings—
And sound alone that from the spirit sprang
Bore burthen to the charm the maiden sang:
“ ‘Neath blue-bell or streamer—
 Or tufted wild spray
That keeps, from the dreamer,
 The moonbeam away—
Bright beings! that ponder,
 With half closing eyes,
On the stars which your wonder
 Hath drawn from the skies,
Till they glance thro’ the shade, and
 Come down to your brow
Like—eyes of the maiden
 Who calls on you now—
Arise! from your dreaming
 In violet bowers,
To duty beseeming
 These star-litten hours—
And shake from your tresses
 Encumber’d with dew
The breath of those kisses
 That cumber them too—
(O! how, without you, Love!
 Could angels be blest?)
Those kisses of true love
 That lull’d ye to rest!
Up!—shake from your wing
 Each hindering thing:
The dew of the night—
 It would weight down your flight;
And true love caresses—
 O! leave them apart!

В такие ночи шепчутся цветы
Друг с дружкой, и с листьями — листы,
Ручей с ручьем — все чище, все невинней,
При звездах — в рощах, под луной — в долине.
Но все, что полудух и дух почти,
До музыки не в силах дорости —
Цветы, крыла, ручки... Лишь дух единый
Внимал и вторил песне соловьиной:

В очарованных чащах
Под сенью ветвей,
Охраняющей спящих
От слепящих лучей, —
Искры истины! Те, что
Ночною порой
Сквозь сонные вежды
Звезду за звездой
Влекут с небосклона,
Чаруя, к очам,
Как взоры влюбленно
Внимающей вам,
Очнитесь, в эфирном
Своем бытии,
Веленьем всемирным,
Служанки мои!
Стряхните с душистых
Распущенных кос
След лобзаний росистых
И лобзающих рос
(Ведь любовь и лобзанья
Ниспошлют небеса,
Но покой и молчанье
Предпочтут небеса).
Поведите плечами,
Взмахните крылами —
Мешает роса
Взлететь в небеса.
От любви надо лики

They are light on the tresses,
 But lead on the heart.

Ligeia! Ligeia!
 My beautiful one!
 Whose harshest idea
 Will to melody run,
 O! is it thy will
 On the breezes to toss?
 Or, capriciously still,
 Like the lone Albatross,
 Incumbent on night
 (As she on the air)
 To keep watch with delight
 On the harmony there?

Ligeia! wherever
 Thy image may be,
 No magic shall sever
 Thy music from thee.
 Thou hast bound many eyes
 In a dreamy sleep—
 But the strains still arise
 Which *thy* vigilance keep—
 The sound of the rain
 Which leaps down to the flower,
 And dances again
 In the rhythm of the shower—
 The murmur that springs
 From the growing of grass
 Are the music of things—
 But are modell'd, alas!—
 Away, then my dearest,
 O! hie thee away
 To springs that lie clearest
 Beneath the moon-ray—
 To lone lake that smiles,
 In its dream of deep rest,

Отвратить наконец:
В косах — легкие блики,
В сердце — тяжкий свинец!

Лигейя! Лигейя!
Музыка! Красота!
Темной гибелью вея,
Ты светла и чиста!
О, плакать ли станешь,
Упав на утес,
Иль в небе застынешь —
Ночной альбатрос:
Он дремлет над морем,
Раскинув крыла,—
Ты грезишь над миром,
Чиста и светла!

Лигейя! Покуда
Свет миров не померк,
Ты — певучее чудо,
Берущее верх
Над страхом, что гложет
Людей в забвенье...
Но кто ж приумножит
Напевы твои?
Не дождь ли, шумящий
Над спящей травой
Все чаще и чаще —
И вот — проливной?
Не рост ли растенья?
Цветенье ль цветов?
Ах! Подлинно пенье
Не струн, а миров!
Служанка, не надо!
Оставь свой напев
Для струй водопада,
Для шума дерев,
Для озера, сонно

At the many star-isles
 That enjewel its breast—
 Where wild flowers, creeping,
 Have mingled their shade,
 On its margin is sleeping
 Full many a maid—
 Some have left the cool glade, and
 Have slept with the bee—
 Arouse them my maiden,
 On moorland and lea—
 Go! breathe on their slumber,
 All softly in ear,
 The musical number
 They slumber'd to hear—
 For what can awaken
 An angel so soon
 Whose sleep hath been taken
 Beneath the cold moon,
 As the spell which no slumber
 Of witchery may test,
 The rhythmical number
 Which lull'd him to rest?"

Spirits in wing, and angels to the view,
 A thousand seraphs burst th' Emyrean thro',
 Young dreams still hovering on their drowsy flight—
 Seraphs in all but "Knowledge," the keen light
 That fell, refracted, thro' thy bounds, afar
 O Death! from eye of God upon that star:
 Sweet was that error—sweeter still that death—
 Sweet was that error—ev'n with *us* the breath
 Of Science dims the mirror of our joy—
 To them 'twere the Simoon, and would destroy—
 For what (to them) availeth it to know
 That Truth is Falsehood—or that Bliss is Woe?
 Sweet was their death—with them to die was rife
 With the last ecstasy of satiate life—

Поющего в лад,
Для звезд, миллионы
Которых не спят,
Для диких цветов и
Лежащих без сна
В девичьем алькове
(Если в небе луна),
Беспокоюсь, как пчелы...
Где вереск сырой,
Где тихие доли,—
Там, верная, пой!
Ведь люди, что дышат
Легко в забытьи,
Уснули, чтоб слышать
Напевы твои,
Ведь ночью иного
Не ждет небосвод—
Ни ласковой слова,
Ни мягче забот,
Ведь ангелы встанут
В хладном блеске луны,
Лишь только настанут
Чары, песни и сны!

И с этим словом духи взмыли ввысь,
И ангелы по небу понеслись,
И сны, не просыпаясь, полетели—
Во всем подобны ангелам, но еле-
Еле причастны Знанию тому,
Что означает Смерть конец всему.
Но заблужденье было так прекрасно
(Хоть смерть еще прекрасней), что неясно,
Зачем дыханье Знанья (или Зла?)
Туманит нам восторга зеркала.
А им— не дуновением— самумом
Открылось бы в величии угрюмом,
Что правда значит ложь, а радость— боль...
Прекрасна смерть— затем ли, оттого ль,

Beyond that death no immortality
 But sleep that pondereth and is not "to be"—
 And there—oh! may my weary spirit dwell—
 Apart from Heaven's Eternity—and yet how far from Hell!
 What guilty spirit, in what shrubbery dim,
 Heard not the stirring summons of that hymn?
 But two: they fell: for Heaven no grace imparts
 To those who hear not for their beating hearts.
 A maiden-angel and her seraph-lover—
 O! where (and ye may seek the wide skies over)
 Was Love, the blind, near sober Duty known?
 Unguided Love hath fallen—'mid "tears of perfect moan."

He was a goodly spirit—he who fell:
 A wanderer by moss-y-mantled well—
 A gazer on the lights that shine above—
 A dreamer in the moonbeam by his love:
 What wonder? for each star is eye-like there,
 And looks so sweetly down on Beauty's hair—
 And they, and ev'ry mossy spring were holy
 To his love-haunted heart and melancholy.
 The night had found (to him a night of wo)
 Upon a mountain crag, young Angelo—
 Beetling it bends athwart the solemn sky,
 And scowls on starry worlds that down beneath it lie.
 Here sate he with his love—his dark eye bent
 With eagle gaze along the firmament:
 Now turn'd it upon her—but ever then
 It trembled to the orb of EARTH again.
 "Ianthe, dearest, see! how dim that ray!
 How lovely 'tis to look so far away!
 She seem'd not thus upon that autumn eve
 I left her gorgeous halls—nor mourn'd to leave.
 That eve—that eve—I should remember well—
 The sun-ray dropp'd, in Lemnos, with a spell
 On th' Arabesque carving of a gilded hall
 Wherein I sate, and on the draped wall—
 And on my eye-lids—O the heavy light!

Что жизнь уже пресытилась экстазом,
Что сердце отгремело, замер разум,
И духи речь степенно завели
Вдали от Рая, Ада и Земли!
Но кто, мятежный, в зарослях тумана
Смолчал, когда послышалась осанна?
Их двое... Догадались: не простит
Господь того, кто на небе грустит.
Их двое, посетивших эту глушь...
О, никогда в краю притихших душ
Любовь — слепую смуту — не прощали!
Им пасть — «в слезах властительной печали».

Он был великий дух — и он падет.
Он странник был, скиталец, звездочет,
Был созерцатель в грусти неизменной
Всего, что восхищает во вселенной.
И что за диво? если красота
Ему открылась, истинно свята,
Он не молился ничему священной,
Чем красота — в любом из воплощений.
И ночь во мраке Анжело нашла,
Ночь (для него) отчаянья и зла
Нашла его клянущим мирозданье
Словами из земного достоянья.
С возлюбленной сидел он на холме
(Орлиный взор его блуждал во тьме),
Не глядя на любимую, — затем ли,
Что там, внизу, — в слезах — увидел Землю?

«Ианте! Погляди скорей туда,
Где замерцала слабая звезда!
О, свет ее лился совсем иначе
В осенний час прощания без плача.
В тот час — в тот час (мне памятен тот час) —
На Лемносе закат был златовлас
И злато, не жалея, перенес
На шерсть ковров и шелк моих волос

How drowsily it weigh'd them into night!
 On flowers, before, and mist, and love they ran
 With Persian Saadi in his Gulistan:
 But O that light!—I slumber'd—Death, the while,
 Stole o'er my senses in that lovely isle
 So softly that no single silken hair
 Awoke that slept—or knew that he was there.

The last spot of Earth's orb I trod upon
 Was a proud temple call'd the Parthenon—
 More beauty clung around her column'd wall
 Than ev'n thy glowing bosom beats withal,
 And when old Time my wing did disenthral
 Thence sprang I—as the eagle from his tower,
 And years I left behind me in an hour.
 What time upon her airy bounds I hung
 One half the garden of her globe was flung
 Unrolling as a chart unto my view—
 Tenantless cities of the desert too!
 Ianthe, beauty crowded on me then,
 And half I wish'd to be again of men.”
 “My Angelo! and why of them to be?
 A brighter dwelling-place is here for thee—
 And greener fields than in yon world above,
 And woman's loveliness—and passionate love.”

“But, list, Ianthe! when the air so soft
 Fail'd, as my pennon'd spirit leapt aloft,
 Perhaps my brain grew dizzy—but the world
 I left so late was into chaos hurl'd—
 Sprang from her station, on the winds apart,
 And roll'd, a flame, the fiery Heaven athwart.
 Methought, my sweet one, then I ceased to soar
 And fell—not swiftly as I rose before,
 But with a downward, tremulous motion thro'
 Light, brazen rays, this golden star unto!
 Nor long the measure of my falling hours,
 For nearest of all stars was thine to ours—

И на мои ресницы. Свет святой!
Мгновенье счастья перед пустотой!
Цветы... качались... свет... лился... туман...
Я задремал... Саади... Гюлистан
Мне снились... Свет лился... Цветы цвели...
И смерть в тот час взяла меня с земли
И увела, как за руку. Взяла,
Не разбудив, взяла и повела...

Последнее, что помню на земле я,—
Храм Парфенон. Он краше и светлее
Самой земли. Ианте, даже ты
Не воплощаешь столько красоты...
Орлом раскинув крылья, с высоты
Я вниз глядел, на жизнь мою, что ныне
Песчинкою затеряна в пустыне.
Но, пролетая над землей, я зрел,
Что мир земной расцвел—и постарел:
Пустые храмы и пустые грады,
Заброшены поля и вертограды.
И красота, низвергнутая в ад,
Звала меня! Звала меня назад!»

«Мой Анжело! Тебе ль грустить об этом?
Ты избран богом и обласкан светом,
Ты помещен на высшую звезду,
И я земную деву превзойду!»
«Ианте, слушай! с тех высот, где воздух
Разрежен в расстояниях межзвездных
(То голова кружилась ли?), вдали
Я наблюдал крушение Земли!
Она, морями пламени омыта,
Вдруг сорвалась под вихрями с орбиты
И покатилась—жалкий шар—в хаос.
И я, над океаном зыбких грез,—
Я не летел, а падал, и светило
В глубокой бездне красное светило—
Твоя звезда! Твой огненный Дедал!

Dread star! that came, amid a night of mirth,
A red Dædalion on the timid Earth.

“We came—and to thy Earth—but not to us
Be given our lady’s bidding to discuss:
We came, my love; around, above, below,
Gay fire-fly of the night we come and go,
Nor ask a reason save the angel-nod
She grants to us, as granted by her God—
But, Angelo, than thine grey Time unfurl’d
Never his fairy wing o’er fairier world!
Dim was its little disk, and angel eyes
Alone could see the phantom in the skies,
When first Al Araaf knew her course to be
Headlong thitherward o’er the starry sea—
But when its glory swell’d upon the sky,
As glowing Beauty’s bust beneath man’s eye,
We paus’d before the heritage of men,
And thy star trembled—as doth Beauty then!”

Thus, in discourse, the lovers whiled away
The night that waned and waned and brought no day.
They fell: for Heaven to them no hope imparts
Who hear not for the beating of their hearts.

(1829-1845)

13. ROMANCE

Romance, who loves to nod and sing
With drowsy head and folded wing,
Among the green leaves as they shake
Far down within some shadowy lake,
To me a painted paroquet
Hath been—a most familiar bird—
Taught me my alphabet to say—

Я наземь пал—и сам он упал,
Всемирных страхов жуткое исчадь,
На Землю, что молила о пощаде».

«Да, мой любимый, мы летели—к Ней!
Вниз, вверх, вокруг, под иглами огней,
Как светлячки,—не ведая, доколе
Светиться по владычицыной воле.
Владычица ль, господь ли судит нас—
Не нам с тобой постигнуть их наказ;
Одно я разумею, Землю вашу
Теперь увидев,—нету мира краше!
Сперва не знала я, куда наш путь,
Она, звезда-малютка, лишь чуть-чуть
Мерцала в полупризрачном тумане,
Но чем быстрее, чем ближе—тем сиянье
Ее сильнее—и застит небеса!
Уже я предвкушала чудеса,
Бессмертье открывала в человеке.
Но свет померк—и там и тут—навек!»
Так, за речами, время проходило.
Ночь длилась, длилась... и не проходила...
Поникли. Догадались: не простит
Господь того, кто на небе грустит.

(1976)

Перевод В. Топорова

13. РОМАНС

О, пестрый мой Романс, нередко,
Вспорхнув у озера на ветку,
Глаза ты сонно закрывал,
Качался, головой кивал,
Тихонько что-то напевал,
И я, малыш, у попугая
Учился азбуке родной,

To lisp my very earliest word
 While in the wild wood I did lie,
 A child—with a most knowing eye.

Of late, eternal Condor years
 So shake the very Heaven on high
 With tumult as they thunder by,
 I have no time for idle cares
 Through gazing on the unquiet sky.
 And when an hour with calmer wings
 Its down upon my spirit flings—
 That little time with lyre and rhyme
 To while away— forbidden things!
 My heart would feel to be a crime
 Unless it trembled with the strings.

(1829-1845)

14. TO ——

1.

Should my early life seem,
 (As well it might,) a dream—
 Yet I build no faith upon
 The king Napoleon—
 I look not up afar
 For my destiny in a star:

2

In parting from you now
 Thus much I will avow—
 There are beings, and have been
 Whom my spirit had not seen
 Had I let them pass me by

В зеленой чаще залегая
И наблюдая день-деньской
Недетским взглядом за тобой.

Но время, этот кондор вечный,
Мне громовым полетом лет
Несет такую бурю бед,
Что тешиться мечтой беспечной
Сил у меня сегодня нет.
Но от нее, коль на мгновенье
Дано и мне отдохновенье,
Не откажусь я все равно:
В ней тот не видит преступленья,
Чье сердце, в лад струне, должно
Всегда дрожать от напряженья.

(1976)

Перевод Ю. Корнеева

14. К ***

1.

Прежняя жизнь предо мной
Предстает,— что и верно,— мечтой;
Уж я не грежу бессонно
О жребии Наполеона,
Не ищу, озираясь окрест,
Судьбы в сочетании звезд.

2.

Но, мой друг, для тебя, на прощанье,
Одно я сберег признание:
Были и есть существа,
О ком сознаю я едва,
Во сне предо мной прошли ли

With a dreaming eye—
 If my peace hath fled away
 In a night—or in a day—
 In a vision—or in none—
 Is it therefore the less gone?—

3.

I am standing 'mid the roar
 Of a weather-beaten shore,
 And I hold within my hand
 Some particles of sand—
 How few! and how they creep
 Thro' my fingers to the deep!
 My early hopes? no—they
 Went gloriously away,
 Like lightning from the sky
 At once—and so will I.

4.

So young? ah! no—not now—
 Thou hast not seen my brow,
 But they tell thee I am proud—
 They lie—they lie aloud—
 My bosom beats with shame
 At the paltriness of name
 With which they dare combine
 A feeling such as mine—
 Nor Stoic? I am not:
 In the terror of my lot
 I laugh to think how poor
 That pleasure “to endure!”
 What! shade of Zeno!—I!
 Endure!—no—no—defy.

(1829)

Тени неведомой были.
Все ж навек мной утрачен покой,—
Днем ли,— во тьме ль ночной,—
На яву ль,— в бреду ль,— все равно ведь;
Мне душу к скорби готовить!

3.

Стою у бурных вод,
Кругом гроза растет;
Хранит моя рука
Горсть зернышек песка;
Как мало! как спешат
Меж пальцев все назад!

Надежды? нет их, нет!
Блистательно, как свет
Зарниц, погасли вдруг...
Так мне пройти, мой друг!

4.

Столь юным? — О, не верь!
Я — юн, но не теперь.
Все скажут, я — гордец.
Кто скажет так, тот — лжец!
И сердце от стыда
Стучит во мне, когда
Все то, чем я томим,
Клеймят клеймом таким!
Я — стоик? Нет! Тебе
Клянусь: и в злой судьбе
Восторг «страдать» — смешон!
Он — бледен, скуден — он!
Не ученик Зенона —
Я. Нет! — Но — выше стона!

(1924) *Перевод В. Брюсова*

15. TO——

The bowers whereat, in dreams, I see
 The wantonest singing birds,
 Are lips—and all thy melody
 Of lip-begotten words—

Thine eyes, in Heaven of heart enshrined
 Then desolately fall,
 O God! on my funereal mind
 Like starlight on a pall—

Thy heart—*thy* heart!—I wake and sigh,
 And sleep to dream till day
 Of the truth that gold can never buy—
 Of the baubles that it may.

(1829-1845)

16. TO THE RIVER——

Fair river! in thy bright, clear flow
 Of crystal, wandering water,
 Thou art an emblem of the glow
 Of beauty—the unhidden heart—
 The playful mazziness of art
 In old Alberto's daughter;

But when within thy wave she looks—
 Which glistens then, and trembles—
 Why, then the prettiest of brooks
 Her worshipper resembles;
 For in his heart, as in thy stream,
 Her image deeply lies—
 His heart which trembles at the beam
 Of her soul-searching eyes.

(1829-1845)

15. К***

Та роща, где, в мечтах,— чудесней
Эдемских,— птицы без числа:
Твои уста! и все те песни:
Слова, что ты произнесла!

На небе сердца,— горе! горе!—
Нещадно жгуч твой каждый взгляд!
И их огни, как звезды— море,
Мой дух отравленный палат.

Ты, всюду— ты! Куда ни ступишь!
Я в сон спешу, чтоб видеть сны:
О правде, что ничем не купишь,
И о безумствах, что даны!

(1924)

Перевод В. Брюсова

16. К РУЧЬЮ

Живой ручей! Как ясен ты,
Твой бег лучами вышит,
Твой блеск— эмблема красоты,
Души, открытой тайнам чувств,
Привольной прихоти искусств,
Чем дочь Альберто дышит.
Когда она глядит в тебя,
Дрожишь ты, многоводен,
И, детский лик волной дробя,
Со мной, ручей, ты сходен;
Как ты, вбираю я в себя
Ее черты глубоко,
И я, как ты, дрожу, дробя
Души взыскующее око.

(1924)

Перевод В. Брюсова

17. TO——

I heed not that my earthly lot
Hath—little of Earth in it—
That years of love have been forgot
In the hatred of a minute:—
I mourn not that the desolate
Are happier, sweet, than I,
But that *you* sorrow for *my* fate
Who am a passer by.

(1828-1849)

18. FAIRY-LAND

Dim vales—and shadowy floods—
And cloudy-looking woods,
Whose forms we can't discover
For the tears that drip all over.
Huge moons there wax and wane—
Again—again—again—
Every moment of the night—
Forever changing places—
And they put out the star-light
With the breath from their pale faces.
About twelve by the moon-dial
One more filmy than the rest
(A kind which, upon trial,
They have found to be the best)
Comes down—still down—and down
With its centre on the crown
Of a mountain's eminence,
While its wide circumference
In easy drapery falls
Over hamlets, over halls,

17. К ***

Не жду, чтоб мой земной удел
 Был чужд земного тленья;
Года любви я б не хотел
 Забыть в бреду мгновенья.

И плачу я не над судьбой
 Своей, с проклятьем схожей:
Над тем, что *ты* грустишь со мной,
 Со мной, кто лишь прохожий.

(1924)

Перевод В. Брюсова

18. ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА

Над берегами седыми
Деревья в белесом дыме,
Внизу — невидимый плес
В тускнеющих пятнах слез.
То там, то здесь вырастают
И тают — тают — тают
Круги блуждающих лун:
Плывут над россыпью звездной
Подобьем белых лакун,
Но поздно — поздно — поздно —
Двенадцать на лунных часах,
И месяц, чей блеск неверный
Измерен на лунных весах
(Уж верно, не самый скверный!),
На горный спустился пик,
И конус вершины мрачной
В сердце его проник,
Клубок размотав прозрачный:
Струистый наброшен плащ
На сумрак морей и чаш,

Wherever they may be—
O'er the strange woods—o'er the sea—
Over spirits on the wing—
Over every drowsy thing—
And buries them up quite
In a labyrinth of light—
And then, how deep!—O, deep!
Is the passion of their sleep.
In the morning they arise,
And their moony covering
Is soaring in the skies,
With the tempests as they toss,
Like—almost any thing—
Or a yellow Albatross.
They use that moon no more
For the same end as before—
Videlicet a tent—
Which I think extravagant:
Its atomies, however,
Into a shower dis sever,
Of which those butterflies,
Of Earth, who seek the skies,
And so come down again
(Never-contented things!)
Have brought a specimen
Upon their quivering wings.

(1829, 1845)

19. TO HELEN

Helen, thy beauty is to me
Like those Nicéan barks of yore,
That gently, o'er a perfumed sea,
The weary, way-worn wanderer bore
To his own native shore.

На крыши домов, на доли,
Где сон разлился тяжелый,
Где духи крылатые спят:
Они с головы до пят
Облиты сиянием чистым,
Как будто в крипте лучистом
Уснули — навек — навек —
О сладость смеженных век!
Но лунное покрывало
Уносится ввысь к утру,
По воле случайного шквала,
Похожее на ветру
На нечто, летящее косо, —
На желтого альбатроса.
Назавтра другая луна
В дело пойти должна
(Что экономно едва ли), —
О солнечном покрывале
Уже мечтает Земля,
А прежнее — лунное — тает,
Лишь бабочки, что летают
В заоблачные поля
Под градом крупиц блестящих,
Приносят нам образцы
Заветной лунной пылицы
На крылышках шелестящих.

(1988)

Перевод Р. Дубровкина

19. К ЕЛЕНЕ

Елена, красота твоя,
Как челн никейский, легкокрыла,
К морям благоуханным я
Плыву в отцовские края! —
Ты древность для меня открыла.

On desperate seas long wont to roam,
 Thy hyacinth hair, thy classic face,
 Thy Naiad airs have brought me home
 To the glory that was Greece,
 And the grandeur that was Rome.

Lo! in yon brilliant window-niche
 How statue-like I see thee stand,
 The agate lamp within thy hand!
 Ah, Psyche, from the regions which
 Are Holy-Land!

(1831-1845)

20. ISRAFEL

And the angel Israfel whose heart-strings are a lute, who has the sweetest voice of all God's creatures.

—*Koran*

In Heaven a spirit doth dwell
 "Whose heart-strings are a lute;"
 None sing so wildly well
 As the angel Israfel,
 And the giddy stars (so legends tell)
 Ceasing their hymns, attend the spell
 Of his voice, all mute.

Tottering above
 In her highest noon,
 The enamoured moon
 Blushes with love,
 While, to listen, the red levin
 (With the rapid Pleiads, even,
 Which were seven,)
 Pauses in Heaven.

Твои античные черты
С игривой прелестью наяды
Для нас классически чисты:
К величию Рима и Эллады
Скитальца возвращаешь ты.

Тебя я вижу в блеске окон
С лампадой в мраморной руке,
И гиацинтовый твой локон
Созвучен певческой тоске
О райском далеке.

(1988)

Перевод Р. Дубровкина

20. ИЗРАФИЛ

...И ангел Израфил с лютней-сердцем
и с голосом изо всех славящих Аллаха
наисладчайшим.

Коран

Пребывает ангел в высях
«С лютней-сердцем». Се — Израфил.
У него на устах
И в его перстах —
Песнь, настолько прекрасная, что в небесах
Гимны звезд замирают, ликование в мирах,
Чуть Певец возгласил.

И, взойдя в зенит,
Полная луна
Пеньем прельщена —
Блаженное, звенит,
Переливаются рулады, —
И встают Плеяды,
Рдея, — божьи чада,
Семь из мириады.

And they say (the starry choir
 And the other listening things)
That Israfeli's fire
Is owing to that lyre
 By which he sits and sings—
The trembling living wire
 Of those unusual strings.

But the skies that angel trod,
 Where deep thoughts are a duty—
Where Love's a grown-up God—
 Where the Houri glances are
Imbued with all the beauty
 Which we worship in a star.

Therefore, thou art not wrong,
 Israfeli, who despisest
An unimpassioned song;
To thee the laurels belong,
 Best bard, because the wisest!
Merrily live, and long!

The ecstasies above
 With thy burning measures suit—
Thy grief, thy joy, thy hate, thy love,
 With the fervour of thy lute—
Well may the stars be mute!

Yes, Heaven is thine; but this
 Is a world of sweets and sour;
 Our flowers are merely—flowers,
And the shadow of thy perfect bliss
 Is the sunshine of ours.

If I could dwell
Where Israfel
 Hath dwelt, and he where I,
He might not sing so wildly well

И молвит звездный хор,
И вторит голос лун,
И зрит небесный взор:
Певец персты простер
Над Лирой, вечно юн,—
И вспыхнул метеор
Напева стройных струн!

Там Израфил поет,
Где мудрость воскрылила,
Где бог в любви живет,
Где гурий красота
Сиянием светила
Над миром разлита.

Божественный Певец!
Ты прав, отринув холод
Бесчувственных сердец.
Тебе вручен венец!
Ты чист и вечно молод!
Ты победил, мудрец!

Плачь, смейся, пламеней!
Пройди надмирным лазом
Сквозь лабиринт страстей
Туда, где правит Разум,—
Охваченный экстазом!

Ты—светоч неземной,
А мы, увы, земляне—
Обречены заране
На смерть. Наш блеск дневной—
Тень твоего сиянья.

И все же, Израфил,
Когда б Аллах судил
Тебе—петь людям, мне—взмыть в космос твой,
Ты б, ангел, счастьем не затмил

A mortal melody,
 While a bolder note than this might swell
 From my lyre within the sky.

(1831-1845)

21. THE SLEEPER

At midnight, in the month of June,
 I stand beneath the mystic moon.
 An opiate vapour, dewy, dim,
 Exhales from out her golden rim,
 And, softly dripping, drop by drop,
 Upon the quiet mountain top,
 Steals drowsily and musically
 Into the universal valley.
 The rosemary nods upon the grave;
 The lily lolls upon the wave;
 Wrapping the fog about its breast,
 The ruin moulders into rest;
 Looking like Lethë, see! the lake
 A conscious slumber seems to take,
 And would not, for the world, awake.
 All Beauty sleeps!—and lo! where lies
 Irenë, with her Destinies!

Oh, lady bright! can it be right—
 This window open to the night?
 The wanton airs, from the tree-top,
 Laughingly through the lattice drop—
 The bodiless airs, a wizard rout,
 Flit through thy chamber in and out,
 And wave the curtain canopy
 So fitfully—so fearfully—
 Above the closed and fringed lid
 'Neath which thy slumb'ring soul lies hid,

Певца тоски земной,
А мне б — достало дерзких сил
Звенеть небесною струной.

(1976)

Перевод В. Топорова

21. СПЯЩАЯ

В июне в темный час ночной
Я под таинственной луной,
Чей золотистый ореол
На тихий холм и смутный дол
За каплей каплю в каплях рос
Дурманящий туман принес, —
И он ползет к долине вечной,
И мелодический, и млечный.
В волне белеет неньюфар,
К воде припал белесый пар,
К могиле никнет розмарин,
Спит разрушенье меж руин,
Подобный Лете сонный пруд
Не разорвет дремотных пут —
Вся Красота уснула тут.
И спит Ирен. Глади! — она
Среди Судеб своих одна.

Любовь моя! Не верю я!
Оконце твоего жилья
Распахнуто в ночную тьму,
И ветерки летят к нему,
И чередой волшебных фей
По спальне носятся твоей —
И полог рукоплещет им,
И невесомым и сквозным.
За темной бахромой ресниц
Сокрыт покой твоих зениц,

That, o'er the floor and down the wall,
Like ghosts the shadows rise and fall!
Oh, lady dear, hast thou no fear?
Why and what art thou dreaming here?
Sure thou art come o'er far-off seas,
A wonder to these garden trees!
Strange is thy pallor! strange thy dress!
Strange, above all, thy length of tress,
And this all solemn silentness!

The lady sleeps! Oh, may her sleep,
Which is enduring, so be deep!
Heaven have her in its sacred keep!
This chamber changed for one more holy,
This bed for one more melancholy,
I pray to God that she may lie
Forever with unopened eye,
While the pale sheeted ghosts go by!

My love, she sleeps! Oh, may her sleep,
As it is lasting, so be deep!
Soft may the worms about her creep!
Far in the forest, dim and old,
For her may some tall vault unfold—
Some vault that oft hath flung its black
And wingéd pannels fluttering back,
Triumphant, o'er the crested palls,
Of her grand family funerals—
Some sepulchre, remote, alone,
Against whose portal she hath thrown,
In childhood, many an idle stone—
Some tomb from out whose sounding door
She ne'er shall force an echo more,
Thrilling to think, poor child of sin!
It was the dead who groaned within.

(1831-1845)

А по полу и вдоль стены
Тревожны тени и темны!
Ты здесь впотьмах, а рядом страх!
Куда стремишься ты во снах?
К каким морям и островам?
Твой облик странен деревьям—
Все странно. Странно ты бледна,
Странна волос твоих длина
И выпрениия тишина.

Спит леди! Пусть покойно спит,
Пусть небо спящую хранит!
И сновиденья вечно длит
На ложе, прежнего печальней,
В иной и столь священной спальней!
Господь, продли ей сон вовек,
Не дай открыть смеженных век,
Умерь ночных видений бег!

Пусть вечно спит! Покойно спит!
Пусть небо спящую хранит!
Пусть червь—могильный труд творит!
Пусть отворит туманный бор
Семейный склеп, где с давних пор
Покой таинственных могил
Лишь трепетно тревожим был,
Когда фамильные гроба
Печально множила судьба;
Таинствен склеп, как в те года,
Когда она—дитя тогда—
Бросала камешки туда.
Но в этот раз из гулких врат
Пусть эхо не звучит трикрат,
Вселяя давний детский страх,
Что это стонет смерть в гробах.

(1972)

Перевод А. Эппеля

22. THE VALLEY OF UNREST

Once it smiled a silent dell
Where the people did not dwell;
They had gone unto the wars,
Trusting to the mild-eyed stars,
Nightly, from their azure towers,
To keep watch above the flowers,
In the midst of which all day
The red sun-light lazily lay.
Now each visitor shall confess
The sad valley's restlessness.
Nothing there is motionless.
Nothing save the airs that brood
Over the magic solitude.
Ah, by no wind are stirred those trees
That palpitate like the chill seas
Around the misty Hebrides!
Ah, by no wind those clouds are driven
That rustle through the unquiet Heaven
Uneasily, from morn till even,
Over the violets there that lie
In myriad types of the human eye—
Over the lilies there that wave
And weep above a nameless grave!
They wave:—from out their fragrant tops
Eternal dews come down in drops.
They weep:—from off their delicate stems
Perennial tears descend in gems.

(1831-1845)

22. ДОЛИНА ТРЕВОГИ

Тихий край когда-то был,
Где давно никто не жил,—
Все пропали на войне;
Только звезды в вышине
Зажигались в поздний час,
И дозор их нежных глаз
Охранял с лазурных круч
Там цветы; и солнца луч
В душных травах целый день
Нежил сладостную лень.
Но теперь исчез и след
Безмятежных тех примет —
В том краю покоя нет! —
Один лишь воздух, недвижим,
Словно во сне, застыл над ним.
Нет, то не ветер, пролетев,
Тревожит голоса деревьев,
Шумящих, как студень вал,
Вокруг пустынных скал!
Нет, и не ветер то влечет
Шуршащих облаков полет,
Неутомимый, непрестанный!..
А степь фиалками полна,
И плачет лилия одна
Там над могилой безымянной!
И плачет вечно, с лепестка
Роня капель жемчуга.
И жжет слеза, на стебли трав
Росой бессмертную упав.

(1972)

Перевод Г. Кружкова

23. THE CITY IN THE SEA

Lo! Death has reared himself a throne
In a strange city lying alone
Far down within the dim West,
Where the good and the bad and the worst and the best
Have gone to their eternal rest.
There shrines and palaces and towers
(Time-eaten towers that tremble not!)
Resemble nothing that is ours.
Around, by lifting winds forgot,
Resignedly beneath the sky
The melancholy waters lie.

No rays from the holy heaven come down
On the long night-time of that town;
But light from out the lurid sea
Streams up the turrets silently—
Gleams up the pinnacles far and free
Up domes—up spires—up kingly halls—
Up fanes—up Babylon-like walls—
Up shadowy long-forgotten bowers
Of sculptured ivy and stone flowers—
Up many and many a marvellous shrine
Whose wreathed friezes intertwine
The viol, the violet, and the vine.

Resignedly beneath the sky
The melancholy waters lie.
So blend the turrets and shadows there
That all seem pendulous in air,
While from a proud tower in the town
Death looks gigantically down.

There open fanes and gaping graves
Yawn level with the luminous waves;
But not the riches there that lie
In each idol's diamond eye—

23. ГОРОД СРЕДИ МОРЯ

Там, на закате, в тьме туманной
Я вижу, вижу город странный,
Где Смерть чертог воздвигла свой,
Где грешный и праведный, добрый и злой
Равно навек нашли покой.
Храм, замок, башня ль (обветшала,
А не кренится)—с нашим там
Ничто не сходствует нимало.
Чужда вскипающим ветрам,
Покорна, сумрачно-светла,
Морская гладь вокруг легла.

С небес не упадут лучи
На город тот в его ночи.
Но снизу медленно струится
Глубинный свет из мертвых вод —
Вдруг тихо озарит бойницы
Витающие... купол... шпицы...
Колонны царственных палат
Или беседки свод забытый,
Каменным плющом увитый...
И святилища — храмов бесчисленный ряд,
Чьи фризы лепные в узоре хранят
Фиал, фиалку, виноград.

Покорна, сумрачно-светла,
Морская гладь вокруг легла.
Так тени с куполом слились,
Что тот как в воздухе повис.
Но башня высится, пряма,
А с башни смотрит Смерть сама!

Раскрыты капища. Могилы
Разверсты вровень с гладью стылой.
Но воды спят — и ни алмаз,
Кумиру заменивший глаз,

Not the gaily-jewelled dead
Tempt the waters from their bed;
For no ripples curl, alas!
Along that wilderness of glass—
No swellings tell that winds may be
Upon some far-off happier sea—
No heavings hint that winds have been
On seas less hideously serene.

But lo, a stir is in the air!
The wave—there is a movement there!
As if the towers had thrust aside,
In slightly sinking, the dull tide—
As if their tops had feebly given
A void within the filmy Heaven.
The waves have now a redder glow—
The hours are breathing faint and low—
And when, amid no earthly moans,
Down, down that town shall settle hence,
Hell, rising from a thousand thrones,
Shall do it reverence.

(1831-1845)

24. TO ONE IN PARADISE

Thou wast that all to me, love,
For which my soul did pine—
A green isle in the sea, love,
A fountain and a shrine,
All wreathed with fairy fruits and flowers,
And all the flowers were mine.

Ah, dream too bright to last!
Ah, starry Hope! that didst arise

Ни жемчуг саванов расшитых
С ложа встать не соблазнит их.
И не встревожит дрожью синей
Зыбь стеклянную пустыню,
Не подаст о ветре весть,
О том, что где-то ветер есть —
Желанный гость далеких вод...
А эти ветер обойдет
В их мертвой ясности и стыни.

Чу! Воздух вдруг затосковал,
А гладь — ее колышет вал!
Осела башня ли — и вялый
Прибой расползся по воде?
Чуть покачнулись в высоте,
Оставив в облаках провалы?
Багровым светом налилась
Волна... Медленней дышит час...
Когда на дно, на дно — без вскрика,
Без стога — город весь уйдет,
Восстанет ад тысячелик
Ему воздать почет.

(1972)

Перевод Н. Вольпин

24. ТОЙ, КОТОРАЯ В РАЮ

В твоём я видел взоре,
К чему летел мечтой,—
Зелёный остров в море,
Ручей, алтарь святой
В плодах волшебных и цветах —
И любой цветок был мой.

Конец мечтам моим!
Мой нежный сон, милей всех снов,

But to be overcast!

A voice from out the Future cries,
 "On! on!"—but o'er the Past
 (Dim gulf!) my spirit hovering lies
 Mute, motionless, aghast!

For, alas! alas! with me

The light of Life is o'er!
 No more—no more—no more—
 (Such language holds the solemn sea
 To the sands upon the shore)
 Shall bloom the thunder-blasted tree,
 Or the stricken eagle soar!

And all my days are trances,

And all my nightly dreams
 Are where thy grey eye glances,
 And where thy footstep gleams—
 In what ethereal dances,
 By what Italian streams.

Alas! for that accursed time

They bore thee o'er the billow
 From me—to titled age and crime
 And an unholy pillow—
 From Love and from our misty clime
 Where weeps the silver willow.

(1833-1849)

25. HYMN

At morn—at noon—at twilight dim—
 Maria! thou hast heard my hymn!
 In joy and wo—in good and ill—
 Mother of God, be with me still!

Растаял ты, как дым!
Мне слышен Будущего зов:
«Вперед!» — но над Былым
Мой дух простерт, без чувств, без слов,
Подавлен, недвижим!

Вновь не зажжется надо мной
Любви моей звезда.
«Нет, никогда — нет, никогда»
(Так дюнам говорит прибой)
Не взмоет ввысь орел больной,
И ветвь, разбитая грозой,
Вовек не даст плода!

Мне сны дарят отраду,
Мечта меня влечет
К пленительному взгляду,
В эфирный хоровод,
Где вечно льет прохладу
Плеск италийских вод.

И я живу, тот час кляня,
Когда прибой бурливый
Тебя отторгнул от меня
Для ласки нечестивой —
Из края, где, главу клоня,
Дрожат и плачут ивы.

(1958)

Перевод В. Рогова

25. ГИМН

В полдень и полночь, сквозь тьму и мглу,
Мария, прими от меня хвалу.
В горе и счастье жизни земной,
О богоматерь, пребудь со мной.

When the Hours flew brightly by,
And not a cloud obscured the sky,
My soul, lest it should truant be,
Thy grace did guide to thine and thee;
Now, when storms of Fate o'ercast
Darkly my Present and my Past,
Let my Future radiant shine
With sweet hopes of thee and thine!

(1833-1849)

26. SERENADE

So sweet the hour—so calm the time,
I feel it more than half a crime
When Nature sleeps and stars are mute,
To mar the silence ev'n with lute.
At rest on ocean's brilliant dies
An image of Elysium lies:
Seven Pleiades entranced in Heaven
Form in the deep another seven:
Endymion nodding from above
Sees in the sea a second love:
Within the valleys dim and brown,
And on the spectral mountain's crown
The wearied light is lying down:
And earth, and stars, and sea, and sky
Are redolent of sleep, as I
Am redolent of thee and thine
Enthralling love, my Adeline.
But list, O list!—so soft and low
Thy lover's voice tonight shall flow
That, scarce awake, thy soul shall deem
My words the music of a dream.
Thus, while no single sound too rude,
Upon thy slumber shall intrude,

Когда моя жизнь текла без забот
И ясен и светел был небосвод,
От лености и суеты людской
Спасла ты мне душу своей рукой.
Теперь, когда бури грозная тень
Мрачит мой былой и нынешний день,
Даруй мне свет для грядущих дней,
Даруй надежду рукой своей.

(1976)

Перевод А. Щербакова

26. СЕРЕНАДА

Так ночь тиха, так сладок сон,
Что даже струн нескромен звон —
Он нарушает тишину,
Весь мир склонившую ко сну.
На моря жемчуг и опал
Элизиума блеск упал;
Спят звезды, только семь Плеяд,
Ни в небе, ни в волнах не спят;
Пленительный Эндимион
В любви, любуясь, отражен.
Покой и мрак в лесах и долах,
Спят горы в тихих ореолах.
Едва блеснул последний сполох, —
Земля и звезды забывать
Возжаждали, как жажду я
Тебя, любви твоей невинной
И состраданья, Аделина.
О! Слушай, вслушайся, услышь:
Не так нежна ночная тишь,
Как эти нежные слова,
Что лаской сна сочтешь сперва.
И вот, пока я не дерзну
Задеть призывную струну,

Our thoughts, our souls—O God above!
In every deed shall mingle, love.

(1833)

27. THE COLISEUM

Type of the antique Rome! Rich reliquary
Of lofty contemplation left to Time
By buried centuries of pomp and power!
At length—at length—after so many days
Of weary pilgrimage and burning thirst,
(Thirst for the springs of lore that in thee lie,)
I kneel, an altered and an humble man,
Amid thy shadows, and so drink within
My very soul thy grandeur, gloom, and glory!

Vastness! and Age! and Memories of Eld!
Silence! and Desolation! and dim Night!
I feel ye now—I feel ye in your strength—
O spells more sure than e'er Judæan king
Taught in the gardens of Gethsemane!
O charms more potent than the rapt Chaldee
Ever drew down from out the quiet stars!

Here, where a hero fell, a column falls!
Here, where the mimic eagle glared in gold,
A midnight vigil holds the swarthy bat!
Here, where the dames of Rome their gilded hair
Waved to the wind, now wave the reed and thistle!
Here, where on golden throne the monarch lolled,
Glides, spectre-like, unto his marble home,
Lit by the wan light of the hornéd moon,
The swift and silent lizard of the stones!

Сердца и думы воедино
Пребудут слиты, Аделина.

(1976)

Перевод В. Топорова

27. КОЛИЗЕЙ

Примета Рима! Пышная гробница!
Здесь Время замирает, созерцая
Помпезность повелительного праха!
Паломником смиренным прихожу
На твой порог и, одержимый жаждой
(Палящей жаждой наконец припасть
К истоку мудрости), в конце пути,
Колени преклоняю, пораженный,—
Душой впиваю сумрак твой и славу!

Громада памяти тысячелетней!
И Ночь, и Тишина, и Запустенье!
О чары величавей колдовства,
Добытого у звезд халдейским магом!
О чары очистительней молитвы,
Которой некий иудейский царь
Будил когда-то Гефсиманский Сад!

Где прежде был повержен гладиатор,
Повержена колонна, где блистал
Орел легионеров золотой,
Идет вигилия мышей летучих,
И пыльный шелестит чертополох,
Где волосы вились патрицианок.
Где восседал на троне император,
По камню ящерица, точно тень,
Под месяцем скользнула круторогим.

But stay! these walls—these ivy-clad arcades—
 These mouldering plinths—these sad and blackened shafts—
 These vague entablatures—this crumbling frieze—
 These shattered cornices—this wreck—this ruin—
 These stones—alas! these gray stones—are they all—
 All of the famed, and the colossal left
 By the corrosive Hours to Fate and me?

“Not all”—the Echoes answer me—“not all!
 “Prophetic sounds and loud, arise forever
 “From us, and from all Ruin, unto the wise,
 “As melody from Memnon to the Sun.
 “We rule the hearts of mightiest men—we rule
 “With a despotic sway all giant minds.
 “We are not impotent—we pallid stones.
 “Not all our power is gone—not all our fame—
 “Not all the magic of our high renown—
 “Not all the wonder that encircles us—
 “Not all the mysteries that in us lie—
 “Not all the memories that hang upon
 “And cling around about us as a garment,
 “Clothing us in a robe of more than glory.”

(1833-1843)

28. TO F—S S. O—D

Thou wouldst be loved?—then let thy heart
 From its present pathway part not!
 Being everything which now thou art,
 Be nothing which thou art not.
 So with the world thy gentle ways,
 Thy grace, thy more than beauty,
 Shall be an endless theme of praise,
 And love—a simple duty.

(1833?-1845)

Постой, но разве эта колоннада,
Изъеденная временем и ветром,—
Куски карнизов, фризов, капителей,
Заросшие плющом аркады, камни—
Да, камни, серые, простые камни!—
Единственное, что осталось мне
От грозного и гордого колосса?

«Единственное? Нет!— рокочет эхо,—
Рождаются в груди любой Руины
Пророческие звуки,— так Зарю
Приветствует сладкоголосый Мемнон!
Мы правим неотступно, деспотично
Великими, могучими умами,
Мы не бессильны— мы не просто камни:
Не иссякает наша мощь и чары,
Не иссякает магия обломков,
Не иссякает чудо наших линий,
Не иссякает тайна наших недр,
Не иссякает память, что по-царски
Нас облекла— не в пурпур, не в порфиру,
А в нечто большее, чем просто Слава!»

(1988)

Перевод Р. Дубровкина

28. К Ф— С О— Д

Коль хочешь ты любовь внушать,
Иди и впредь путем своим,
Всегда собою будь и стать
Не тщись вовек ничем иным.

Ты так чиста, так мил твой взор,
Краса так богоравна,
Что не хвалить тебя— позор,
А не любить— подавно.

(1976) *Перевод Ю. Корнеева*

29. TO F——

Beloved! amid the earnest woes
 That crowd around my earthly path—
 (Drear path, alas! where grows
 Not even one lonely rose)—
 My soul at least a solace hath
 In dreams of thee, and therein knows
 An Eden of bland repose.

And thus thy memory is to me
 Like some enchanted far-off isle
 In some tumultuous sea—
 Some ocean throbbing far and free
 With storms—but where meanwhile
 Serenest skies continually
 Just o'er that one bright island smile.

(1835-1845)

30. BRIDAL BALLAD

The ring is on my hand,
 And the wreath is on my brow;
 Satins and jewels grand
 Are all at my command,
 And I am happy now.

And my lord he loves me well;
 But, when first he breathed his vow,
 I felt my bosom swell—
 For the words rang as a knell,
 And the voice seemed *his* who fell
 In the battle down the dell,
 And who is happy now.

29. К Ф ***

Любимая! Средь бурь и гроз,
Слепящих тьмой мой путь земной
(Бурьяном мрачный путь зарос,
Не видно там прекрасных роз),
Душевный нахожу покой,
Эдем среди блаженных грез,
Грез о тебе и светлых слез.

Мысль о тебе в уме моем —
Обетованный островок
В бурлящем море штормовом...
Бушует океан кругом,
Но, безмятежен и высок,
Простор небес над островком
Голубизной бездонной лег.

(1976)

Перевод Б. Томашевского

30. ПОДВЕНЕЧНАЯ БАЛЛАДА

Скреплен союз кольцом,
Порукою согласия,
И с новым женихом
Стоим мы под венцом,
Но обрела ль я счастье?

Супруг обет мне дал,
Но голос, что от страсти
У бедного дрожал,
В моих ушах звучал,
Как стон того, кто пал
В бою у чуждых скал,
Обречь мечтая счастье.

But he spoke to re-assure me,
 And he kissed my pallid brow,
 While a reverie came o'er me,
 And to the church-yard bore me,
 And I sighed to him before me,
 (Thinking him dead D'Elormie,)
 "Oh, I am happy now!"

And thus the words were spoken;
 And this the plighted vow;
 And, though my faith be broken,
 And, though my heart be broken,
 Here is a ring, as token
 That I am happy now!—
 Behold the golden token
 That *proves* me happy now!

Would God I could awaken!
 For I dream I know not how,
 And my soul is sorely shaken
 Lest an evil step be taken,—
 Lest the dead who is forsaken
 May not be happy now.

(1836-1849)

31. TO ZANTE

Fair isle, that from the fairest of all flowers,
 Thy gentlest of all gentle names dost take!
 How many memories of what radiant hours
 At sight of thee and thine at once awake!
 How many scenes of what departed bliss!
 How many thoughts of what entombéd hopes!
 How many visions of a maiden that is
 No more—no more upon thy verdant slopes!

Муж ласков был со мной,
Но сердцем унеслась я
К могиле дорогой
И, воскресив мечтой
Тебя, Делорми мой,
Шепнула вдруг: «Постой!
Вновь обрела я счастье!»

Да, я сказала так,
И хоть вся жизнь — ненастье,
Хоть впереди лишь мрак,
Сочтет отныне всяк,
Что люб мне этот брак,
Коль в верности клялась я:
Кольцо — ведь это знак,
Что обрела я счастье.

Пусть душу исцелит
Мне бог от безучастья,
Иль зло она свершит:
Ведь тот, кто был убит
И милою забыт,
Обрести не может счастья.

(1976)

Перевод Ю. Корнеева

31. СОНЕТ К ОСТРОВУ ЗАНТЕ

Нежнейшее из наименований

Взял у цветка ты, полного красы!
О, сколько ты родишь воспоминаний
Про дивно лучезарные часы!
О, встречи полные блаженства, где вы,
Где погребенных упований рой?
Вовек не встретить мне усопшей девы,—
Вовек,— всходя на склон зеленый твой!

No more! alas, that magical sad sound
 Transforming all! Thy charms shall please *no more*—
 Thy memory *no more!* Accurséd ground
 Henceforth I hold thy flower-enamelled shore,
 O hyacinthine isle! O purple Zante!
 “Isola d’oro! Fior di Levante!”

(1836)

32. THE HAUNTED PALACE

In the greenest of our valleys
 By good angels tenanted,
 Once a fair and stately palace—
 Radiant palace—reared its head.
 In the monarch Thought’s dominion—
 It stood there!
 Never seraph spread a pinion
 Over fabric half so fair!

Banners yellow, glorious, golden,
 On its roof did float and flow—
 (This—all this—was in the olden
 Time long ago)
 And every gentle air that dallied,
 In that sweet day,
 Along the ramparts plumed and pallid,
 A wingéd odor went away.

Wanderers in that happy valley,
 Through two luminous windows, saw
 Spirits moving musically,
 To a lute’s well-tunéd law,
 Round about a throne where, sitting,
 Porphyrogene,
 In state his glory well befitting
 The ruler of the realm was seen.

Вовек! волшебный звук, звеня тоскою,
Меняет все! Твоя краса вовек
Не очарует! Проклятой землю
Отныне числю твой цветущий брег,
О гиацинтов край! Пурпурный Занте!
Isola d'oro! Fior di Levante!

(1972)

Перевод В. Рогова

32. ПРИЗРАЧНЫЙ ЗАМОК

Божьих ангелов обитель,
Цвел в горах зеленый дол,
Где Разум, края повелитель,
Сияющий дворец возвел.
И ничего прекрасней в мире
Крылом своим
Не осенял, плывя в эфире
Над землю, серафим.

Гордо реяло над башней
Желтых флагов полотно
(Было то не в день вчерашний,
А давным-давно).
Если ветер, гость крылатый,
Пролетал над валом вдруг,
Сладостные ароматы
Он струил вокруг.

Вечерами видел путник,
Направляя к окнам взоры,
Как под мерный рокот лютни
Мерно кружатся танцоры,
Мимо трона проносясь;
Государь порфирородный,
На танец смотрит с трона князь
С улыбкой властной и холодной.

And all with pearl and ruby glowing
 Was the fair palace door,
 Through which came flowing, flowing, flowing,
 And sparkling evermore,
 A troop of Echoes whose sweet duty
 Was but to sing,
 In voices of surpassing beauty,
 The wit and wisdom of their king.

But evil things, in robes of sorrow,
 Assailed the monarch's high estate.
 (Ah, let us mourn!—for never morrow
 Shall dawn upon him, desolate!)
 And round about his home the glory
 That blushed and bloomed,
 Is but a dim-remembered story
 Of the old-time entombed.

And travellers, now, within that valley,
 Through the encrimsoned windows see
 Vast forms that move fantastically
 To a discordant melody,
 While, like a ghastly rapid river,
 Through the pale door
 A hideous throng rush out forever
 And laugh—but smile no more.

(1838-1848)

33. SONNET—SILENCE

There are some qualities—some incorporate things,
 That have a double life, which thus is made
 A type of that twin entity which springs
 From matter and light, evinced in solid and shade.
 There is a two-fold *Silence*—sea and shore—

А дверь!.. Рубины, аметисты
По золоту сплели узор —
И той же россыпью искристой
Хвалебный разливался хор;
И пробегали отголоски
Во все концы долины,
В немолчном слава переплеске
И ум и гений властелина.

Но духи зла, черны как ворон,
Вошли в чертог —
И свержен князь (с тех пор он
Встречать зарю не мог).
А прежнее великолепье
Осталось для страны
Преданием почившей в склепе
Неповторимой старины.

Бывает, странник зрит воочью,
Как зажигается багрянец
В окне — и кто-то пляшет ночью
Чуждый музыке дикий танец.
И рой теней, глумливый рой,
Из тусклой двери рвется — зыбкой,
Призрачной рекой,
И слышен смех — смех без улыбки.

(1976)

Перевод Н. Вольпин

33. МОЛЧАНИЕ

Есть свойства — существа без воплощенья,
С двойною жизнью: видимый их лик —
В той сущности двоякой, чей родник —
Свет в веществе, предмет и отраженье.
Двойное есть *Молчанье* в наших днях,

Body and Soul. One dwells in lonely places,
 Newly with grass o'ergrown; some solemn graces,
 Some human memories and tearful lore,
 Render him terrorless: his name's "No more."
 He is the corporate Silence: dread him not!
 No power hath he of evil in himself;
 But should some urgent fate (untimely lot!)
 Bring thee to meet his shadow (nameless elf,
 That haunteth the lone regions where hath trod
 No foot of man), commend thyself to God!

(1839-1845)

34. THE CONQUEROR WORM

Lo! 'tis a gala night
 Within the lonesome latter years!
 An angel throng, bewinged, bedight
 In veils, and drowned in tears,
 Sit in a theatre, to see
 A play of hopes and fears,
 While the orchestra breathes fitfully
 The music of the spheres.

Mimes, in the form of God on high,
 Mutter and mumble low,
 And hither and thither fly—
 Mere puppets they, who come and go
 At bidding of vast formless things
 That shift the scenery to and fro,
 Flapping from out their Condor wings
 Invisible Wo!

Душа и тело — берега и море.
Одно живет в заброшенных местах,
Вчера травой поросших; в ясном взоре,
Глубоком, как прозрачная вода,
Оно хранит печаль воспоминанья,
Среди рыданий найденное знание;
Его название: «Больше Никогда».
Не бойся воплощенного Молчанья,
Ни для кого не скрыто в нем вреда.
Но если ты с его столкнешься тенью
(Эльф безымянный, что живет всегда
Там, где людского не было следа),
Тогда молись, ты обречен мученью!

(1895)

Перевод К. Бальмонта

34. ЧЕРВЬ-ПОБЕДИТЕЛЬ

Смотри: спектакль богат
Порой унылых поздних лет!
Сонм небожителей крылат,
В покровы тьмы одет,
Повергнут в слезы и скорбит
Над пьесой грез и бед,
А музыка сфер надрывно звучит —
В оркестре лада нет.

На бога мим любой похож;
Они проходят без следа,
Бормочут, впадают в дрожь —
Марионеток череда,
Покорна Неким, чей синклит
Декорации движет туда-сюда,
А с их кондоровых крыл летит
Незримо Беда!

That motley drama—oh, be sure
 It shall not be forgot!
 With its Phantom chased for evermore,
 By a crowd that seize it not,
 Through a circle that ever returneth in
 To the self-same spot,
 And much of Madness, and more of Sin,
 And Horror the soul of the plot.

But see, amid the mimic rout
 A crawling shape intrude!
 A blood-red thing that writhes from out
 The scenic solitude!
 It writhes!—it writhes!—with mortal pangs
 The mimes become its food,
 And seraphs sob at vermin fangs
 In human gore imbued.

Out—out are the lights—out all!
 And, over each quivering form,
 The curtain, a funeral pall,
 Comes down with the rush of a storm,
 While the angels, all pallid and wan,
 Uprising, unveiling, affirm
 That the play is the tragedy, “Man,”
 And its hero the Conqueror Worm.

(1842-1849)

35. LENORE

Ah, broken is the golden bowl!—the spirit flown forever!
 Let the bell toll!—a saintly soul floats on the Stygian river:—
 And, Guy De Vere, hast *thou* no tear?—weep now or never
 more!

О, балаганной драмы вздор
Забыв не будет, нет!
Вотще стремится пестрый хор
За Призраком вослед,—
И каждый по кругу бежать готов,
Продолжая бред;
В пьесе много Безумья, больше Грехов,
И Страх направляет сюжет!

Но вот комедиантов сброд
Замолк, оцепенев:
То тварь багровая ползет,
Вмиг оборвав напев!
Ползет! Ползет! Последний мим
Попал в разверстый зев,
И плачет каждый серафим,
Клыки в крови узрев.

Свет гаснет — гаснет — погас!
И все покрывается тьмой,
И с громом завеса тотчас
Опустилась — покров гробовой...
И, вставая, смятенно изрек
Бледнеющих ангелов рой,
Что трагедия шла — «Человек»,
В ней же Червь-победитель — герой.

(1970)

Перевод В. Рогова

35. ЛИНОР

Разбит, разбит золотой сосуд! Пльви, похоронный звон!
Угаснет день, и милая тень уйдет за Ахерон.
Плачь, Гай де Вир, иль, горд и сир, ты сладость слез

отверг?

Линор в гробу, и божий мир для наших глаз померк.
Так пусть творят святой обряд, панихиду поют для той,
Для царственной, что умерла такою молодой,
Что в гроб легла вдвойне мертва, когда умерла молодой!

«Не гордость — золото ее вы чтили благоговейно,
Больную вы ее на смерть благословили елейно!
Кто будет реквием читать, творить обряд святой —
Не вы ль? не ваш ли глаз дурной, язык фальшивый, злой,
Безвинную и юную казнивший клеветой?»

Ressavimus; но ты смирись, невесту отпеть позволь,
Дай вознестись молитвам ввысь, ее утоляя боль.
Она преставилась, тиха, исполненная мира,
Оставив в скорби жениха, оставив Гай де Вира
Безвременно погибшую оплакивать Линор,
Глядеть в огонь этих желтых кос и в этот мертвый взор —
В живой костер косы Линор, в угасший, мертвый взор.

«Довольно! В сердце скорби нет! Панихиду служить
не стану —

Новому ангелу вослед я вознесу осанну.
Молчи же, колокол, не мрачи простой души веселье
В ее полете в земной ночи на светлое новоселье:
Из вражьего стана гневный дух восхищен и взят сегодня
Ввысь, под охрану святых подруг, — из мрака преисподней
В райские рощи, в ангельский круг у самого трона
господня».

(1972)

Перевод Н. Вольпин

36. DREAM-LAND

By a route obscure and lonely,
Haunted by ill angels only,
Where an Eidolon, named Night,
On a black throne reigns upright,
 I have reached these lands but newly
 From an ultimate dim Thule—
From a wild weird clime that lieth, sublime,
 Out of Space—out of Time.

Bottomless vales and boundless floods,
And chasms, and caves, and Titan woods,
With forms that no man can discover
For the dews that drip all over;
Mountains toppling evermore
Into seas without a shore;
Seas that restlessly aspire,
Surging, unto skies of fire;
Lakes that endlessly outspread
Their lone waters—lone and dead,—
Their still waters—still and chilly
With the snows of the lolling lily.

By the lakes that thus outspread
Their lone waters, lone and dead,—
Their sad waters, sad and chilly
With the snows of the lolling lily,—
By the mountains—near the river
Murmuring lowly, murmuring ever,—

36. СТРАНА СНОВИДЕНИЙ

Вот за демонами следом,
Тем путем, что им лишь ведом,
Где, воссев на черный трон,
Идол Ночь вершит закон,—
Я прибрел сюда бесцельно
С некой Фулы запредельной,—
За кру́гом земель, за хором планет,
Где ни мрак, ни свет и где времени нет.

Пещеры. Бездна. Океаны
Без берегов. Леса-титаны,
Где кто-то, росной мглой укрыт,
Сам незрим, на вас глядит.
Горы рушатся, безгласны,
В глубину морей всечасно.
К небу взносятся моря,
В его огне огнем горя.
Даль озер легла, простерта
В бесконечность гладью мертвой,
Над которою застыли
Снежным платом сонмы лилий.

По озерам, что простерты
В бесконечность гладью мертвой,
Где поникшие застыли
В сонном хладе сонмы лилий...
По реке, струящей вдаль
Свой вечный ропот и печаль...

By the grey woods,—by the swamp
Where the toad and the newt encamp,—
By the dismal tarns and pools
Where dwell the Ghouls,—
By each spot the most unholy—
In each nook most melancholy,—
There the traveller meets aghast
Sheeted Memories of the Past—
Shrouded forms that start and sigh
As they pass the wanderer by—
White-robed forms of friends long given,
In agony, to the Earth—and Heaven.

For the heart whose woes are legion
'Tis a peaceful, soothing region—
For the spirit that walks in shadow
O! it is an Eldorado!
But the traveller, travelling through it,
May not—dare not openly view it;
Never its mysteries are exposed
To the weak human eye unclosed;
So wills its King, who hath forbid
The uplifting of the fringed lid;
And thus the sad Soul that here passes
Beholds it but through darkened glasses.

By a route obscure and lonely,
Haunted by ill angels only,
Where an Eidolon, name NIGHT,
On a black throne reigns upright,
I have wandered home but newly
From this ultimate dim Thule.

(1844-1849)

По расселинам и в чащах...
В делях, змеями кишасих...
На трясине, где Вампир
Правит пир,—
По недобрым тем местам,
Неприятным, всюду там
Встретит путник оробелый
Тень былого в ризе белой.
В саванах проходят мимо
Призрак друга, тень любимой—
Вздригнут и проходят мимо—
Все, кого, скорбя во мгле,
Он отдал небу и земле.

Для сердец, чья боль безмерна,
Этот край— целитель верный,
Здесь, в пустыне тьмы и хлада,
Здесь, о, здесь их Эльдорадо!
Но светлой тайны до сих пор
Еще ничей не видел взор.
Совершая путь тяжелый,
Странник держит очи долу—
Есть повеленье: человек
Идет, не поднимая век.
И только в дымчатые стекла
Увидеть можно отсвет блеклый.

Я за демонами следом,
Тем путем, что им лишь ведом,
Где, воссев на черный трон,
Идол Ночь вершит закон,
В край родной прибред бесцельно
С этой Фулы запредельной.

(1972)

Перевод Н. Вольпин

37. EULALIE

I dwelt alone
In a world of moan,
And my soul was a stagnant tide
Till the fair and gentle Eulalie became my blushing bride—
Till the yellow-haired young Eulalie became my smiling bride.

Ah, less, less bright
The stars of the night
Than the eyes of the radiant girl,
And never a flake
That the vapor can make
With the moon-tints of purple and pearl
Can vie with the modest Eulalie's most unregarded curl—
Can compare with the bright-eyed Eulalie's most humble
and careless curl.

Now Doubt—now Pain
Come never again,
For her soul gives me sigh for sigh
And all day long
Shines bright and strong
Astarté within the sky,
While ever to her dear Eulalie upturns her matron eye—
While ever to her young Eulalie upturns her violet eye.

(1844-1845)

37. ЕВЛАЛИЯ
ПЕСНЯ

Дарил мне свет
Немало бед,
И чахла душа в тишине,
Но Евлалия, нежная, юная, стала супругою мне —
Но Евлалия светлокудрая стала супругою мне.

О, блеск светил
Тусклее был,
Чем свет ее очей!
Никакой дымок
Так завиться б не мог
В переливах лунных лучей,
Чтоб сравниться с ничтожнейшим локоном Евлалии
скромной моей —
С самым малым, развившимся локоном ясноокой
супруги моей.

Сомненье, Беда
Ушли навсегда:
Милой дух — мне опора опор!
Весь день напролет
Астарта льет
Лучи сквозь небесный простор,
И к ней дорогая Евлалия устремляет царственный взор —
И к ней молодая Евлалия устремляет фиалковый взор.

(1972)

Перевод В. Рогова

38. ВОРОН

Как-то в полночь, в час угрюмый, утомившись от раздумий,
Задремал я над страницей фолианта одного,
И очнулся вдруг от звука, будто кто-то вдруг застукал,
Будто глухо так затукал в двери дома моего.
«Гость,— сказал я,— там стучится в двери дома моего,
Гость— и больше ничего».

Ах, я вспоминаю ясно, был тогда декабрь ненастный,
И от каждой вспышки красной тень скользила на ковер.
Ждал я дня из мрачной дали, тщетно ждал, чтоб книги дали
Облегченье от печали по утраченной Линор,
По святой, что там, в Эдеме ангелы зовут Линор,—
Безыменной здесь с тех пор.

Шелковый тревожный шорох в пурпурных портьерах, шторах
Полонил, наполнил смутным ужасом меня всего,
И, чтоб сердцу легче стало, встав, я повторил устало:
«Это гость лишь запоздалый у порога моего,
Гость какой-то запоздалый у порога моего,
Гость— и больше ничего».

И, оправясь от испуга, гостя встретил я, как друга.
«Извините, сэр иль леди,— я приветствовал его,—
Задремал я здесь от скуки, и так тихи были звуки,

And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door,
 That I scarce was sure I heard you"—here I opened wide
 the door;—

Darkness there and nothing more.

Deep into that darkness peering, long I stood there
 wondering, fearing,
 Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream
 before;
 But the silence was unbroken, and the stillness gave no token,
 And the only word there spoken was the whispered word,
 "Lenore?"
 This I whispered, and an echo murmured back the word,
 "Lenore!"

Merely this and nothing more.

Back into the chamber turning, all my soul within me burning,
 Soon again I heard a tapping somewhat louder than before.
 "Surely," said I, "surely that is something at my window lattice;
 Let me see, then, what thereat is, and this mystery explore—
 Let my heart be still a moment and this mystery explore;—
 'Tis the wind and nothing more!"

Open here I flung the shutter, when, with many a flirt
 and flutter,
 In there stepped a stately Raven of the saintly days of yore;
 Not the least obeisance made he; not a minute stopped
 or stayed he;
 But, with mien of lord or lady, perched above my chamber door—
 Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door—
 Perched, and sat, and nothing more.

Так неслышны ваши стуки в двери дома моего,
Что я вас едва услышал»,—дверь открыл я: никого,
Тьма—и больше ничего.

Тьмой полночной окруженный, так стоял я, погруженный
В грезы, что еще не снились никому до этих пор;
Тщетно ждал я так, однако тьма мне не давала знака,
Слово лишь одно из мрака донеслось ко мне: «Линор!»
Это я шепнул, и эхо прошептало мне: «Линор!»
Прошептало, как укор.

В скорби жгучей о потере я захлопнул плотно двери
И услышал стук такой же, но отчетливей того.
«Это тот же стук недавний,—я сказал,—в окно за ставней,
Ветер воеет неспроста в ней у окошка моего,
Это ветер стукнул ставней у окошка моего,—
Ветер—больше ничего».

Только приоткрыл я ставни—вышел Ворон стародавний,
Шумно оправляя траур оперенья своего;
Без поклона, важно, гордо, выступил он чинно, твердо;
С видом леди или лорда у порога моего,
Над дверьми на бюст Паллады у порога моего
Сел—и больше ничего.

И, очнувшись от печали, улыбнулся я вначале,
Видя важность черной птицы, чопорный ее задор,
Я сказал: «Твой вид задорен, твой хохол облезлый черен,
О зловещий древний Ворон, там, где мрак Плутон простер,
Как ты гордо назывался там, где мрак Плутон простер?»

Каркнул Ворон: «Nevermore».

Выкрик птицы неуклюжей на меня повеял стужей,
Хоть ответ ее без смысла, невпопад, был явный вздор;
Ведь должны все согласиться, вряд ли может так случиться,
Чтобы в полночь села птица, вылетевши из-за штор,
Вдруг на бюст над дверью села, вылетевши из-за штор,

Птица с кличкой «Nevermore».

Ворон же сидел на бюсте, словно этим словом грусти
Душу всю свою излил он навсегда в ночной простор.
Он сидел, свой клюв сомкнувши, ни пером не шелохнувши,
И шептал я, вдруг вздохнувши: «Как друзья с недавних пор,
Завтра он меня покинет, как надежды с этих пор».

Каркнул Ворон: «Nevermore».

Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken,
 "Doubtless," said I, "what it utters is its only stock and store
 Caught from some unhappy master whom unmerciful Disaster
 Followed fast and followed faster till his songs one

burden bore—

Till the dirges of his Hope that melancholy burden bore
 Of 'Never—nevermore.'

But the Raven still beguiling my sad fancy into smiling,
 Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird,
and bust and door;
 Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking
 Fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore—
 What this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and ominous
bird of yore
 Meant in croaking "Nevermore."

Thus I sat engaged in guessing, but no syllable expressing
 To the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom's core;
 This and more I sat divining, with my head at ease reclining
 On the cushion's velvet lining that the lamp-light gloated o'er,
 But whose velvet-violet lining with the lamp-light gloating o'er,
She shall press, ah, nevermore!

Then, methought, the air grew denser, perfumed from
an unseen censer
 Swung by seraphim whose foot-falls tinkled on the tufted floor.

При ответе столь удачном вздрогнул я в затишьи мрачном,
И сказал я: «Несомненно, затвердил он с давних пор,
Перенял он это слово от хозяина такого,
Кто под гнетом рока злого слышал, словно приговор,
Похоронный звон надежды и свой смертный приговор
Слышал в этом «Nevermore».

И с улыбкой, как вначале, я, очнувшись от печали,
Кресло к Ворону подвинул, глядя на него в упор,
Сел на бархате лиловом в размышлении суровом,
Что хотел сказать тем словом Ворон, вещий с давних пор,
Что пророчил мне угрюмо Ворон, вещий с давних пор,
Хриплым карком: «Nevermore».

Так, в полудремоте краткой, размышляя над загадкой,
Чувствуя, как Ворон в сердце мне вонзал горящий взор,
Тусклой люстрой освещенный, головою утомленной
Я хотел склониться, сонный, на подушку на узор,
Ах, она здесь не склонится на подушку на узор
Никогда, о nevermore!

Мне казалось, что незримо заструились клубы дыма
И ступили серафимы в фимиаме на ковер.

Я воскликнул: «О несчастный, это Бог от муки страстной
Шлет непентес — исцеленье от любви твоей к Линор!
Пей непентес, пей забвенья и забудь свою Линор!»

Каркнул Ворон: «Nevermore!»

Я воскликнул: «Ворон вещий! Птица ты иль дух зловещий!
Дьявол ли тебя направил, буря ль из подземных нор
Занесла тебя под крышу, где я древний Ужас слышу,
Мне скажи, дано ль мне свыше там, у Галаадских гор,
Обрести бальзам от муки, там, у Галаадских гор?»

Каркнул Ворон: «Nevermore!»

Я воскликнул: «Ворон вещий! Птица ты иль дух зловещий!
Если только бог над нами свод небесный распростер,
Мне скажи: душа, что бремя скорби здесь несет со всеми,
Там обнимет ли, в Эдеме, лучезарную Линор —
Ту святую, что в Эдеме ангелы зовут Линор?»

Каркнул Ворон: «Nevermore!»

«Это знак, чтоб ты оставил дом мой, птица или дьявол! —
Я, вскочив, воскликнул: — С бурей уносишь в ночной простор,
Не оставив здесь, однако, черного пера, как знака

Leave my loneliness unbroken!—quit the bust above my door!
 Take thy beak from out my heart, and take thy form
from off my door!”

Quoth the Raven “Nevermore.”

And the Raven, never flitting, still is sitting, *still* is sitting
 On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;
 And his eyes have all the seeming of a demon’s that
is dreaming,
 And the lamp-light o’er him streaming throws his shadow
on the floor;
 And my soul from out that shadow that lies floating on the floor
 Shall be lifted—nevermore!

(1844-1849)

39. A VALENTINE

VALENTINE’S EVE. 1846

For her these lines are penned, whose luminous eyes,
 Bright and expressive as the stars of Leda,
 Shall find her own sweet name that, nestling, lies
 Upon this page, enwrapped from every reader.
 Search narrowly these words, which hold a treasure
 Divine—a talisman, an amulet
 That must be worn *at heart*. Search well the measure—
 The words—the letters themselves. Do not forget
 The trivialest point, or you may lose your labor.
 And yet there is in this no Gordian knot
 Which one might not undo without a sabre
 If one could merely understand the plot.
 Enwritten upon the page on which are peering

Лжи, что ты принес из мрака! С бюста траурный убор
 Скинь и клюв твой вынь из сердца! Прочь лети в ночной
 простор!»

Каркнул Ворон: «Nevermore!»

И сидит, сидит над дверью Ворон, оправляя перья,
 С бюста бледного Паллады не слетает с этих пор;
 Он глядит в недвижимом взлете, словно демон тьмы
 в дремоте,

И под люстрой, в позолоте, на полу, он тень простер,
 И душой из этой тени не взлечу я с этих пор.

Никогда, о, nevermore!

(1946)

Перевод М. Зенкевича

39. ДРУГУ СЕРДЦА В ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

Фиалковым очам, затмившим Диоскуров,
 Предназначаю я цепочку строк моих.
 В ней имя нежное властительницы их,
 Равно таясь от глаз профанов и авгуров,
 Божественно царит. Его затерян след.
 Ищи внимательно мой талисман заветный,
 Прекрасный талисман, бесценный амулет,
 Не пропусти в стихах и буквы неприметной,—
 Не то напрасен труд, не то прервется нить,
 Не в узел гордиев затянутая мною.
 Не надобен здесь меч. Догадкою одною
 Возможно, кружево разъяв, соединить
 Три слова, что не раз любой бы счел своими,

Such eager eyes, there lies, I say, *perdu*,
 A well-known name oft uttered in the hearing
 Of poets, by poets—as the name is a poet's too.
 Its letters, although naturally lying—
 Like the knight Pinto (Mendez Ferdinando)—
 Still form a synonym for truth. Cease trying!
 You will not read the riddle though you do the best you do.
E.A.P.

40. TO M. L. S.—

Of all who hail thy presence as the morning—
 Of all to whom thine absence is the night—
 The blotting utterly from out high heaven
 The sacred sun—of all who, weeping, bless thee
 Hourly for hope—for life—ah! above all,
 For the resurrection of deep-buried faith
 In Truth—in Virtue—in Humanity—
 Of all who, on Despair's unhallowed bed
 Lying down to die, have suddenly arisen
 At thy soft-murmured words, "Let there be light!"
 At the soft-murmured words that were fulfilled
 In the seraphic glancing of thine eyes—
 Of all who owe thee most—whose gratitude
 Nearest resembles worship—oh, remember
 The truest—the most fervently devoted,
 And think that these weak lines are written by him—
 By him who, as he pens them, thrills to think
 His spirit is communing with an angel's.

(1847)

Когда, о признанных поэтах говоря,
Поэт хотел назвать достойнейшее имя.
Верни ж его из тьмы, очами озаря.
Здесь все — твой вымысел, Фернандо Мендес Пинто.
Лишь буквы здесь не лгут. Но как же их найти?
Оставь бесплодный труд. К тем буквам нет пути.
Вовек, сокровище, не выйдешь из глубин ты.

(1976)

Перевод А. Щербакова

40. * * *

Из всех, кому тебя увидеть — утро,
Из всех, кому тебя не видеть — ночь,
Полнейшее исчезновение солнца,
Изъятого из высоты Небес,—
Из всех, кто ежечасно, со слезами,
Тебя благословляет за надежду,
За жизнь, за то, что более, чем жизнь,
За возрождение веры схороненной,
Доверья к Правде, веры в Человечность,—
Из всех, что, умирая, прилегли
На жесткий одр Отчаянья немого
И вдруг вскочили, голос твой услышав,
Призывно-нежный зов: «Да будет свет!»,—
Призывно-нежный голос, воплощенный
В твоих глазах, о, светлый серафим,—
Из всех, кто пред тобою так обязан,
Что молятся они, благодаря,—
О, вспомяни того, кто всех вернее,
Кто полон самой пламенной мольбой,
Подумай сердцем, это он взывает
И, создавая беглость этих строк,
Трепещет, сознавая, что душою
Он с ангелом небесным говорит.

(1901)

Перевод К. Бальмонта

41. TO——

Not long ago, the writer of these lines,
 In the mad pride of intellectuality,
 Maintained the "power of words"—denied that ever
 A thought arose within the human brain
 Beyond the utterance of the human tongue;
 And now, as if in mockery of that boast,
 Two words—two foreign soft dissyllables—
 Italian tones made only to be murmured
 By angels dreaming in the moonlit "dew
 That hangs like chains of pearl on Hermon hill"—
 Have stirred from out the abysses of his heart,
 Unthought-like thoughts that are the souls of thought,
 Richer, far wilder, far diviner visions
 Than even the seraph harper, Israfael,
 Who has "the sweetest voice of all God's creatures,"
 Could hope to utter. And I! my spells are broken.
 The pen falls powerless from my shivering hand.
 With thy dear name as text, though bidden by thee,
 I cannot write—I cannot speak or think,
 Alas, I cannot feel; for 'tis not feeling,
 This standing motionless upon the golden
 Threshold of the wide-open gate of dreams,
 Gazing, entranced, adown the gorgeous vista,
 And thrilling as I see upon the right,
 Upon the left, and all the way along
 Amid empurpled vapors, far away
 To where the prospect terminates—*thee only*.

[1847]

42. ULALUME—A BALLAD

The skies they were ashen and sober;
 The leaves they were crispèd and sere—
 The leaves they were withering and sere:

41. К М.Л.Ш.

Еще недавно автор этих строк
В спесивом упоенье интеллектом
До неба «силу слов» перевозносил
И утверждал, что мысли возникают
Не иначе как в форме языка;
Но вот, в насмешку ль над его хвальбой,
Два слова — нежных, слабых, чужезвучных,
Два неземных (о, ангелам бы их
Шептать во сне над лунною «росою,
Жемчужной нитью легшей на Гермон») —
Из бездны сердца тихо поднялись:
Немысли, полумысли, души мыслей —
Волшебней и божественней тех грез,
Что Израфил (певец «с наисладчайшим
Из всех восславивших аллаха гласом»)
Посмел бы в песнь вложить. И я — немею.
Рука застыла; брошено перо.
Тебе молиться именем твоим
Не смею: ни писать, ни петь, ни думать;
И чувствовать устал — оцепененье
Владеет мной пред златовратным сном,
Оцепененье сковывает чувство.
Робею, очарован, — даль безмерна;
Вперед, направо ль, влево ль погляжу —
Туман багровый застигает землю,
И лишь один-единственный мираж
Горит у горизонта — *ты! ты! ты!*

(1976)

Перевод В. Топорова

42. УЛЯЛЮМ

Небеса были пепельно-пенны,
Листья были осенние стылы,
Листья были усталые стылы,

It was night, in the lonesome October
 Of my most immemorial year:
 It was hard by the dim lake of Auber,
 In the misty mid region of Weir:—
 It was down by the dank tarn of Auber,
 In the ghoul-haunted woodland of Weir.

Here once, through an alley Titanic,
 Of cypress, I roamed with my Soul—
 Of cypress, with Psyche, my Soul.
 These were days when my heart was volcanic
 As the scoriac rivers that roll—
 As the lavas that restlessly roll
 Their sulphurous currents down Yaanek,
 In the ultimate climes of the Pole—
 That groan as they roll down Mount Yaanek,
 In the realms of the Boreal Pole.

Our talk had been serious and sober,
 But our thoughts they were palsied and sere—
 Our memories were treacherous and sere;
 For we knew not the month was October,
 And we marked not the night of the year—
 (Ah, night of all nights in the year!)
 We noted not the dim lake of Auber,
 (Though once we had journeyed down here)
 We remembered not the dank tarn of Auber,
 Nor the ghoul-haunted woodland of Weir.

And now, as the night was senescent,
 And star-dials pointed to morn—
 As the star-dials hinted of morn—
 At the end of our path a liquescent
 And nebulous lustre was born,
 Out of which a miraculous crescent
 Arose with a duplicate horn—
 Astarte's bediamonded crescent,
 Distinct with its duplicate horn.

И октябрь в этот год отреченный
Наступил бесконечно унылый.
Было смутно; темны и смятенны
Стали чащи, озера, могилы.—
Путь в Уировой чаще священной
Вел к Оберovým духам могилы.

Мрачно брел я в тени великанов —
Кипарисов с душою моею.
Мрачно брел я с Психеею моею,
Были дни, когда Горе, нагрнуv,
Залило меня лавой своею,
Ледовитою лавой своею.
Были взрывы промерзших вулканов,
Было пламя в глубинах морей —
Нарастающий грохот вулканов,
Пробужденье промерзших морей.

Пепел слов угасал постепенно,
Мысли были осенние стылы,
Наша память усталая стыла.
Мы забыли, что год — отреченный,
Мы забыли, что месяц — унылый
(Что за ночь — Ночь Ночей! — наступила,
Мы забыли, — темны и смятенны
Стали чащи, озера, могилы),
Мы забыли о чаще священной,
Не заметили духов могилы.

И когда эта ночь понемногу
Пригасила огни в небесах, —
Огоньки и огни в небесах, —
Озарил странным светом дорогу
Серп о двух исполинских рогах.
Серп навис в темном небе двурого, —
Дивный призрак, развеявший страх, —
Серп Астарты, сияя двурого,
Прогоняя сомненья и страх.

And I said—"She is warmer than Dian;
She rolls through an ether of sighs—
She revels in a region of sighs.
She has seen that the tears are not dry on
These cheeks where the worm never dies,
And has come past the stars of the Lion,
To point us the path to the skies—
To the Lethean peace of the skies—
Come up, in despite of the Lion,
To shine on us with her bright eyes—
Come up, through the lair of the Lion,
With love in her luminous eyes."

But Psyche, uplifting her finger,
Said—"Sadly this star I mistrust—
Her pallor I strangely mistrust—
Ah, hasten!—ah, let us not linger!
Ah, fly!—let us fly!—for we must."
In terror she spoke; letting sink her
Wings till they trailed in the dust—
In agony sobbed; letting sink her
Plumes till they trailed in the dust—
Till they sorrowfully trailed in the dust.

I replied—"This is nothing but dreaming.
Let us on, by this tremulous light!
Let us bathe in this crystalline light!
Its Sibyllic splendor is beaming
With Hope and in Beauty to-night—
See!—it flickers up the sky through the night!
Ah, we safely may trust to its gleaming
And be sure it will lead us aright—
We surely may trust to a gleaming
That cannot but guide us aright
Since it flickers up to Heaven through the night."

Thus I pacified Psyche and kissed her,
And tempted her out of her gloom—

И сказал я: «Светлей, чем Селена,
Милосердной Астарта встает,
В царстве вздохов Астарта цветет
И слезам, как Сезам сокровенный,
Отворяет врата,— не сотрет
Их и червь.— О, Астарта, блаженно
Не на землю меня поведет—
Сквозь созвездие Льва поведет,
В те пределы, где пепельно-пенна,
Лета— вечным забвеньем— течет,
Сквозь созвездие Льва вдохновенно,
Милосердно меня поведет!»

Но перстом погрозила Психея:
«Я не верю огню в небесах!
Нет, не верю огню в небесах!
Он все ближе. Беги же скорее!»
Одолели сомненья и страх.
Побледнела душа, и за нею
Крылья скорбно поникли во прах,
Ужаснулась, и крылья за нею
Безнадежно упали во прах,—
Тихо-тихо упали во прах.

Я ответил: «Тревога напрасна!
В небесах— ослепительный свет!
Окунемся в спасительный свет!
Прорицанье Сивиллы пристрастно,
И прекрасен Астарты рассвет!
Полный новой Надежды рассвет!
Он сверкает раздольно и властно,
Он не призрак летучий, о нет!
Он дарует раздольно и властно
Свет Надежды. Не бойся! О нет,
Это благословенный рассвет!»

Так сказал я, проникнуть не смея
В невеселую даль ее дум

And conquered her scruples and gloom;
 And we passed to the end of the vista—
 But were stopped by the door of a tomb—
 By the door of a legended tomb:—
 And I said—"What is written, sweet sister,
 On the door of this legended tomb?"
 She replied—"Ulalume—Ulalume!—
 'T is the vault of thy lost Ulalume!"

Then my heart it grew ashen and sober
 As the leaves that were crispéd and sere—
 As the leaves that were withering and sere—
 And I cried—"It was surely October,
 On *this* very night of last year,
 That I journeyed—I journeyed down here!—
 That I brought a dread burden down here—
 On this night, of all nights in the year,
 Ah, what demon hath tempted me here?
 Well I know, now, this dim lake of Auber—
 This misty mid region of Weir:—
 Well I know, now, this dank tarn of Auber—
 This ghoul-haunted woodland of Weir."

Said we, then—the two, then—"Ah, can it
 Have been that the woodlandish ghouls—
 The pitiful, the merciful ghouls,
 To bar up our way and to ban it
 From the secret that lies in these wolds—
 From the thing that lies hidden in these wolds—
 Have drawn up the spectre of a planet
 From the limbo of lunary souls—
 This sinfully scintillant planet
 From the Hell of the planetary souls?"

(1847-1849)

И догадок, догадок и дум.
Но тропа прервалась и, темнея,
Склеп возник. Я и вещей мой ум,
Я (не веря) и вещей мой ум —
Мы воскликнули разом: «Психея!
Кто тут спит?!» — Я и вещей мой ум...
«Улялюм, — подсказала Психея, —
Улялюм! Ты забыл Улялюм!»

Сердце в пепел упало и пену
И, как листья, устало застыло,
Как осенние листья, застыло.
Год назад год пошел отреченный!
В октябре бесконечно уныло
Я стоял здесь у края могилы!
Я кричал здесь у края могилы!
Ночь Ночей над землей наступила —
Ах! зачем — и забыв — не забыл я:
Тою ночью темны, вдохновенны
Стали чащи, озера, могилы
И звучали над чашей священной
Завывания духов могилы!

Мы, стеная, — она, я — вскричали:
«Ах, возможно ль, что духи могил —
Милосердные духи могил —
Отвлечением от нашей печали
И несчастья, что склеп затаил, —
Страшной тайны, что склеп затаил, —
К нам на небо Астарту призвали
Из созвездия адских светил —
Из греховной, губительной дали,
С небосвода подземных светил?»

(1976)

Перевод В. Топорова

43. AN ENIGMA

"Seldom we find," says Solomon Don Dunce,
 "Half an idea in the profoundest sonnet.
 Through all the flimsy things we see at once
 As easily as through a Naples bonnet—
 Trash of all trash!—how *can* a lady don it?
 Yet heavier far than your Petrarchan stuff—
 Owl-downy nonsense that the faintest puff
 Twirls into trunk-paper the while you con it."
 And, veritably, Sol is right enough.
 The general tuckermanities are arrant
 Bubbles—ephemeral and *so* transparent—
 But *this* is, now,—you may depend upon it—
 Stable, opaque, immortal—all by dint
 Of the dear names that lie concealed within 't.

(1847)

44. THE BELLS

1.

Hear the sledges with the bells—
 Silver bells!
What a world of merriment their melody foretells!
 How they tinkle, tinkle, tinkle,
 In the icy air of night!
 While the stars that oversprinkle
 All the Heavens, seem to twinkle
 With a crystalline delight;
 Keeping time, time, time,
 In a sort of Runic rhyme,
 To the tintinabulation that so musically wells
 From the bells, bells, bells, bells,
 Bells, bells, bells—
 From the jingling and the tinkling of the bells.

43. ЗАГАДОЧНЫЙ СОНЕТ

«Сонеты,—учит Соломон дон Дукка,—
 На редкость мыслью подлинной бедны,
 В прозрачном их ничтожестве видны
 Хитросплетенья зауми со скукой.
 Красавицы чураться их должны.
 Их понапрасну выдумал Петрарка.
 Чуть дунь — и все труды его насмарку.
 Они смешны, слащавы и бледны».
 Не возражаю Солу. Хоть и зол он,
 Но прав. Сколь часто, изумляя свет,
 Убог, как мыльный пузырек, сонет.
 Не этот, я надеюсь. Тайны полон,
 Он будет, вечен и неколебим,
 Беречь свой смысл — ваш милый псевдоним.

(1976)

Перевод А. Щербакова

44. КОЛОКОЛЬЧИКИ И КОЛОКОЛА

1.

Слышишь, сани мчатся в ряд,
 Мчатся в ряд!
 Колокольчики звенят,
 Серебристым легким звоном слух наш сладостно томят,
 Этим пеньем и гуденьем о забвеньи говорят.
 О, как звонко, звонко, звонко,
 Точно звучный смех ребенка,
 В ясном воздухе ночном
 Говорят они о том,
 Что за днями заблужденья
 Наступает возрожденье,
 Что волшебно наслажденье — наслажденье нежным сном.
 Сани мчатся, мчатся в ряд,
 Колокольчики звенят,
 Звезды слушают, как сани, убегая, говорят,
 И, внимая им, горят,
 И мечтая, и блистая, в небе духами парят;
 И изменчивым сияньем
 Молчаливым обаяньем,
 Вместе с звоном, вместе с пеньем, о забвеньи говорят.

2.

Hear the mellow wedding bells—
 Golden bells!
What a world of happiness their harmony foretells!
 Through the balmy air of night
 How they ring out their delight!—
 From the molten-golden notes
 And all in tune,
 What a liquid ditty floats
 To the turtle-dove that listens while she gloats
 On the moon!
 Oh, from out the sounding cells
What a gush of euphony voluminously wells!
 How it swells!
 How it dwells
 On the Future!—how it tells
 Of the rapture that impels
 To the swinging and the ringing
 Of the bells, bells, bells!—
 Of the bells, bells, bells, bells,
 Bells, bells, bells—
 To the rhyming and the chiming of the bells!

3.

Hear the loud alarum bells—
 Brazen bells!
What a tale of terror, now, their turbulency tells!
 In the startled ear of Night
 How they scream out their affright!
 Too much horrified to speak,
 They can only shriek, shriek,
 Out of tune,
 In a clamorous appealing to the mercy of the fire—
 In a mad expostulation with the deaf and frantic fire,
 Leaping higher, higher, higher,
 With a desperate desire

2.

Слышишь к свадьбе звон святой,
Золотой!
Сколько нежного блаженства в этой песне молодой!
Сквозь спокойный воздух ночи
Словно смотрят чьи-то очи
И блестят,
Из волны певучих звуков на луну они глядят.
Из призывных дивных келий,
Полны сказочных веселий,
Нарастая, упадая, брызги светлые летят.
Вновь потухнут, вновь блестят,
И роняют светлый взгляд
На грядущее, где дремлет безмятежность нежных снов,
Возвещаемых согласьем золотых колоколов!

3.

Слышишь, воющий набат,
Точно стонет медный ад!
Эти звуки, в дикой муке, сказку ужасов твердят.
Точно молят им помочь,
Крик кидают прямо в ночь,
Прямо в уши темной ночи
Каждый звук,
То длиннее, то короче,
Выкликает свой испуг,—
И испуг их так велик,
Так безумен каждый крик,
Что разорванные звоны, неспособные звучать,
Могут только биться, виться, и кричать, кричать, кричать!
Только плакать о пощаде,
И к пылающей громаде
Вопли скорби обращать!
А меж тем огонь безумный,

And a resolute endeavor
 Now—now to sit, or never,
 By the side of the pale-faced moon.
 Oh, the bells, bells, bells!
 What a tale their terror tells
 Of despair!
 How they clang and clash and roar!
 What a horror they outpour
 In the bosom of the palpitating air!
 Yet the ear, it fully knows,
 By the twanging
 And the clanging,
 How the danger ebbs and flows:—
 Yes, the ear distinctly tells,
 In the jangling
 And the wrangling,
 How the danger sinks and swells,
 By the sinking or the swelling in the anger of the bells—
 Of the bells—
 Of the bells, bells, bells, bells,
 Bells, bells, bells—
 In the clamor and the clangor of the bells!

4.

Hear the tolling of the bells—
 Iron bells!
What a world of solemn thought their monody compels!
 In the silence of the night
 How we shiver with affright
 At the melancholy meaning of the tone!
 For every sound that floats
 From the rust within their throats
 Is a groan.
 And the people—ah, the people
 They that dwell up in the steeple
 All alone,
 And who, tolling, tolling, tolling,

И глухой и многошумный,
Все горит,
То из окон, то по крыше,
Мчится выше, выше, выше,
И как будто говорит:
Я хочу
Выше мчаться, разгораться, встречу лунному лучу,
Иль умру, иль тотчас-тотчас вплоть до месяца взлечу!
О, набат, набат, набат,
Если б ты вернул назад
Этот ужас, это пламя, эту искру, этот взгляд,
Этот первый взгляд огня,
О котором ты вещаешь, с плачем, с воплем, и звеня!
А теперь нам нет спасенья,
Всюду пламя и кипенье,
Всюду страх и возмущенье!
Твой призыв,
Диких звуков несогласность
Возвещает нам опасность,
То растет беда глухая, то спадает, как прилив!
Слух наш чутко ловит волны в перемене звуковой,
Вновь спадает, вновь рыдает медно-стонущий прибор!

4.

Похоронный слышен звон,
Долгий звон!
Горькой скорби слышны звуки, горькой жизни кончен сон.
Звук железный возвещает о печали похорон!
И невольно мы дрожим,
От забав своих спешим
И рыдаем, вспоминаем, что и мы глаза смежим.
Неизменно-монотонный,
Этот возглас отдаленный,
Похоронный тяжкий звон,
Точно стон,
Скорбный, гневный,
И плачевный,

In that muffled monotone,
 Fell a glory in so rolling
 On the human heart a stone—
 They are neither man nor woman—
 They are neither brute nor human,
 They are Ghouls:—
 And their king it is who tolls:—
 And he rolls, rolls, rolls, rolls
 A Pæan from the bells!
 And his merry bosom swells
 With the Pæan of the bells!
 And he dances and he yells;
 Keeping time, time, time,
 In a sort of Runic rhyme,
 To the Pæan of the bells—
 Of the bells:—
 Keeping time, time, time,
 In a sort of Runic rhyme,
 To the throbbing of the bells—
 Of the bells, bells, bells—
 To the sobbing of the bells:—
 Keeping time, time, time,
 As he knells, knells, knells,
 In a happy Runic rhyme,
 To the rolling of the bells—
 Of the bells, bells, bells:—
 To the tolling of the bells—
 Of the bells, bells, bells, bells,
 Bells, bells, bells—
 To the moaning and the groaning of the bells.

(1849)

45. TO HELEN

I saw thee once—once only—years ago:
 I must not say *how* many—but *not* many.

Вырастает в долгий гул,
Возвещает, что страдалец непробудным сном уснул.
В колокольных кельях ржавых,
Он для правых и неправых
Грозно вторит об одном:
Что на сердце будет камень, что глаза сомкнутся сном.
Факел траурный горит,
С колокольни кто-то крикнул, кто-то громко говорит,
Кто-то черный там стоит,
И хохочет, и гремит,
И гудит, гудит, гудит,
К колокольне припадает,
Гулкий колокол качает,
Гулкий колокол рыдает,
Стонет в воздухе немом
И протяжно возвещает о покое гробовом.

(1895)

Перевод К. Бальмонта

45. К ЕЛЕНЕ

Тебя я видел раз, один лишь раз;
Не помню, сколько лет назад — но мало.

It was a July midnight; and from out
 A full-orbed moon, that, like thine own soul, soaring,
 Sought a precipitate pathway up through heaven,
 There fell a silvery-silken veil of light,
 With quietude, and sultriness, and slumber,
 Upon the upturn'd faces of a thousand
 Roses that grew in an enchanted garden,
 Where no wind dared to stir, unless on tiptoe—
 Fell on the upturn'd faces of these roses
 That gave out, in return for the love-light,
 Their odorous souls in an ecstatic death—
 Fell on the upturn'd faces of these roses
 That smiled and died in this parterre, enchanted
 By thee, and by the poetry of thy presence.

Clad all in white, upon a violet bank
 I saw thee half reclining; while the moon
 Fell on the upturn'd faces of the roses,
 And on thine own, upturn'd—alas, in sorrow!

Was it not Fate, that, on this July midnight—
 Was it not Fate, (whose name is also Sorrow,)
 That bade me pause before that garden-gate,
 To breathe the incense of those slumbering roses?
 No footstep stirred: the hated world all slept,
 Save only thee and me. (Oh, Heaven!—oh, God!
 How my heart beats in coupling those two words!)
 Save only thee and me. I paused—I looked—
 And in an instant all things disappeared.
 (Ah, bear in mind this garden was enchanted!)
 The pearly lustre of the moon went out:
 The mossy banks and the meandering paths,
 The happy flowers and the repining trees,
 Were seen no more: the very roses' odors
 Died in the arms of the adoring airs.
 All—all expired save thee—save less than thou:
 Save only the divine light in thine eyes—
 Save but the soul in thine uplifted eyes.

В июле, в полночь, полная луна,
Твоей душе подобная, дорогу
Искала к самому зениту неба,
Роняя света серебристый полог,
Исполненный истомы и дремоты,
На тысячи подъявших лики роз,
Что в зачарованном саду росли,
Где колыхнуться ветерок не смел,—
Свет лился медленно на лики роз,
Они ж в ответ благоуханье душ
Ему в экстазе смерти изливали:
Свет лился медленно на лики роз,
Они же умирали, пленены
Тобою и поэзией твоею.

Полусклоненная, среди фиалок
Ты мне предстала в белом одеянье;
Свет лился медленно на лики роз,
На лик твой, поднятый—увы!—в печали.

Не Рок ли этой полночью в июле,
Не Рок ли (что зовется также Скорбью!)
Остановил меня у входа в сад,
Чтобы вдохнул я роз благоуханье?
Ни звука: ненавистный мир уснул,
Лишь мы с тобой не спали. (Боже! Небо!
Как бьется сердце, лишь услышу вместе
Два слова: мы с тобой.) Я огляделся—
И во мгновение все кругом исчезло.
(Не забывай, что сад был зачарован!)
Луны жемчужный блеск погас на небе,
Извилистые тропки, мшистый берег,
Счастливые цветы и листьев шелест—
Исчезло все, и роз благоуханье
В объятьях ветерка тогда скончалось.
Все умерло—и только ты жила.
Нет, и не ты: лишь свет очей твоих,
Душа в очах твоих, подъятых к небу.

I saw but them—they were the world to me.
 I saw but them—saw only them for hours—
 Saw only them until the moon went down.
 What wild heart-histories seemed to lie enwritten
 Upon those crystalline, celestial spheres!
 How dark a wo! yet how sublime a hope!
 How silently serene a sea of pride!
 How daring an ambition! yet how deep—
 How fathomless a capacity for love!

But now, at length, dear Dian sank from sight,
 Into a western couch of thunder-cloud;
 And thou, a ghost, amid the entombing trees
 Didst glide away. *Only thine eyes remained.*
 They *would not* go—they never yet have gone.
 Lighting my lonely pathway home that night,
 They have not left me (as my hopes have) since.
 They follow me—they lead me through the years.
 They are my ministers—yet I their slave.
 Their office is to illumine and enkindle—
 My duty, *to be saved* by their bright light,
 And purified in their electric fire,
 And sanctified in their elysian fire.
 They fill my soul with Beauty (which is Hope,)
 And are far up in Heaven—the stars I kneel to
 In the sad, silent watches of my night;
 While even in the meridian glare of day
 I see them still—two sweetly scintillant
 Venuses, unextinguished by the sun!

(1848-1849)

46. FOR ANNIE

Thank Heaven! the crisis—
 The danger is past,

Я видел их, вселенную мою,
Лишь их я видел долгие часы,
Лишь их, пока луна не закатилась.
Какие горькие повествованья
Таились в их кристальной глубине!
И горя сумрак! И полет надежды!
И море безмятежное величья!
И дерзость в жажде славы!—но, бездонна,
К любви способность мне открылась в них!

Но вот исчезла милая Диана
На ложе западном грозóвых туч:
И, призрак меж стволов, подобных склепу,
Ты ускользнула. Но остались очи.
Остался взгляд, он не исчез доньше.
В ту ночь он к дому осветил мне путь,
Меня он не покинул (как надежды).
Со мною он—ведет меня сквозь годы,
Он мне служитель—я же раб ему.
Он служит мне, светя и согревая,
Мой долг—спасенным быть его сияньем,
Стать чистым в электрическом огне,
В огне Элизия стать освященным.
Он дал мне Красоту (она ж Надежда),
Он в небе—пред его сияньем звездным
В часы унылых бдений я колена
Склоняю; и в слепящем свете дня
Все вижу их—две сладостно блестящих
Венеры, что и солнце не затмит!

(1972)

Перевод В. Рогова

46. АННИ

Закончена с жизнью
Опасная схватка,

And the lingering illness
Is over at last—
And the fever called "Living"
Is conquered at last.

Sadly, I know
I am shorn of my strength,
And no muscle I move
As I lie at full length—
But no matter!—I feel
I am better at length.

And I rest so composedly,
Now, in my bed,
That any beholder
Might fancy me dead—
Might start at beholding me,
Thinking me dead.

The moaning and groaning,
The sighing and sobbing,
Are quieted now,
With that horrible throbbing
At heart:—ah, that horrible,
Horrible throbbing!

The sickness—the nausea—
The pitiless pain—
Have ceased, with the fever
That maddened my brain—
With the fever called "Living"
That burned in my brain.

And oh! of all tortures
That torture the worst
Has abated—the terrible
Torture of thirst
For the naphthaline river
Of Passion accurst:—

Болезнь разрешилась,
Прошла лихорадка,
Зовут ее Жизнь,
А она — лихорадка.

Бессильность, недвижность
Томят меня мало.
Да, сил я лишился,
Но мне полегчало,—
Да, я неподвижен,
Но мне полегчало.

Спокойно в постели
Лежу распростертый,
И всякий, кто взглянет,
Подумает: мертвый.
Он взглянет и вздрогнет
И вымолвит: мертвый.

Боренью, горенью,
Страданию, стенанию
Конец положило
Одно содроганье —
Ах, в сердце мучительное
Содроганье!

Болезнь — лихорадка,
Головокруженье —
Прошли, миновало
Души исступленье —
Зовут его Жизнь,
А оно — исступленье.

Не ведал я в жизни
Ужасней напасти,
Чем жажда в волнах
Иссушающей страсти,
Средь мутной реки
Богом проклятой страсти,

I have drank of a water
That quenches all thirst:—

Of a water that flows,
With a lullaby sound,
From a spring but a very few
Feet under ground—
From a cavern not very far
Down under ground.

And ah! let it never
Be foolishly said
That my room it is gloomy
And narrow my bed;
For man never slept
In a different bed—
And, to *sleep*, you must slumber
In just such a bed.

My tantalized spirit
Here blandly reposes,
Forgetting, or never
Regretting its roses—
Its old agitations
Of myrtles and roses:

For now, while so quietly
Lying, it fancies
A holier odor
About it, of pansies—
A rosemary odor,
Commingled with pansies—
With rue and the beautiful
Puritan pansies.

And so it lies happily,
Bathing in many
A dream of the truth
And the beauty of Annie—

Но влагой иной
Я спасен от напасти:

Пробился к губам
В колыбельном покое
Источник, таящийся
Здесь, под землею,
От вас в двух шагах,
У меня под землею.

Вотще о моем
Не скорбите уделе,
Что сплю я во мраке
На тесной постели,
О, не зарекайтесь
От этой постели!
Для сна не бывало
Прекрасней постели.

Душа моя в ней
Забывает о грозах,
Светлеет
И не сожалеет о розах,
О трепете страсти,
О миртах и розах:

В блаженном безмолвии
После развязки
Над нею склонились
Анютины глазки,
Святой розмарин
И анютины глазки,
Девичья невинность,
Анютины глазки.

Душа отдыхает,
Купаясь в тумане
Мечтаний о верной
Пленительной Анни,

Drowned in a bath
Of the tresses of Annie.

She tenderly kissed me,
She fondly caressed,
And then I fell gently
To sleep on her breast—
Deeply to sleep
From the heaven of her breast.

When the light was extinguished,
She covered me warm,
And she prayed to the angels
To keep me from harm—
To the queen of the angels
To shield me from harm.

And I lie so composedly,
Now, in my bed,
(Knowing her love)
That you fancy me dead—
And I rest so contentedly,
Now in my bed,
(With her love at my breast)
That you fancy me dead—
That you shudder to look at me,
Thinking me dead:—

But my heart it is brighter
Than all of the many
Stars in the sky,
For it sparkles with Annie—
It glows with the light
Of the love of my Annie—
With the thought of the light
Of the eyes of my Annie.

(1849)

И тонет в струящихся
Локонах Анни.

Познал я объятий
Восторг нестерпимый
И тихо уснул
На груди у любимой—
И день мой померк
На груди у любимой.

Она меня теплым
Покровом укрыла
И ангелов рая
О мире молила,
О благе моем
Их царицу молила.

И вот я спокойно
Лежу распростертый
(В любви я забылся!)—
Вы скажете: мертвый?
Но как я спокойно
Лежу распростертый
(И грежу об Анни!)—
Вы скажете: мертвый?
Вы взглянете, вздрогнете,
Скажете: мертвый!

Но ярче всех ярких
Светил в мирозданье
Зажглось мое сердце
Сиянием Анни,
Его озаряет
Любовь моей Анни,
И память о свете
В очах моей Анни.

(1976)

Перевод А. Сергеева

47. ELDORADO

Gaily bedight,
A gallant knight,
In sunshine and in shadow,
Had journeyed long,
Singing a song,
In search of Eldorado.

But he grew old—
This knight so bold—
And o'er his heart a shadow
Fell, as he found
No spot of ground
That looked like Eldorado.

And, as his strength
Failed him at length
He met a pilgrim shadow—
"Shadow," said he,
"Where can it be—
This land of Eldorado?"

"Over the Mountains
Of the Moon,
Down the Valley of the Shadow,
Ride, boldly ride,"
The shade replied,—
"If you seek for Eldorado!"

(1849)

48. TO MY MOTHER

Because I feel that, in the Heavens above,
The angels, whispering to one another,

47. ЭЛЬДОРАДО

Ночью и днем
На коне лихом,
Сверкая парчой наряда,
Рыцарь скакал
И с песней искал
Волшебный край Эльдорадо.

Но стал он сед
Под ношею лет,
Душа преисполнилась хлада:
Нигде он не мог
Найти уголок,
Похожий на Эльдорадо.

И в последний свой день
Он скиталицу-тень
Спросил, не сводя с нее взгляда:
«О тень, отвечай:
Где сыщется край,
Чудесный край Эльдорадо?»

«По гребням узор-
ных лунных гор,
Долиною мертвенной ада
Скачи через тьму,—
Был ответ ему,—
Если хочешь найти Эльдорадо!»

(1983)

Перевод В. Рогова

48. СОНЕТ К МОЕЙ МАТЕРИ

Постигнув, что не только человек —
Но ангелы — из всех благословений,

Can find, among their burning terms of love,
 None so devotional as that of "Mother,"
 Therefore by that dear name I long have called you—
 You who are more than mother unto me,
 And fill my heart of hearts, where Death installed you
 In setting my Virginia's spirit free.
 My mother—my own mother, who died early,
 Was but the mother of myself; but you
 Are mother to the one I loved so dearly,
 And thus are dearer than the mother I knew
 By that infinity with which my wife
 Was dearer to my soul than its soul-life.

(1849)

49. ANNABEL LEE

It was many and many a year ago,
 In a kingdom by the sea,
 That a maiden there lived whom you may know
 By the name of Annabel Lee;—
 And this maiden she lived with no other thought
 Than to love and be loved by me.

She was a child and *I* was a child,
 In this kingdom by the sea,
 But we loved with a love that was more than love—
 I and my Annabel Lee—
 With a love that the wingéd seraphs of Heaven
 Coveted her and me.

And this was the reason that, long ago,
 In this kingdom by the sea,
 A wind blew out of a cloud by night
 Chilling my Annabel Lee;
 So that her highborn kinsmen came

Способных нежность выразить навек,
Не отыскали имени блаженной,
Я «матерью» назвал тебя, и ты
Вошла мне в сердце самую родною
И стала жить в нем — в доме пустоты,
Покинутом покойною женою.
Мою родную мать (по ком я тоже
Скорблю) ты материнством превзошла:
Жизнь дорога — Виргиния дороже,
Ты, дав ей жизнь, мне этим жизнь дала;
Отныне же, когда ее не стало,
И для меня небытие настало.

(1976)

Перевод В. Топорова

49. ЭННАБЕЛ ЛИ

Это было давно, очень, очень давно,
В королевстве у края земли,
Где любимая мною дева жила,—
Назову ее Эннабел Ли;
Я любил ее, а она меня,
Как любить мы только могли.

Я был дитя и она дитя
В королевстве у края земли,
Но любовь была больше, чем просто любовь
Для меня и для Эннабел Ли —
Такой любви серафимы небес
Не завидовать не могли.

И вот потому много лет назад
В королевстве у края земли
Из-за тучи безжалостный ветер подул
И убил мою Эннабел Ли,
И знатные родичи милой моей

And bore her away from me,
To shut her up, in a sepulchre
In this kingdom by the sea.

The angels, not half so happy in Heaven,
Went envying her and me:—
Yes! that was the reason (as all men know,
In this kingdom by the sea)
That the wind came out of the cloud, chilling
And killing my Annabel Lee.

But our love it was stronger by far than the love
Of those who were older than we—
Of many far wiser than we—
And neither the angels in Heaven above
Nor the demons down under the sea
Can ever dissever my soul from the soul
Of the beautiful Annabel Lee:—

For the moon never beams without bringing me dreams
Of the beautiful Annabel Lee;
And the stars never rise but I see the bright eyes
Of the beautiful Annabel Lee;
And so, all the night-tide, I lie down by the side
Of my darling, my darling, my life and my bride
In her sepulchre there by the sea—
In her tomb by the side of the sea.

(1849)

Ее от меня унесли
И сокрыли в склепе на берегу морском
В королевстве у края земли.

Сами ангелы, счастья такого не зная,
Не завидовать нам не могли,—
И вот потому (как ведомо всем
В королевстве у края земли)
Из-за тучи слетевший ветер ночной
Застудил и сгубил мою Эннабел Ли.

Но наша любовь сильнее любви
Тех, что жить дольше нас могли,
Тех, что знать больше нас могли,
И ни горние ангелы в высях небес,
Ни демоны в недрах земли
Не в силах душу мою разлучить
С душой моей Эннабел Ли.

Ведь коль светит луна, то приносит она
Мечтанья об Эннабел Ли;
Если звезды горят—вижу радостный взгляд
Прекраснейшей Эннабел Ли;
Много, много ночей там покоюсь я с ней,
С дорогой и любимой невестой моей—
В темном склепе у края земли,
Где волна бьет о кромку земли.

(1970)

Перевод В. Рогова

Uncollected Poems



Стихотворения разных лет





50. O, TEMPORA! O, MORES!

Oh Times! Oh Manners! It is my opinion
That you are changing sadly your dominion—
I mean the reign of manners hath long ceased,
For men have none at all, or bad at least;
And as for times, although 'tis said by many
The "good old times" were far the worst of any,
Of which sound doctrine I believe each tittle,
Yet still I think these worse than them a little.

I've been a thinking, isn't that the phrase?
—I like your Yankee words and Yankee ways—
I've been a thinking, whether it were best
To take things seriously or all in jest;
Whether with grim Heraclitus of yore
To weep, as he did, till his eyes were sore,
Or rather laugh with him, that queer Philosopher,
Democritus of Thrace, who used to toss over
The page of life and grin at the dog-ears,
As though he'd say, "Why who the devil cares?"

This is a question which, oh Heaven, withdraw
The luckless query from a Member's claw!
Instead of two sides, Bob has nearly eight,
Each fit to furnish forth four hours debate.
What shall be done? I'll lay it on the table,



50. O, TEMPORA! O, MORES!

О времена! О нравы! Видеть грустно,
Как все вокруг нелепо и безвкусно.
О нравах, о приличиях смешно
И говорить — приличный нет давно!
Что ж до времен, то каждому известно:
О «старых добрых временах» нелестно
Толкует современный человек
И хвалит — деградировавший век!

Сидел я долго, голову ломая
(Ах, янки, до чего у вас прямая
Манера выражаться!), я не знал,
Какой избрать зачин, какой финал?
Пусть слезу, как Гераклит Эфесский
В душещипательной плаксивой пьеске?
Или за едким Демокритом вслед
Швырнуть, расхохотавшись, книгу лет,
Затрепанную, как учебник в школе,
И крикнуть: «К дьяволу! Не все равно ли?»

Предмет мой, надо знать, имеет вес,
Не дай господь, займется им Конгресс!
Дебаты будут длиться две недели:
Мы обе стороны во всяком деле
Должны заслушать, соблюдая закон,

And take the matter up when I'm more able,
And in the meantime, to prevent all bother,
I'll neither laugh with one or cry with t'other,
Nor deal in flattery or aspersions foul,
But, taking one by each hand, merely growl.

Ah growl, say you, my friend, and pray at what?
Why, really, sir, I almost had forgot—
But damn it, sir, I deem it a disgrace
That things should stare us boldly in the face,
And daily strut the street with bows and scrapes,
Who would be men by imitating apes.
I beg your pardon, reader, for the oath,
The monkey's made me swear, though something loath;
I'm apt to be discursive in my style,
But pray be patient: yet a little while
Will change me, and as politicians do
I'll mend my manners and my measures too.

Of all the cities, and I've seen no few—
For I have travelled, friend, as well as you,—
I don't remember one, upon my soul,
But take it generally upon the whole,
(As Members say they like their logic taken
Because divided it may chance be shaken)
So pat, agreeable, and vastly proper
As this for a neat, frisky counter-hopper;
Here he may revel to his heart's content,
Flounce like a fish in his own element,
Toss back his fine curls from his forehead fair
And hop o'er counters with a Vestris air,
Complete at night what he began A.M.
And having cheated ladies, dance with them;
For at a ball what fair one can escape
The pretty little hand that sold her tape,
Or who so cold, so callous to refuse
The youth who cut the ribbon for her shoes!

У Боба восемь таких сторон!
Возьмусь я, посмеявшись иль поплавав,
Вердикт присяжных будет одинаков.
Пока мне лезть и злость не по плечу,
Обняв обоих греков,—поворчу.

— На что же будешь ты ворчать, приятель?
Героя притчи описать не кстати ль?

— Ах, сэр, едва не ускользнула нить!
Но, черт возьми, зачем народ дразнить?
Зачем, раскланиваясь постоянно,
По улицам гуляет обезьяна?
Читатель, брань случайную прости!
Давно ли шимпанзе у нас в чести?
(О нет, мы главного не упустили,
Быть нелогичными не в нашем стиле:
Меняясь, как политик, на ходу,
Я к правильному выводу приду!)

Друзья, вы много ездили по свету,
Я сам топтал порядком землю эту,
Перевидал немало городов
И клясться хоть на библии готов,
Что в общем (мы же на Конгресс не ропщем
За аргументы, принятые в общем),
Так вот, уютней в мире нет лагун,
Где всякий расторопный попрыгун
Коленца б мог выделявать лихие,
Сновать, как рыба в собственной стихии.
Или, рулоны кружев подхватив,
Скакать через прилавки под мотив
Прославленных Вестри, а вечерами
К обсчитанной галантерейно даме
Лететь на бал и предлагать ей тур!
Из выставляемых кандидатур
Судьба всех милостивей к претенденту,
Отмерившему вам тесьму и ленту.

One of these fish, par excellence the beau,
 God help me, it has been my lot to know,
 At least by sight, for I'm a timid man
 And always keep from laughing when I can;
 But speak to him, he'll make you such grimace,
 Lord! to be grave exceeds the power of face.
 The hearts of all the ladies are with him,
 Their bright eyes on his Tom and Jerry brim
 And dove-tailed coat, obtained at cost; while then
 Those eyes won't turn on anything like men.

His very voice is musical delight,
 His form once seen becomes a part of sight,
 In short his shirt-collar, his look, his tone is
 The "beau ideal" fancied for Adonis.
 Philosophers have often held dispute
 As to the seat of thought in man and brute,
 For that the power of thought attend the latter
 My friend, the beau, hath made a settled matter,
 And spite all dogmas current in all ages,
 One settled fact is better than ten sages.

For he does think, although I'm oft in doubt
 If I can tell exactly what about.
 Ah yes! his little foot and ancle trim,
 'Tis there the seat of reason lies in him;
 A wise philosopher would shake his head,
 He then, of course, must shake his foot instead.
 At me in vengeance shall that foot be shaken—
 Another proof of thought, I'm not mistaken—
 Because to his cat's eyes I hold a glass
 And let him see himself a proper ass?
 I think he'll take this likeness to himself,
 But if he won't *he shall*, the stupid elf,
 And lest the guessing throw the fool in fits,
 I close the portrait with the name of *Pitts*.

(1825?)

Не пренебрег и нашим городком
Такой герой-любовник,— незнаком
Я, к счастью, с ним, но видел эту прелесть:
От корчей, от ужимок сводит челюсть!
Его бегу (в душе я страшный трус)—
Вдруг не сдержусь и прысну — вот конфуз!
Безмерна власть его над женским полом:
Кто ж, фраком опьяняя короткополом
С раздвоенным, как у чижа, хвостом,
Захочет на мужчин смотреть потом?

А черный шелк цилиндра франтовского? —
Он частью стал пейзажа городского.
Ни дать, ни взять Адонис во плоти! —
Воротнички, воздушные почти,
А голос создан для небесных арий.
Спор о наличьи разума у тварей,
Неразрешимый философский спор
Бесповоротно разрешен с тех пор,
Как был рассмотрен новый наш знакомый:
Мы данный факт считаем аксиомой.

Нам Истина важней ученых схем!
Вопроса нет, он мыслит. Только чем?
Готов с любым философом правдивым
Я голову ломать над этим дивом.
Философ, ты не понял ничего —
Упрятан в пятку разум у него!
Подумаю — душа уходит в пятки!
Не приведи господь сыграть с ним в прятки:
Как пнет для правоты моих же слов!
Я перед величайшим из ослов,
Как зеркало, стихи раскрою эти,
И дабы в недвусмысленном портрете
Себя узнал тупица из тупиц,
Внизу проставлю имя: *Роберт Пинтс*.

(1988)

Перевод Р. Дубровкина

51. TO MARGARET

Who hath seduced thee to this foul revolt
From the pure well of Beauty undefiled?
So banished from true wisdom to prefer
Such squalid wit to honourable rhyme?
To write? To scribble? Nonsense and no more?
I will not write upon this argument
To write is human—not to write divine.

(1827)

52. TO OCTAVIA

When wit, and wine, and friends have met
And laughter crowns the festive hour
In vain I struggle to forget
Still does my heart confess thy power
And fondly turn to thee!

But Octavia, do not strive to rob
My heart, of all that soothes its pain
The mournful hope that every throb
Will make it break for thee!

(1827)

53. IMITATION

A dark unfathom'd tide
Of interminable pride—
A mystery, and a dream,
Should my early life seem;
I say that dream was fraught

51. МАРГАРЕТ

Что побудило, Маргарет, тебя
Отречься от служенья Красоте?
Источник чистой мудрости презреть,
Поэзию оставить ради скверны?
Писать — нелепость? Рифмовать — абсурд?
Что ж, я не буду. Ежели писать —
Удел людей, молчать — удел богов.

(1988)

Перевод Р. Дубровкина

52. ОКТАВИИ

Когда друзей веселых круг
Веселье и вино венчали,
Тебя, единственный мой друг,
Не мог я позабыть в печали,
Я сердцем был с тобой.

Октавия, не обкради
Едва утешенное сердце! —
Пусть разрывается в груди
Надежда жить тобой!

(1988)

Перевод Р. Дубровкина

53. ИМИТАЦИЯ

Сумрак неизмеримый
Гордости неукротимой,
Тайна, да сон, да бред:
Это — жизнь моих ранних лет.
Этот сон всегда был тревожим

With a wild, and waking thought
Of beings that have been,
Which my spirit hath not seen.
Had I let them pass me by,
With a dreaming eye!
Let none of earth inherit
That vision of my spirit;
Those thoughts I would controul,
As a spell upon his soul:
For that bright hope at last
And that light time have past,
And my worldly rest hath gone
With a sigh as it pass'd on:
I care not tho' it perish
With a thought I then did cherish.

(1827)

54. ALONE

From childhood's hour I have not been
As others were—I have not seen
As others saw—I could not bring
My passions from a common spring—
From the same source I have not taken
My sorrow—I could not awaken
My heart to joy at the same tone—
And all I lov'd—I lov'd alone—
Then—in my childhood—in the dawn
Of a most stormy life—was drawn
From ev'ry depth of good and ill
The mystery which binds me still—
From the torrent, or the fountain—
From the red cliff of the mountain—
From the sun that 'round me roll'd
In its autumn tint of gold—

Чем-то диким, на мысль похожим
Существ, что были в былом.
Но разум, окованный сном,
Не знал, предо мной прошли ли,
Тени неведомой были.
Да не примет никто в дар наследий
Видений, встававших в бреде,
Что я тщетно старался стряхнуть,
Что, как чара, давили грудь!
Оправдались надежды едва ли;
Все же те времена миновали,
Но навек я утратил покой
На земле, чтоб дышать тоской.
Что ж, пусть канет он дымом летучим.
Лишь бы с бредом, чем я был мучим!

(1924)

Перевод В. Брюсова

54. ОДИН

Иначе, чем другие дети,
Я чувствовал и все на свете,
Хотя совсем еще был мал,
По-своему воспринимал.
Мне даже душу омрачали
Иные думы и печали,
Ни чувств, ни мыслей дорогих
Не занимал я у других.
То, чем я жил, ценил не каждый.
Всегда один. И вот однажды
Из тайников добра и зла
Природа тайну извлекла,—
Из грядущих дней безумных,
Из камней на речках шумных,
Из сиянья над сквозной
Предосенней желтизной,

From the lightning in the sky
 As it pass'd me flying by—
 From the thunder, and the storm—
 And the cloud that took the form
 (When the rest of Heaven was blue)
 Of a demon in my view—

(1829)

55. TO ISAAC LEA

It was my choice or chance or curse
 To adopt the cause for better or worse
 And with my worldly goods and wit
 And soul and body worship it.

(1829)

56. ELIZABETH

Elizabeth—it surely is most fit
 (Logic and common usage so commanding)
 In thy own book that *first* thy name be writ,
 Zeno and other sages notwithstanding;
 And *I* have other reasons for so doing
 Besides my innate love of contradiction;
 Each poet—if a poet—in pursuing
 The muses thro' their bowers of Truth or Fiction,
 Has studied very little of his part,
 Read nothing, written less—in short's a fool
 Endued with neither soul, nor sense, nor art,
 Being ignorant of one important rule,

Из раскатов бури гневной,
Из лазури в час полдневный,
Где, тускла и тяжела,
Туча с запада плыла,
Набухала, приближалась —
В демона преобразалась.

(1988)

Перевод Р. Дубровкина

55. АЙЗЕКУ ЛИ

Добро свершилось или зло,
Бог весть, но это ремесло
Я посчитал своим уделом,
Служа ему душой и телом.

(1988)

Перевод Р. Дубровкина

56. ЭЛИЗАБЕТ Р. ХЕРРИНГ

Элизабет, коль *первым* имя это,
Листая твой альбом, увидят там,
Иной педант начнет корить поэта
За сочиненье вирш по пустякам.

А зря!.. Хотя и фокус строки эти,
Бранить меня за них причины нет:
Едва ли был когда-нибудь на свете
Таких забав не любящий поэт.

Размером трудным мысли излагает
Художник не по прихоти своей —
Ему игра созвучий помогает
Раскрыть себя в творении полней.

Employed in even the theses of the school—
 Called—I forget the heathenish Greek name—
 (Called any thing, its meaning is the same)
 “Always write *first* things uppermost in the heart.”

(1829)

57. AN ACROSTIC

Elizabeth it is in vain you say
 “Love not”—thou sayest it in so sweet a way:
 In vain those words from thee or L. E. L.
 Zantippe’s talents had enforced so well:
 Ah! if that language from thy heart arise,
 Breathe it less gently forth—and veil thine eyes.
 Endymion, recollect, when Luna tried
 To cure his love—was cured of all beside—
 His folly—pride—and passion—for he died.

(1829?)

58. LINES ON JOE LOCKE

As for Locke, he’s all in my eye,
 May the d——l right soon for his soul call.
 He never was known to lie—
 In bed at a *reveille* “roll call.”

John Locke was a notable name;
 Joe Locke is a greater; in short,
 The former was well known to fame,
 But the latter’s well known “to report.”

(1830-1831)

Раз у него есть дар, его работа
Известным с детства правилом жива:
«Не может в стих облечься то, чего ты
Глубоко в сердце не обрел *сперва*».

(1976)

Перевод Ю. Корнеева

57. АКРОСТИХ

Элизабет, не мучь меня напрасно:
Любовь мою ты гонишь слишком страстно,
Играя роль Ксантиппы по примеру
Забытой поэтессы, злой не в меру.
Ах, не смотри так нежно, так влюбленно! —
Боюсь я участи Эндимиона:
Его Селена от любви лечила
Так пылко, что от жизни отучила.

(1988)

Перевод Р. Дубровкина

58. СТРОКИ ДЖОЗЕФУ ЛОККУ

Когда его черт приберет? —
Вошло у педанта в привычку
Выскакивать вечно вперед
На утреннюю перекличку.

Он выше для тысяч людей,
Чем однофамилец-философ:
Тот — гений по части идей,
А этот — по части доносов.

(1988) *Перевод Р. Дубровкина*

59. INTRODUCTION

Romance, who loves to nod and sing,
With drowsy head and folded wing,
Among the green leaves as they shake
Far down within some shadowy lake,
To me a painted paroquet
Hath been—a most familiar bird—
Taught me my alphabet to say—
To lisp my very earliest word
While in the wild-wood I did lie
A child—with a most knowing eye.

Succeeding years, too wild for a song,
Then roll'd like tropic storms along,
Where, tho' the garish lights that fly
Dying along the troubled sky,
Lay bare, thro' vistas thunder-riven,
The blackness of the general Heaven,
That very blackness yet doth fling
Light on the lightning's silver wing.

For, being an idle boy lang syne,
Who read Anacreon, and drank wine,
I early found Anacreon rhymes
Were almost passionate sometimes—
And by strange alchemy of brain
His pleasures always turn'd to pain—
His naivete to wild desire—
His wit to love—his wine to fire—
And so, being young and dipt in folly
I fell in love with melancholy,
And used to throw my earthly rest
And quiet all away in jest—
I could not love except where Death
Was mingling his with Beauty's breath—
Or Hymen, Time, and Destiny
Were stalking between her and me.

59. ВСТУПЛЕНИЕ

Покачивая головою,
Маша крылами надо мною,
В тени ветвей над озерцом,
Поросшим тихим тростником,
Как попугай, и день за днем,
Романс учил меня азам.
На мягких травах я лежал —
И немладенческим глазам,
Младенец, верить начинал —
И вслед за ним залепетал.

Настало время — не для пенья.
Миров кровавое кипенье,
Тропически-кричащий свет
На небе исполинских бед
Взошел — и годы, как пустыни,
Объял кромешный мрак гордыни —
И только молнии зигзаг
Терзал порой всеобщий мрак.

Анакреоном упоен,
Я пил вино и пел, как он, —
И слышал Страсти холодок
В согласии холодных строк;
И — маг, алхимик, чародей —
Он счастье делал все больней,
Все невозможней, все желанней
В реторхе пламенных мечтаний, —
И Меланхолию одну
Я возлюбил в мою весну,
Отверг Доступное и — вместо
Покоя — впал в безумье жеста,
Любовь — мой вечный идеал —
С дыханьем Смерти повенчал;
Рок, Время, Узы Гименея —
Все пропасть между мной и ею.

O, then the eternal Condor years
So shook the very Heavens on high,
With tumult as they thunder'd by;
I had no time for idle cares,
Thro' gazing on the unquiet sky!
Or if an hour with calmer wing
Its down did on my spirit fling,
That little hour with lyre and rhyme
To while away—*forbidden thing!*
My heart half fear'd to be a crime
Unless it trembled with the string.

But *now* my soul hath too much room—
Gone are the glory and the gloom—
The black hath mellow'd into grey.
And all the fires are fading away.

My draught of passion hath been deep—
I revell'd, and I now would sleep—
And after-drunkenness of soul
Succeeds the glory of the bowl—
An idle longing night and day
To dream my very life away.

But dreams—of those who dream as I,
Aspiringly, are damned, and die:
Yet should I swear I mean alone,
By notes so very shrilly blown,
To break upon Time's monotone,
While yet my vapid joy and grief
Are tintless of the yellow leaf—
Why not an imp the greybeard hath,
Will shake his shadow in my path—
And even the greybeard will o'erlook
Connivingly my dreaming-book.

(1829-1831)

Но годы Кондорами в небе
Кружили — и грозил полет
Грозами гулкими невзгод, —
И мне глядеть не выпал жребий
На безмятежный небосвод.
И если на крылах Покоя
Парит мгновение иное
И рифмы с лирой перезвон
Порой овладевает мною,
Преступно было б — если б он
Проникся краткой тишиною!

Лишь ныне — для души простор:
Пропала страсть, погас костер;
Что было черным, стало серым;
Конец и славе и химерам!
Бунтарь, я проклял тишину!
Теперь безропотно усну.
Я жаждал страсти понапрасну —
Я успокоюсь и погасну,
Избуду жизнь мою во сне;
Не пир — похмелье любо мне.

Но прокляты, обречены
И безысходны сами сны.
Лишь мимолетная пора
Прикосновения пера
К бумаге — в Завтра и Вчера
Разнообразие вносит. Но
И этого не суждено:
Рисунок строк давно исчез —
И лишь седобородый бес,
На миг раскрыв тетрадку снов,
Прочтет ее — и был таков.

(1988)

Перевод В. Топорова

60. FAIRY LAND

Sit down beside me, Isabel,
Here, dearest, where the moonbeam fell
Just now so fairy-like and well.
Now thou art dress'd for paradise!
I am star-stricken with thine eyes!
My soul is lolling on thy sighs!
Thy hair is lifted by the moon
Like flowers by the low breath of June!
Sit down, sit down—how came we here?
Or is it all but a dream, my dear?

You know that most enormous flower—
That rose—that what d'ye call it—that hung
Up like a dog-star in this bower—
To-day (the wind blew, and) it swung
So impudently in my face,
So like a thing alive you know,
I tore it from its pride of place
And shook it into pieces—so
Be all ingratitude required.
The winds ran off with it delighted,
And, thro' the opening left, as soon
As she threw off her cloak, you moon
Has sent a ray down with a tune.

And this ray is a *fairy* ray—
Did you not say so, Isabel?
How fantastically it fell
With a spiral twist and a swell,
And over the wet grass rippled away
With a tinkling like a bell!
In my own country all the way
We can discover a moon ray
Which thro' some tatter'd curtain pries
Into the darkness of a room,
Is by (the very source of gloom)

60. СТРАНА ФЕЙ

Сядь, Изабель, сядь близ меня,
Где лунный луч скользит, играя,
Волшебней и прекрасней дня.
Вот — твой наряд достоин рая!
Двузвездьем глаз твоих я пьян!
Душе твой вздох как небо дан!
Тебе взвил кудри отблеск лунный,
Как ветерок цветы в июне.
Сядь здесь! — Кто нас привел к луне?
Иль, дорогая, мы во сне?

Огромный был цветок в саду
(Для вас он роза) — на звезду
В созвездьи Пса похож; колеблем
Полночным ветром, дерзко стеблем
Меня хлестнул он, что есть сил,
Живому существу подобен,
Так, что, невольно гневно-зlobен,
Цветок надменный я сломил —
Неблагодарности отмстил, —
И лепестки взвил ветер бурный,
Но в небе вдруг, в просвет лазурный
Взошла из облаков луна,
Всегда гармонии полна.

Есть волшебство в луче том
(Ты поклялась мне в этом!)
Как фантастичен он, —
Спирален, удлинен;
Дробясь в ковре зеленом,
Он травы полнит звоном.
У нас все знать должны,
Что бледный луч луны,
Пройдя в щель занавески,
Рисуя арабески,

The motes, and dust, and flies,
On which it trembles and lies
Like joy upon sorrow!
O, *when* will come the morrow?
Isabel! do you not fear
The night and the wonders here?
Dim vales! and shadowy floods!
And cloudy-looking woods
Whose forms we can't discover
For the tears that drip all over!

Huge moons—see! wax and wane
Again—again—again—
Every moment of the night—
Forever changing places!
How they put out the starlight
With the breath from their pale faces!

Lo! one is coming down
With its centre on the crown
Of a mountain's eminence!
Down—still down—and down—
Now deep shall be—O deep!
The passion of our sleep!
For that wide circumference
In easy drapery falls
Drowsily over halls—
Over ruin'd walls—
Over waterfalls,
(Silent waterfalls!)
O'er the strange woods—o'er the sea—
Alas! over the sea!

(1829-1831)

И в сердце темноты
Горя в любой пылинке,
Как в мошке, как в росинке,—
Сон счастья с высоты!

Когда ж наступит день?
Ночь, Изабель, и тень
Страшны, полны чудес,
И тучевидный лес,
Чьи формы брезжут странно
В слепых слезах тумана.
Бессмертных лун череда—
Всегда—всегда—всегда,—
Меня мутно вид,
Ущерб на диск,—бежит,
Бежит,—улыбкой бледной
Свет звезд гася победно.

Одна по небосклону
Нисходит—на корону
Горы к ее престолу
Центр клонит—долу—долу,—
Как будто в этот срок
Наш сон глубок—глубок!
Туман огромной сферы,
Как некий плащ без меры,
Спадает вглубь долин,—
На выступы руин,—
На скалы,—водопады,—
(Безмолвные каскады!)—
На странность слов—о горе!—
На море, ах, на море!

(1924)

Перевод В. Брюсова

61. THE VALLEY NIS

Far away—far away—
Far away—as far at least
Lies that valley as the day
Down within the golden east—
All things lovely—are not they
Far away—far away?

It is called the valley Nis.
And a Syriac tale there is
Thereabout which Time hath said
Shall not be interpreted.
Something about Satan's dart—
Something about angel wings—
Much about a broken heart—
All about unhappy things:
But "the valley Nis" at best
Means "the valley of unrest."

Once it smiled a silent dell
Where the people did not dwell,
Having gone unto the wars—
And the sly mysterious stars,
With a visage full of meaning,
O'er the unguarded flowers were leaning:
Or the sun ray dripp'd all red
Thro' the tulips overhead,
Then grew paler as it fell
On the quiet Asphodel.

Now the *unhappy* shall confess
Nothing there is motionless:
Helen, like thy human eye
There th' uneasy violets lie—
There the reedy grass doth wave
Over the old forgotten grave—
One by one from the tree top

61. ДОЛИНА НИСА

Так далеко, так далеко,
Что конца не видит око,
Дол простерт живым ковром
На Востоке золотом.
То, что там ласкает око,
Все далеко, ах, далеко!

Этот дол — долина Ниса.
Миф о доле сохранился
Меж сирийцев (темен он:
Смысл веками охранен);
Миф — о дроте Сатаны,
Миф — о крыльях Серафимов,
О сердцах, тоской дробимых,
О скорбях, что суждены,
Ибо кратко — «Нис», а длинно —
«Беспокойная долина».

Прежде мирный дол здесь был,
Где никто, никто не жил.
Люди на войну ушли;
Звезды с хитрыми очами,
Лики с мудрыми лучами,
Тайну трав здесь берегли;
Ими солнца луч, багрян,
Дмился, приласкав тюльпан,
Но потом лучи белели
В колыбели асфodelей.

Кто несчастен, знает ныне:
Нет покоя в той долине!
Елена! Как твои глаза,
Фиалки смотрят в небеса;
И над могилой тучных трав
Роняют стебли сок отрав;
За каплей капля, вдоль ствола

There the eternal dews do drop—
 There the vague and dreamy trees
 Do roll like seas in northern breeze
 Around the stormy Hebrides—
 There the gorgeous clouds do fly,
 Rustling everlastingly,
 Through the terror-stricken sky,
 Rolling like a waterfall
 O'er th' horizon's fiery wall—
 There the moon doth shine by night
 With a most unsteady light—
 There the sun doth reel by day
 "Over the hills and far away."

(1831)

62. A PAEAN

How shall the burial rite be read?
 The solemn song be sung?
 The requiem for the loveliest dead,
 That ever died so young?

Her friends are gazing on her,
 And on her gaudy bier,
 And weep!—oh! to dishonor
 Her beauty with a tear!

They loved her for her wealth—
 And they hated her for her pride—
 But she grew in feeble health,
 And they *love* her—that she died.

They tell me (while they speak
 Of her "costly broider'd pall")

Сползает едкая смола;
Деревья мрачны и усталы,
Дрожат, как волны, встретя шквалы,
Как волны у седых Гебрид;
И облаков покров скользит
По небу, объятому страхом;
И ветры вопль ведут над прахом,
И рушат тучи, как каскады,
Над изгородью дымов ада;
Пугает ночью серп луны
Неверным светом с вышины,
И солнце днем дрожит в тоске
По всем холмам и вдалеке.

(1924)

Перевод В. Брюсова

62. ПЭАН

Как реквием читать — о смех! —
Как петь нам гимн святой!
Той, что была прекрасней всех
И самой молодой!

Друзья глядят, как на мечту,
В гробу на лик святой,
И шепчут: «О! Как красоту
Бесчестить нам слезой?»

Они любили прелесть в ней,
Но гордость кляли вслух.
Настала смерть. Они сильнее
Любить посмели вдруг.

Мне говорят (а между тем
Болтает вся семья),

That my voice is growing weak—
That I should not sing at all—

Or that my tone should be
Tun'd to such solemn song
So mournfully—so mournfully,
That the dead may feel no wrong.

But she is gone above,
With young Hope at her side,
And I am drunk with love
Of the dead, who is my bride.

Of the dead—dead—who lies
All motionless,
With the death upon her eyes,
And the life upon each tress.

Thus on the coffin loud and long
I strike—the murmur sent
Through the grey chambers to my song
Shall be the accompaniment.

In June she died—in June
Of life—beloved, and fair;
But she did not die too soon,
Nor with too calm an air.

From more than fiends on earth,
Helen, thy soul is riven,
To join the all-hallowed mirth
Of more than thrones in heaven—

Therefore, to thee this night
I will no requiem raise,
But waft thee on thy flight,
With a Pæan of old days.

(1831-1836)

Что голос мой ослаб совсем,
Что петь не должен я

И что мой голос, полн былым,
Быть должен, в лад скорбей,
Столь горестным—столь горестным,—
Что тяжело станет ей.

Она пошла за небосклон,
Надежду увела;
Я все ж любовью опьянен
К той, кто моей была!

К той, кто лежит—прах лучших грез,
Еще прекрасный прах!
Жизнь в золоте ее волос,
Но смерть, но смерть в очах.

Я в гроб стучусь—упорно бью,
И стуки те звучат
Везде, везде!—и песнь мою
Сопровождают в лад.

В Июне дней ты умерла,
Прекрасной слишком?—Нет!
Не слишком рано ты ушла,
И гимн мой буйно спет.

Не только от земли отторг
Тебя тот край чудес:
Ты видишь больше, чем восторг
Пред тронами небес!

Петь реквием я не хочу
В такую ночь,—о нет!
Но твой полет я облегчу
Пэаном древних лет!

(1924)

Перевод В. Брюсова

63. TO——

I would not lord it o'er thy heart
 Alas! I cannot rule my own,
 Nor would I rob one loyal thought,
 From him who there should reign alone;
 We both have found a life-long love;
 Wherein our weary souls may rest,
 Yet may we not, my gentle friend
 Be each to each the *second best*?

A love which shall be passion-free,
 Fondness as pure as it is sweet,
 A bond where all the dearest ties
 Of brother, man and *cousin* meet,—
 Such is the union I would frame,
 That thus we might be doubly blest,
 With Love to rule our hearts supreme
 And Friendship to be *second best*.

(1845)

64. THE DIVINE RIGHT OF KINGS

The only king by right divine
 Is Ellen King, and were she mine
 I'd strive for liberty no more
 But hug the glorious chains I wore.

Her bosom is an ivory throne,
 Where tyrant virtue reigns alone;
 No subject vice dare interfere,
 To check the power that governs here.

O! would she deign to rule my fate,
 I'd worship Kings and kingly state,

63. К ***

Ни приказать, ни воспретить
Я сердцу твоему не в силах,
Монарха выбрав одного
Из тысячи монархов милых.
У тихой пристани любви
Приют нашли мы безопасный,
Но неужели, добрый друг,
На меньшее мы не согласны?

Любовь без губительных страстей,
Привязанность, где чувство свято,
Где пламя нежности мужской
Хранимо преданностью брата.
Мы будем счастливы вдвойне,
Любви закон единовластный
Душевной дружбой подкрепив,—
На меньшее мы не согласны!

(1988)

Перевод Р. Дубровкина

64. НЕТ КОРОЛЕЙ ГОСПОДНЕЙ ВЛАСТЬЮ

Нет королей господней властью,
Но Элен исключенье, к счастью,—
Служа такому королю,
Я сами цепи полюблю!

Из кости выстроен слоновой
Престол, где правит деспот новый,
И не осмелится порок
Державный преступить порог.

Ах, Элен, за твои объятия
Монаршью власть готов признать я,

And hold this maxim all life long,
The King—*my* King—can do no wrong.

(1845)

65. STANZAS

(TO F.S.O.)

Lady! I would that verse of mine
 Could fling, all lavishly and free,
Prophetic tones from every line,
 Of health, joy, peace, in store for thee.

Thine should be length of happy days.
 Enduring joys and fleeting cares,
Virtues that challenge envy's praise,
 By rivals loved, and mourned by heirs.

Thy life's free course should ever roam
 Beyond this bounded earthly clime,
No billow breaking into foam
 Upon the rock-girt shore of Time.

The gladness of a gentle heart,
 Pure as the wishes breathed in prayer,
Which has in others' joys a part,
 While in its own all others share.

The fullness of a cultured mind,
 Stored with the wealth of bard and sage,
Which Error's glitter cannot blind,
 Lustrous in youth, undimmed in age;

The grandeur of a guileless soul,
 With wisdom, virtue, feeling fraught,

Бунтарский усмиряя нрав:
Король не может быть неправ!

(1988)

Перевод Р. Дубровкина

65. СТАНСЫ

Звеня пророческой строкой,
Мой стих небесной сини просит:
Здоровье, счастье и покой
Тебе на крыльях он приносит.

Перед тобою долгий век —
Высоких радостей свидетель —
Завидных дней забвенный бег,
Где незабвенна добродетель.

От скуки дольней охранит
Скала небес твой путь счастливый,—
Не разобьются о гранит
Седого Времени приливы.

Твой выбор будет прозорлив —
Живи мечтами дорогими! —
Чужую радость разделив,
Своею поделись с другими.

Столетиям мудрости живой
Внимая с тонким наслажденьем,
Смотри, чтоб ясный разум твой
Не омрачился Заблужденьем.

Лукавством тайным не греша,
Вобрав величье всей вселенной,

Gliding serenely to its goal,
 Beneath the eternal sky of Thought:—
 These should be thine, to guard and shield,
 And this the life thy spirit live,
 Blest with all bliss that earth can yield,
 Bright with all hopes that Heaven can give.

(1845)

66. TO MISS LOUISE OLIVIA HUNTER

Though I turn, I fly not—
 I cannot depart;
 I would try, but try not
 To release my heart.
 And my hopes are dying
 While, on dreams relying,
 I am spelled by art.

Thus the bright snake coiling
 'Neath the forest tree
 Wins the bird, beguiling
 To come down and see:
 Like that bird the lover
 Round his fate will hover
 Till the blow is over
 And he sinks—like me.

(1847)

67. LINES ON ALE

Fill with mingled cream and amber,
 I will drain that glass again.

Скользит свободная душа
Под знаком Мудрости нетленной.

Веленьем неба и земли
Так призван жить мыслитель гордый—
От низменных страстей вдали,
В мечтах упорный, в целях твердый.

(1988)

Перевод Р. Дубровкина

66. МИСС ЛУИЗЕ ОЛИВИИ ХАНТЕР

Прочь бегу, но знаю:
От себя бегу.
Тщетно заклинаю
Отпустить слугу.
Как в цепях, тоскую,
Силу колдовскую
Сбросить не могу.

Так в древесной чаще
Хитрая змея
Чешуей блестящей
Манит соловья.
Над травой зеленой
Кружит он, влюбленный,
Смертью ослепленный,—
Так погибну я.

(1988)

Перевод Р. Дубровкина

67. СТРОКИ В ЧЕСТЬ ЭЛЯ

Янтарем наполни взбитым
Запотелое стекло!—

Such hilarious visions clamber
 Through the chamber of my brain—
Quaintest thoughts—queerest fancies
 Come to life and fade away;
What care I how time advances?
 I am drinking ale today.

(1848)

По неведомым орбитам
Снова мысли повело.
Разобрать причуды хмеля
Я уже не в силах сам—
За веселой кружкой эля
Забываешь счет часам.

(1988)

Перевод Р. Дубровкина

Приложение



Русские переводы 1878 - 1988





2а. ПЕСНЯ

Я помню: ты в день брачный твой,
Как от стыда зарделась вдруг,
Хоть счастье было пред тобой,
И, весь любовь, мир цвел вокруг.

Лучистый блеск в твоих очах
 (Что ни таила ты)
Был—все, что на земле, в мечтах,
Есть выше красоты!

Быть может, девичьим стыдом
 Румянец был—как знать!—
Но пламенем он вспыхнул в том,
 Кто мог его понять,

Кто знал тебя в день брачный твой,
Когда *могла* ты вспыхнуть вдруг,
Хоть счастье было пред тобой,
И, весь любовь, мир цвел вокруг.

(1924)

Перевод В. Брюсова

3а. МЕЧТЫ

О! будь вся юность — лишь единый сон,
Так, чтобы дух проснулся, пробужден
Лучами Вечности, как мы — денницы,
Будь этот сон — страданье без границы, —
Его все ж предпочел бы, чем коснеть
В реальности, тот, кто привык терпеть,
Чье сердце было и пребудет страстно —
Мук хаосом здесь, на земле прекрасной!

Но был ли б этот, в долгой темноте
Прошедший, сон похож на грезы те,
Какими в детстве был я счастлив? — (Ибо
Небес прекрасней ждаться сны не могли бы!)
При летнем солнце я тонул в мечтах
О Красоте и о живых лучах;
Я сердце отдал, с жаром неустанным,
Моей фантазии далеким странам
И существам, что сотворил я сам...
Что, большее, могло предстать мечтам?

То было раз, — *лишь раз*, — но из сознанья
Не выйдет этот миг! — Очарованье
Иль чья-то власть гнели меня; льдяной
Во тьме дышал ли ветер надо мной,
В моем уме свой облик оставляя?
Луна ль звала, над сном моим пылая,
Холодной слишком? — звезды ль? — только тот,
Миг был как ветер ночи (да пройдет!),
Я счастлив был — пусть в грезах сна пустого!
Я счастлив был — в мечтах! — Люблю я слово
«Мечта»! В ее стоцветной ворожке,
Как в мутной, зыбкой, призрачной борьбе
С реальностью видений, той, что вещей
Бред создает, — прекраснейшие вещи

Любви и рая есть, что мне сродни,
Но чем не дарят юношества дни!

(1924)

Перевод В. Брюсова

6а. СОН ВО СНЕ

Пусть останется с тобой
Поцелуй прощальный мой!
От тебя я ухожу,
И тебе теперь скажу:
Не ошиблась ты в одном,—
Жизнь моя была лишь сном.
Но мечта, что сном жила,
Днем ли, ночью ли ушла,
Как виденье ли, как свет,
Что мне в том,—ее уж нет.
Все, что зрится, мнится мне,
Все есть только сон во сне.

Я стою на берегу,
Бурю взором стерегу.
И держу в руках своих
Горсть песчинок золотых.
Как они ласкают взгляд!
Как их мало! Как скользят
Все—меж пальцев—вниз, к волне,
К глубине—на горе мне!
Как их бег мне задержать,
Как сильнее руки сжать?
Сохранится ль хоть одна,
Или все возьмет волна?
Или то, что зримо мне,
Все есть только сон во сне?

(1901)

Перевод К. Бальмонта

8а. ГРЕЗА

Среди видений тьмы ночной
вдруг замерцало предо мной
погибшей Радости виденье,
и вдруг, сломив мой дух больной,
оно распалось чрез мгновенье.

Но разве страшен день тому,
кто всюду ловит, умиленный,
былого отблеск отдаленный,
бегущий отраженно в тьму!

О, ты, благословенный Сон,
пока весь мир гремит далекий,
я был тобою воскрешен,
о, милый свет, тобой согрет
был дух мой, вечно одинокий!

Пускай средь сумрака и туч
едва мерцал мне дальний луч,
бледней, тусклее для меня
светило Истины и дня!

(1909)

Перевод Эллиса (Л. Л. Кобылинского)

8б. СОН

В виденьях темноты ночной
Мне снились радости, что были;
Но грезы жизни, сон дневной,
Мне сжали сердце — и разбили.
О, почему не правда дня —

Сны ночи тем, чей взгляд
В лучах небесного огня
Былое видеть рад!

О сон святой! — о сон святой! —
Шум просыпался в мире тесном,

Но в жизнь я шел, ведом тобой,
 Как некий дух лучом чудесным.
 Пусть этот луч меж туч, сквозь муть,
 Трепещет иногда,—
 Что ярче озарит нам путь,
 Чем Истины звезда!

(1924)

Перевод В. Брюсова

9а. СЧАСТЛИВЕЙШИЙ ДЕНЬ

Счастливейший мой час — счастливейший мой день,
 что сердце бедное, разбитое знавало,
 надежда Гордости и Силы — точно тень —
 давно все это миновало.

Что говорю я — Силы? Да! но только той,
 что в грезах юности блестит надежд огнями,
 исчезло все давно с угасшею мечтой —
 но пусть идет вослед за днями.

А Гордость, ты, что сделаю с тобой?
 Наследья твоего достало бы на двух —
 владела полновластно ты моей душой —
 о, успокойся, бедный дух!

Счастливейший мой день — счастливейший мой час,
 мгновенья Гордости блестящей Силы — были,
 каких мой видел — больше не увидит глаз,
 о, да, я чувствую, что были:

но если б гордости, надежды силу вновь
 мне б предложили пережить с той глубиной,
 что я уж испытал тогда печальных снов, —
 я б не хотел надежды той:

когда она в красе витала надо мной,
на крыльях чувствовал ее я капли яда —
разрушен мир души упавшей каплей той —
надежде вновь она не рада.

(1895)

Перевод Е. Зета

96. СЧАСТЛИВЕЙШИЙ ДЕНЬ

Счастливейший день! — счастливейший час! —
Что сердце усталое знало!
Вы, гордые грезы! надежды на власть!
Все, все миновало.

Надежды на власть! — Да! я помню: об том
(Мне память былое приводит)
Мечтал я когда-то во сне молодом...
Но пусть их проходят!

И гордые грезы? — Теперь мне — что в них!
Пусть яд их был мною усвоен,
Но пусть он палит ныне темя других.
Мой дух! будь спокоен.

Счастливейший день! — счастливейший час! —
Что сердце усталое знало,
Вы, гордые взгляды! вы, взгляды на власть!
Все, все миновало.

Но если бы снова и взяли вы верх,
Но с бредом мученья былого, —
Вас, миги надежд, я отверг бы, отверг,
Чтоб не мучиться снова!

Летите вы с пеньем, но гибель и страх
Змеится, как отблеск, по перьям,

И каплет с них яд, сожигающий в прах
Того, кто вас принял с доверьем.

(1924)

Перевод В. Брюсова

10а. ОЗЕРО

К***

Меня, на утре жизни, влек
В просторном мире уголок,
Что я любил, любил до дна!
Была прекрасна тишина
Угрюмых вод и черных скал,
Что бор торжественный обстал.

Когда же Ночь, царица снов,
На все бросала свой покров
И ветер таинственный в тени
Роптал мелодию: усни!—
Я пробуждался вдруг мечтой
Для ужаса страны пустой.

Но этот ужас не был страх,
Был трепетный восторг в мечтах:
Не выразить его полней
За пышный блеск Голконды всей,
За дар Любви— хотя б твоей!

Но Смерть скрывалась там, в волнах
Тлетворных, был в них саркофаг—
Для всех, кто стал искать бы там
Покоя одиноким снам,
Кто скорбной грезой— мрачный край
Преобразил бы в светлый рай.

(1924)

Перевод В. Брюсова

12а. ИЗ ПОЭМЫ «АЛЬ-ААРАФ»

ГИМН НЕСЭСИ

«Дух! ты, кто в высоте,
Там, где в эфире ясном
Равно по красоте
Ужасное с прекрасным!
Где твердь завершена,
Где грань орбитам звездным,
Откуда плыть должна
Звезда назад по безднам!
Где твой предел святой,
Незримый лишь кометам,
Наказанным судьбой
За грех пред вечным светом,
Несущим пламя в даль,
Луч алый преступленья
И вечную печаль,—
Вовек без промедленья!
Мы знаем: ты—во всем!
Ты—в вечности: мы верим!
Но на челе твоём
И тень—мы чем измерим?
Друзья весны моей
Хранили убежденье,
Что вечности твоей
Мы, в малом, отраженье.
Но все, как ты решил;
Звезда моя далеко,
И путь ей меж светил
Твое казало око.
Здесь мне мечтой взнестись
К тебе, что—путь единый:
В твою святую высь
Или в твои глубины.
Твой рок мне возвещен
Фантазией священной,

Пока не станет он
Открыт для всей вселенной!»

(1924)

Перевод В. Брюсова

17а. * * *

Я не скорблю, что мой земной удел
Земного мало знал самозабвенья,
Что сон любви давнишней отлетел
Перед враждой единого мгновенья.
Скорблю я не о том, что в блеске дня
Меня счастливей нищий и убогий,
Но что жалеешь *ты*, мой друг, *меня*,
Идущего пустынною дорогой.

(1901)

Перевод К. Бальмонта

18а. ФЕЙНАЯ СТРАНА

Долы дымные — потоки
Теневые — и леса,
Что глядят как небеса,
Многооблачно-широки,
В них неверная краса,
Формы их неразличимы,
Всюду слезы, словно думы;
Луны тают и растут —
Шар огромный там и тут —
Снова луны — снова — снова —
Каждый миг поры ночной
Озаряется луной,
Ищут места все иного,
Угашают звездный свет,

В бледных ликах жизни нет,
Чуть на лунном циферблате
Знак двенадцати часов,—
Та, в которой больше снов,
Больше дымной благодати,
(Это чара в той стране,
Говорит луна луне),
Сходит ниже—сходит ниже—
На горе на верховой
Ставит шар горящий свой—
И повсюду—дальше—ближе—
В легких складках бледных снов
Расширяется покров
Над деревней, над полями,
Над чертогами, везде—
Над лесами и морями,
По земле и по воде—
И над духом, что крылами
В грезе веет—надо всем,
Что дремотствует меж тем—
Их заводит совершенно
В лабиринт своих лучей,
В тех извилах держит пленно,
И глубоко, сокровенно,
О, глубоко, меж теней,
Спит луна, и души с ней.
Утром, в свете позолоты,
Встанут, скинут страсть дремоты,
Мчится лунный их покров
В небесах, меж облаков.
В лете бурь они носимы,
Колыбелясь между гроз—
Как из жерл вулканов дымы,
Или желтый Альбатрос.
Для одной и той же цели
Та палатка, та луна
Им уж больше не нужна—
Вмиг дождями полетели

Блески-атомы тех снов,
И, меняясь, заблестели
На крылах у мотыльков,
Тех, что, будучи земными,
Улетают в небеса,
Ниспускаются цветными
(Прихоть сна владеет ими!),
Их крылами расписными
Светит вышняя краса.

(1911)

Перевод К. Бальмонта

186. СТРАНА ФЕЙ

Мгла долов — тень по кручам —
Лес, подобный тучам,
Чьи формы брезжут странно
В слепых слезах тумана.
Бессмертных лун череда, —
Всегда, — всегда, — всегда, —
Меня мутно вид,
Ущерб на диск, — бежит, —
Бежит, — улыбкой бледной
Свет звезд гася победно.

И, в полночь по луне, —
Одна, туманней всех
(Не та ль, что в вышине
Всех дольше длила бег),
Нисходит — долу — долу —
Свой центр клоня к престолу
Горы, на снег вершин,
Туман огромной сферы
Скрывает, — плащ без меры, —
Сон хижин и руин,
И лес на всем просторе,

И море,— о! и море!
Всех духов, что скользят,
Все существа, что спят,
Вбирая полно их
В лабиринт лучей своих,
Как будто в этот срок
Их сон глубокий,— глубокий!

Им вскроет день глаза,
И лунный их покров
Взлетит на небеса
С тяжелым севом гроз:
Он стал—цепь облаков
Иль желтый альбатрос,
И та же днем луна
Им больше не нужна,
Как одеянье тайны—
(Но как все чрезвычайно!)
А атомы луны
Днем в дождь разрешены;
Не их ли мотыльки,
Когда летят, легки,
В лазурь, ах! для паденья
(Вовек без достиженья),
Во образе пыльцы
Приносят образцы!

(1924)

Перевод В. Брюсова

19а. К ЕЛЕНЕ

О, Елена, твоя красота для меня—
Как Никейский челнок старых дней,
Что, к родимому краю неся и маня,
Истомленного путника мчал все нежней
Над волной благовонных морей.

По жестоким морям я блуждал, нелюдим,
 Но классический лик твой, с загадкою грез,
 С красотой гиацинтовых нежных волос,
 Весь твой облик Наяды — всю грусть, точно дым,
 Разогнал — и меня уманила Наяда
 К чарованью, что звалось — Эллада,
 И к величью, что звалось — Рим.

Вот, я вижу, я вижу тебя вдалеке,
 Ты как статуя в нише окна предо мной,
 Ты с лампадой агатовой в нежной руке,
 О, Психея, из стран, что целебны тоске
 И зовутся Святою Землей!

(1904)

Перевод К. Бальмонта

196. СТАНСЫ К ЕЛЕНЕ

Трирема легкая, по брызжущим волнам
 когда-то несшая, в лазури чистой моря,
 пловца усталого к родимым берегам:
 вот красота твоя, не знающая горя.

И я ведь был пловцом. И ты, моя Наяда,
 меня спасти от бурь мне послана судьбой.
 И золото кудрей и мрамор твой живой
 мне сделали родным забытый мир Эллады.
 и Рим, великий Рим — мне сделался родной.
 О, ты зовешь меня! Я вижу яркий свет:
 зажжен светильник твой; в твоих очах привет.
 Статуя дивная, мои мечты лелея, ты там
 стоишь в окне... О радость! о Психея
 страны, которой нет!

(1898—1911)

Перевод А. Салтыкова

19в. К ЕЛЕНЕ

Елена! Красота твоя —
Никейский челн дней отдаленных,
Что мчал меж зыбей благовонных
Бродяг, блужданьем утомленных,
В родимые края!

В морях Скорбей я был томим,
Но гиацинтовые пряди
Над бледным обликом твоим,
Твой голос, свойственный Няде,
Меня вернули к снам родным:
К прекрасной навсегда Элладе
И к твоему величью, Рим!

В окне, что светит в мрак ночной,
Как статуя, ты предо мной
Вздыхаешь лампу из агата.
Психея! край твой был когда-то
Обетованною страной!

(1924)

Перевод В. Брюсова

20а. ИЗРАФЕЛЬ

...И ангел Израфель, струны сердца
которого — лютия, и у которого из всех
созданий Бога — сладчайший голос.

Коран

На Небе есть ангел, прекрасный,
И лютия в груди у него.
Всех духов, певучестью ясной,
Нежней Израфель сладкогласный,

И, чарой охвачены властной,
Созвездья напев свой согласный
Смиряют, чтоб слушать его.

Колеблясь в истоме услады,
Пылает любовью Луна;
В подъятии вышем, она
Внимает из мглы и прохлады.
И быстрые медлят Плеяды;
Чтоб слышать тот гимн в Небесах.
Семь Звезд улетающих рады
Сдержат быстролетный размах.

И шепчут созвездья, внимая,
И сонмы влюбленных в него,
Что песня его огневая
Обязана лютне его.
Поет он, на лютне играя,
И струны живые на ней,
И бьется та песня живая
Среди необычных огней.

Но ангелы дышат в лазури,
Где мысли глубоки у всех;
Полна там воздушных утех
Любовь, возвращенная бурей;
И взоры лучистые Гурий
Исполнены той красотой,
Что чувствуем мы за звездой.

Итак, навсегда справедливо
Презренье твое, Израфель,
К напевам, лишенным порыва!
Для творчества страсть — колыбель.
Все стройно в тебе и красиво,
Живи, и прими свой венец,
О, лучший, о, мудрый певец!

Восторженность чувств иступленных
 Пылающим ритмам под стать.
Под музыку звуков, сплетенных
Из дум Израфеля бессонных,
Под звон этих струн полнозвонных
 И звездам отрадно молчать.

Все Небо твое, все блаженство.
 Наш мир — мир восторгов и бед,
Расцвет наш есть только расцвет.
И тень твоего совершенства
 Для нас ослепительный свет.
Когда Израфелем я был бы,
 Когда Израфель был бы мной,
Он песни такой не сложил бы
 Безумной — печали земной.
И звуки, смелее, чем эти,
Значительней в звучном завете,
Возникли бы, в пламенном свете,
 Над всею небесной страной.

(1901)

Перевод К. Бальмонта

206. ИЗРАФЕЛИ

...И ангел Израфели, чье сердце —
лютня и чей голос — нежней, чем голо-
са всех других созданий бога.

Коран

Есть дух небесных келий,
«Чье сердце — лютни стон».
Нигде в мирах не пели
Нежней, чем Израфели;
Все звезды онемели,

Молчали, в сладком хмеле,
Едва запел им он.

Греза в высоте,
Вся любви полна,
Покраснев, луна
Звуки те
Ловит через темь;
Быстрые Плеяды
(Коиx было семь)
С ней полны услады.

И шепчут, в сладком хмеле,
Хор звезд, все духи в мире,
Что сила Израфели —
В его напевной лире;
И он вверяет струнам,
Всегда живым и юным,
Чудесный гимн в эфире.

Но ангел — гость лазури,
Где строй раздумий — строг,
Любовь — предвечный бог;
И взоры светлых Гурий
Полны той красотой,
Что светит нам — звездой.

Да, там, в лазури ясной,
Ты прав, о Израфели,
Презрев напев бесстрастный.
Наш лавр, бард светлокудрый,
Прими, как самый мудрый!
Живи среди веселий!

С экстазами эфира
Твои согласны звуки.
Страсть, радость, скорбь и муки —
Слиты с палящей лирой.
Молчите, духи мира!

Лазурь — твоя! у нас
Тоска, несовершенство;
Здесь розы, — не алмаз;
Тень твоего блаженства
Наш самый яркий час.

Когда б я жил,
Где Израфели,
Он, — где мне Рок судил,
Быть может, струны б не звенели
Его мелодией веселий,
Но смелей бы полетели
Звуки струн моих до области светил.

(1924)

Перевод В. Брюсова

21а. УСНУВШАЯ

В июньские ночи я во власти мистической луны: из ее золотистого облика изливается одуряющий, густой и влажный пар и, медленно сочась, капля за каплей, на тихие вершины гор, стекает с баюкающей музыкой по мировой равнине. Розмарин склонился над могилой, трепещет вервена среди пустыни, окутывая в ветерок свой стебель, развалины складываются на покой; смотрите, озеро, словно Лета, как будто наслаждается сознательным сном и ни за что на свете не проснется. Вся Красота уснула; покоится со своими Судьбами и Ирена, открыв навстречу небу свое окно.

О, очаровательная женщина! Хорошо ли, что открыто ночью твое окно? Резвые ветерки шаловливо спускаются с вершины дерева сквозь твой решетчатый ставень; бесплотных духов волшебные рои порхают снаружи и внутри твоего покоя и так сильно и резко колеблют покровы балдахина над бахромой твоих сомкнутых век, за которыми укрылась во сне твоя душа, что по всему полу и вверху по стенам словно призраки взбираются и спускаются тени. О, возлюбленная!

Неужели тебе не страшно? Что видишь ты сейчас во сне? Ведь ты приплыла из-за далеких морей, ты—чудо для деревьев этого сада. Им чужда твоя бледность, чужд твой наряд! И чужды также твои длинные волосы и вся эта торжественная тишина!

Она спит! О, если бы ее непрерывающийся сон мог быть все так же глубок! Да хранит ее небо под своей священной защитой. Придав более святой вид ее спальне, более меланхолической дремоты ее ложу, я прошу Бога, чтобы вечно покоилась она и не открылись ее очи, пока блуждают тени по затемненным складкам.

Моя возлюбленная спит! Да будет сон ее так же глубок, как он непрерывен. Пусть черви осторожно ползают вокруг нее! Далеко в темном старом лесу пусть для нее откроется высокий склеп,—какой-нибудь склеп, который уж не раз смыкал черные крылья своих победоносно развевающихся сетей над обшитыми гербами покровами, на похоронах ее знатной родни; какая-нибудь тесная, уединенная гробница, в двери которой в молодости она, часто забавляясь, бросала камешки; какой-нибудь надгробный камень пусть завалит снаружи звучную дверь, из которой она уж никогда не вызовет отголосков, содрогаясь даже при мысли об этом, бедное дитя греха! Что это смерть стонет там внутри...

(1909)

Перевод Н. Г-ского

216. СПЯЩАЯ

В Июне, в полночь, в мгле сквозной,
Я был под странною луной.
Пар усыпительный, росистый,
Дышал от чаши золотистой,
За каплей капля, шел в простор,
На высоту спокойных гор,
Скользил, как музыка без слова,

В глубины дола мирового.
Спит на могиле розмарин,
Спит лилия речных глубин;
Ночной туман прильнул к руине!
И глянь! там озеро в ложбине,
Как бы сознательно дремля,
Заснуло, спит. Вся спит земля.
Спит Красота!— С дремотой слита
(Ее окно в простор открыто)
Ирэна, с нею Сúdeб свита.

О, неги дочь! тут как помочь?
Зачем окно открыто в ночь?
Здесь ветерки, с вершин древесных,
О чарах шепчут неизвестных—
Волшебный строй, бесплотный рой,
Скользит по комнате ночной,
Волнуя занавес красиво—
И страшно так—и прихотливо—
Над сжатой бахромой ресниц,
Что над душой склонились ниц,
А на стенах, как ряд видений,
Трепещут занавеса тени.

Тебя тревоги не гнетут?
О чем и как ты гредишь тут?
Побыв за дальними морями,
Ты здесь, среди дерев, с цветами.
Ты странной бледности полна.
Наряд твой странен. Ты одна.
Странней всего, превыше грез,
Длина твоих густых волос.
И все объято тишиною
Под той торжественной луною.

Спит красота! На долгий срок
Пусть будет сон ее глубок!
Молю я Бога, что над нами,

Да с нераскрытыми очами,
Она здесь вековечно спит,
Меж тем как рой теней скользит,
И духи в саванах из дыма
Идут, дрожа, проходят мимо.

Любовь моя, ты спишь. Усни
На долги дни, на вечны дни!
Пусть мягко червь мелькнет в тени!
В лесу, в той чаще темноокой,
Пусть свод откроется высокий,
Он много раз здесь был открыт,
Принять родных ее меж плит —
Да дремлет там в глуши пустынной,
Да примет склеп ее старинный,
Чью столь узорчатую дверь
Не потревожить уж теперь —
Куда не раз, рукой ребенка,
Бросала камни — камень звонко,
Сбегая вниз, металл будил,
И долгий отклик находил,
Как будто там, в смертельной дали,
Скорбя, усопшие рыдали.

(1911)

Перевод К. Бальмонта

21в. СПЯЩАЯ

То было полночью, в Июне,
В дни чарованья полнолуний;
И усыпляюще-росистый
Шел пар от чаши золотистой,
За каплей капля, ниспадал
На мирные вершины скал
И музыкально, и беспечно
Струился по долине вечной.

Вдыхала розмарин могила;
На водах лилия почила;
Туманом окружая грудь,
Руина жаждала — уснуть;
Как Лета (видишь?) дремлют воды,
Сознательно, в тиши природы,
Чтоб не проснуться годы, годы!
Вкусила красота покой...
Раскрыв окно на мир ночной,
Айрина спит с своей Судьбой.

Прекрасная! о, почему
Окно открыто в ночь и тьму?
Напев насмешливый, с ракич,
Смеясь, к тебе в окно скользит,—
Бесплотный рой, колдуний рой
И здесь, и там, и над тобой;
Они качают торопливо,
То прихотливо, то пугливо,
Закрытый, с бахромой, альков,
Где ты вкусила негу снов;
И вдоль стены, и на полу
Трепещет тень, смущая мглу.
Ты не проснешься? не ужаснешься?
Каким ты грезам отдаешься?
Ты приплыла ль из-за морей
Дивиться зелени полей?
Наряд твой странен! Ты бледна!
Но как твоя коса пышна!
Как величава тишина!

Айрина спит. О если б сон
Глубок мог быть, как долгод он!
Храни, о небо, этот сон!
Да будет святость в этой спальне!
Нет ложа на земле печальней.
О боже, помоги же ей

Не открывать своих очей,
Пока скользит рой злых теней.

Моя Любовь, спи! Если б сон
Стал вечным так, как долог он!
Червь, не тревожь, вползая, сон!
Пусть где-то в роще, древней, темной,
Над ней восстанет свод огромный,
Свод черной и глухой гробницы,
Что раскрывал, как крылья птицы,
Торжественно врата свои
Над трауром ее семьи,—
Далекий, одинокий вход,
Та дверь, в какую, без забот,
Метала камни ты, ребенком,—
Дверь склепа, с отголоском звонким,
Чье эхо не разбудишь вновь
(Дитя греха! моя любовь!),
Дрожа, заслыша долгий звон:
Не мертвых ли то слышен стон?

(1924)

Перевод В. Брюсова

22а. ДОЛИНА ТРЕВОГИ

Когда-то здесь был ясный дол,
Откуда весь народ ушел.
Он удалился на войну
И поручил свою страну
Вниманью звезд сторожевых,
Чтоб ночью, с башен голубых,
С своей лазурной высоты,
Они глядели на цветы,
Среди которых целый день
Сверкала, медля, светотень.
Теперь же кто бы ни пришел,

Увидит, как тревожен дол.
Нет без движенья ничего,
За исключением одного:
Лишь ветры дремлют пеленой
Над зачарованной страной.
Не ветром движутся стволы,
Что полны зыбью, как валы
Вокруг Гебридских островов.
И не движением ветров
Гонимы тучи здесь и там,
По беспокойным Небесам.
С утра до вечера, как дым,
Несутся с шорохом глухим,
Над тьмой фиалок роковых,
Что смотрят сонмом глаз людских,
Над снегом лилий, что, как сон,
Хранят могилы без имен,
Хранят, и взор свой не смежат,
И вечно плачут и дрожат.
С их ароматного цветка
Бежит роса, бежит века,
И слезы с тонких их стеблей—
Как дождь сверкающих камней.

(1901)

Перевод К. Бальмонта

226. БЕСПОКОЙНАЯ ДОЛИНА

Прежде мирный дол здесь был,
Где никто, никто не жил;
Люди на войну ушли,
Звездам вверив волю пашен,
Чтоб в ночи, с лазурных башен,
Тайну трав те стерегли.
Где, лениво скрыт в тюльпаны,
Днем спал солнца луч багряный.

Видит каждый путник *ныне*:
Нет покоя в той пустыне.
Все — в движеньи, все — дрожит,
Кроме воздуха, что спит
Над магической пустыней.

Здесь ветра нет; но в дрожи лес,
Волна волне бежит в разрез,
Как в море у седых Гебрид.
А! ветра нет, но вдаль бежит
Туч грозовых строй в тверди странной,
С утра до ночи, — непрестанно,
Над сонмом фиалок, что стремят
В высь лики, словно женский взгляд,
И лилий, что дрожат, сплетясь
У плит могил в живую вязь,
Дрожат, — и с куп их, что слеза,
По каплям, вниз течет роса;
Дрожат; — что слезы, вниз, меж тем,
Спадают капли крупных гемм.

(1924)

Перевод В. Брюсова

23а. ГОРОД НА МОРЕ

Здесь Смерть себе воздвигла трон,
Здесь город, призрачный, как сон,
Стоит в уединеньи странном,
Вдали на Западе туманном,
Где добрый, злой, и лучший, и злодей
Прияли сон — забвение страстей.
Здесь храмы и дворцы и башни,
Изъеденные силой дней,
В своей недвижности всегдашней,
В нагроможденности теней,
Ничем на наши не похожи.

Кругом, где ветер не дохнет,
В своем невозмутимом ложе,
Застыла гладь угрюмых вод.

Над этим городом печальным,
В ночь безысходную его,
Не вспыхнет луч на Небе дальном.
Лишь с моря, тускло и мертво,
Вдоль башен бледный свет струится,
Меж капищ, меж дворцов змеится,
Вдоль стен, пронзивших небосклон,
Бегущих в высь, как Вавилон,
Среди изваянных беседок,
Среди растений из камней,
Среди видений бывших дней,
Совсем забытых напоследок,
Средь полных смутной мглой беседок,
Где сетью мраморной горят
Фиалки, плющ и виноград.

Не отражая небосвод,
Застыла гладь угрюмых вод.
И тени башен пали вниз,
И тени с башнями слились,
Как будто вдруг, и те, и те,
Они повисли в пустоте.
Меж тем как с башни— мрачный вид!—
Смерть исполинская глядит.

Зияет сумрак смутных снов
Разверстых капищ и гробов,
С горящей, в уровень, водой;
Но блеск убранства золотой
На опочивших мертвечах,
И бриллианты, что звездой
Горят у идолов в глазах,
Не могут выманить волны
Из этой водной тишины.

Хотя бы только зыбь прошла
По гладкой плоскости стекла,
Хотя бы ветер чуть дохнул
И дрожью влагу шевельнул.
Но нет намека, что вдали,
Там где-то дышат корабли,
Намека нет на зыбь морей,
Не страшных ясностью своей.
Но чу! Возникла дрожь в волне!
Пронесся ропот в вышине!
Как будто башни, вдруг осев,
Разъяли в море сонный зев,—
Как будто их верхи, впотьмах,
Пробел родили в Небесах.
Краснее зыбь морских валов,
Слабей дыхание Часов.
И в час, когда, стенья в волне,
Сойдет тот город к глубине,
Прияв его в свою тюрьму,
Восстанет Ад, качая тьму,
И весь поклонится ему.

(1901)

Перевод К. Бальмонта

236. ГОРОД НА МОРЕ

Смотри! Смерть там воздвигла трон,
Где странный город погружен,
На дымном Западе, в свой сон.
Где добрый и злой, герой и злодей
Давно сошли в страну теней.
Дворцы, палаты, башни там
(Ряд, чуждых дрожи, мшистых башен)
Так чужды нашим городам!
Не тронет ветер с моря — пашен;
И воды, в забытьи немом,
Покоятся печальным сном.

Луч солнца со святых высот
Там ночи долгой не прервет;
Но тусклый блеск угрюмых вод
Струится молча в высь, на крыши
Змеится по зубцам, и выше,
По храмам,—башням,—по палатам,—
По Вавилону-сродным скатам,—
Тенистым, брошенным беседкам,—
Изваянным цветам и веткам,
Где дивных капищ ряд и ряд,
Где, фризом сплетены, висят—
Глазки,—фиалки,—виноград.

Вода, в унынии немом,
Покоится покорным сном;
С тенями слиты, башни те
Как будто виснут в пустоте;
А с башни, что уходит в твердь,
Как Исполин, в глубь смотрит Смерть.

Глубь саркофагов, капищ вход
Зияют над мерцаньем вод;
Но все сокровища дворцов,
Глаза алмазные богов,
И пышный мертвецов убор—
Волны не взманят: нем простор.
И дрожь, увы! не шелохнет
Стеклянную поверхность вод.
Кто скажет: есть моря счастливей,
Где вихри буйствуют в порыве,
Что бури есть над глубиной
Не столь чудовищно немой!

Но что же! Воздух задрожал!
Встает волна,—поднялся вал!
Как будто, канув в глубину,
Те башни двинули волну,
Как будто крыши на лету

Создали в небе пустоту!
 Теперь на водах — отблеск алый,—
 Часы — бессильны и усталы,—
 Когда ж под грозный гул во тьму,
 Во глубь, во глубь, весь город канет,—
 С бесчестных тронов ад восстанет,
 С приветствием ему!

(1924)

Перевод В. Брюсова

24а. К ОДНОЙ ИЗ ТЕХ, КОТОРЫЕ В РАЮ

В тебе я видел счастье
 Во всех моих скорбях,
 Как луч среди ненастья,
 Как остров на волнах,
 Цветы, любовь, участие
 Цвели в твоих глазах.

Тот сон был слишком нежен,
 И я расстался с ним.
 И черный мрак безбрежен.
 Мне шепчут Дни: «Спешим!»
 Но дух мой безнадежен,
 Безмолвен, недвижим.

О, как туманна бездна
 Навек погибших дней!
 И дух мой бесполезно
 Лежит, дрожит над ней,
 Лазурь небес беззвездна,
 И нет, и нет огней.

Сады надежд безмолвны,
 Им больше не цвести,
 Печально плещут волны

«Прости — прости — прости»,
Сады надежд безмолвны,
Мне некуда идти.

И дни мои — томленье,
И ночью все мечты
Из тьмы уединенья
Спешат туда, где — ты,
Воздушное виденье
Нездешней красоты!

(1895)

Перевод К. Бальмонта

246. ОДНОЙ В РАЮ

В твоём все было взоре,
О чем грустят мечты:
Была ты — остров в море,
Алтарь во храме — ты,
Цветы в лесном просторе,
И все — мои цветы!

Но сон был слишком нежен
И длиться он не мог,
Конец был неизбежен!
Зов будущего строг:
«Вперед!» — но дух, мятежен,
Над сном, что был так нежен,
Ждет — медлит — изнемог.

Увы! — вся жизнь — в тумане,
Не будет больше нег.
«Навек, — навек, — навек!»
(Так волны в океане
Поют, свершая бег).
Орел, убит, не встанет,
Дуб срублен, дровосек!

Все дни мои — как сказки,
И снами ночь живет:
Твои мне блещут глазки,
Твой легкий шаг поет,—
В какой эфирной пляске
У итальянских вод.

Ты в даль морей пространных
Плывешь, меня забыв,
Для радостей обманных,
Для грез, чей облик лжив,
От наших стран туманных,
От серебристых ив.

(1924)

Перевод В. Брюсова

25а. ГИМН

Зарей,— днем,— в вечера глухие,—
Мой гимн ты слышала, Мария!
В добре и зле, в беде и счастье,
Целенье мне — твое участие!
Когда часы огнем светали,
И облака не тмили далей,
Чтоб не блуждать как пилигрим,
Я шел к тебе, я шел к твоим.
Вот бури Рока рушат явно
Мое «теперь», мое «недавно»,
Но «завтра», веруют мечты,
Разгонят мрак — твои и ты!

(1924)

Перевод В. Брюсова

27а. КОЛИЗЕЙ

Прообраз Рима древнего! Святыня,
Роскошный знак высоких созерцаний,
Оставленный для Времени веками
Похороненной пышности и власти.
О, наконец, чрез столько-столько дней
Различных странствий, жажды ненасытной,
(Той жажды, что искала родников
Скрытых знаний, здесь, в тебе лежащих),
Смирненным измененным человеком,
Склоняюсь я теперь перед тобой,
Среди твоих теней, и упиваюсь,
Душой своей души, в твоем величьи,
В твоей печали, пышности, и славе.

Обширность! Древность! Память неких дней!
Молчание! И Ночь! И Безутешность!
Я с вами — я вас вижу в вашей славе —
О, чары, достовернее тех чар,
Что были скрыты садом Гефсиманским, —
Властней тех чар, что, с тихих звезд струясь,
Возникли над Халдеем восхищенным!

Где пал герой, колонна упадает!
Где вился золотой орел, там в полночь —
Сторожевой полет летучей мыши!
Где Римские матроны развлекали
По ветру сеть волос позолоченных,
Теперь там развлекаются волчцы!
Где, развалясь на золотом престоле,
Сидел монарх, теперь, как привиденье,
Под сумрачным лучом луны двурогой,
В свой каменистый дом, храня молчанье,
Проскальзывает ящерица скал!

Но подожди! ужели эти стены —
И эти своды в сетке из плюща —

И эти полустершиеся глыбы—
И эти почерневшие столбы—
И призрачные эти архитравы—
И эти обвалившиеся фризы—
И этот мрак—развалины—обломки—
И эти камни—горе! эти камни
Седые—неужели это все,
Что едкие Мгновенья пощадили
Из прежнего величия и славы,
Храня их для Судьбы и для меня?

«Не все—мне вторят Отклики—не все.
Пророческие звуки возникают
Навеки, громким голосом, из нас,
И от Развалин к мудрому стремятся,
Как звучный голос от Мемнона к Солнцу.
Мы властвуем сердцами самых сильных,
Влиянием своим самодержавным
Блюдаем все исполинские умы.
Нет, не бессильны сумрачные камни.
Не вся от нас исчезла наша власть,
Не вся волшебность светлой нашей славы—
Не все нас окружающие чары—
Не все в нас затаившиеся тайны—
Не все воспоминанья, что, над нами
Замедлив, облекли нас навсегда
В покров того, что более, чем слава».

(1901)

Перевод К. Бальмонта

276. КОЛИСЕЙ

Лик Рима древнего! Ковчег богатый
Высоких созерцаний, Временам
Завещанных веками слав и силы!
Вот совершилось!—После стольких дней

Скитаний тяжких и палящей жажды—
(Жажды ключей познания, что в тебе!)
Склоняюсь я, унижен, изменен,
Среди твоих теней, вбирая в душу
Твое величие, славу и печаль.

Безмерность! Древность! Память о былом!
Молчанье! Безутешность! Ночь глухая!
Вас ныне чувствую,— вас, в вашей силе!—
Нет, в Гефсимании царь Иудейский
Столь правым чарам не учил век!
У мирных звезд халдей обвороченный
Столь властных чар не вырывал век!

Где пал герой, здесь падает колонна!
Где золотой орел блистал в триумфе,
Здесь шабаш ночью правит нетопырь!
Где римских дам позолоченный волос
Качался с ветром, здесь— полынь, волчцы!
Где золотой вздымался трон монарха,
Скользит, как призрак, в мраморный свой дом,
Озарена лучом луны двурогой,
Безмолвно, быстро ящерица скал.

Но нет! те стены,— арки те в плюще,—
Те плиты,— грустно-черные колонны,—
Пустые глыбы,— рухнувшие фризмы,—
Карнизов ряд,— развалины,— руины,—
Те камни,— ах, седые!— это ль все,
Все, что от славы, все, что от колосса
Оставили Часы— Судьбе и мне?

«Не все,— вещает Эхо,— нет, не все!
Пророческий и мощный стон исходит
Всегда от нас, от наших глыб, и мудрым
Тот вятен стон, как гимн Мемнона к Солнцу:
Мы властны над сердцами сильных, властны
Самодержавно над душой великих.

Мы не бессильны,—мы, седые камни,—
 Не вся иссякла власть, не все величье,—
 Не вся волшебность нашей гордой славы,—
 Не вся чудесность, бывшая вокруг нас,—
 Не вся таинственность, что в нас была,—
 Не все воспоминанья, что висят
 Над нами, к нам прикинув, как одежда,
 Нас облекая в плащ, что выше Славы!»

(1924)

Перевод В. Брюсова

28а. В АЛЬБОМ

[Френсис Сарджент Осгуд]

Ты хочешь быть любимой?—Верь
 Тому пути, которым шла.
 Будь только то, что ты теперь,
 Не будь ничем, чем не была.

Так мил твой взор, так строен вид,
 Так выше всех ты красотой,
 Что не хвалить тебя—то стыд,
 Любить—лишь долг простой.

(1924)

Перевод В. Брюсова

29а. К Ф.

Любимая! меж всех уныний,
 Что вокруг меня собирает Рок
 (О, грустный путь, где среди полыни
 Вовек не расцветет цветок),
 Я все ж душой не одинок:

Мысль о тебе творит в пустыне
Эдем, в котором мир — глубок.

Так! память о тебе — и в горе
Как некий остров меж зыбей,
Волшебный остров в бурном море,
В пучине той, где на просторе
Бушуют волны, все сильней, —
Все ж небо, с благостью во взоре,
На остров льет поток лучей.

(1924)

Перевод В. Брюсова

30а. СВАДЕБНАЯ БАЛЛАДА

Обручена кольцом,
Вдыхая ладан синий,
С гирляндой над лицом,
В алмазах, под венцом, —
Не счастлива ль я ныне!

Мой муж в меня влюблен...
Но помню вечер синий,
Когда мне клялся он:
Как похоронный звон
Звучала речь, как стон
Того, кто пал, сражен, —
Того, кто счастлив ныне.

Смягчил он горечь слез
Моих в тот вечер синий;
Меня (не бред ли грез?)
На кладбище отнес,
Где мертвецу, меж роз,
Шепнула я вопрос:
«Не счастлива ль я ныне?»

Я поклялась в ответ
 Ему, в тот вечер синий.
 Пусть мне надежды нет,
 Пусть веры в сердце нет,
 Вот — апельсинный цвет:
 Не счастлива ль я ныне?

О, будь мне суждено
 Длитель сон и вечер синий!
 Все ужасом полно
 Пред тем, что свершено.
 О! тот, кто мертв давно,
 Не будет счастлив ныне!

(1924)

Перевод В. Брюсова

31а. ЗАНТЕ

Прекрасный остров! Лучший из цветов
 Тебе свое дал нежное название.
 Как много ослепительных часов
 Ты будишь в глубине воспоминанья!
 Как много снов, чей умер яркий свет,
 Как много дум, надежд похороненных!
 Видений той, которой больше нет,
 Нет больше на твоих зеленых склонах!

Нет больше! скорбный звук, чье волшебство
 Меняет все. За этой тишиною
Нет больше чар! Отныне предо мною
 Ты проклят средь расцвета своего!
 О, гиацинтный остров! Алый Занте!
 «Isola d'oro! Fior di Levante!»

(1901)

Перевод К. Бальмонта

316. К ЗАНТЕ

Прелестный остров! с лучшим из цветков
ты разделяешь нежное название.
О, сколько светлых, солнечных часов
ты пробудил в моем воспоминаньи!
Какого счастья дивного расцвет!
Как много грез, навеки погребенных!
И образ той, которой больше нет,
нет больше на берегах твоих зеленых!
Нет больше, и увы! конец всему
с магически печальными словами!
Конец очарованью твоему!
Проклятье над цветущими лугами!
О, перл земли, край гиацинтов, Занте!
«Isola d'oro! Fior di Levante!»

(1895)

Перевод Н. Новича

31в. К ЗАНТЕ

Ты взял, прекрасный остров, меж цветов
Нежнейшее из всех названий нежных!
Как много будит пламенных часов
В мечтаньях вид холмов твоих прибрежных!
Как много сцен — каких блаженств былых,
Как много грез — надежд похороненных,
И ликой той, что не мелькнет на склонах,
Вовек не промелькнет в лесах твоих.
«Вовек!» — о звук магически-печальный,
Все изменяющий! и ты — вовек
Не будешь мил, о, остров погребальный!
Клянусь цветы вдоль тихоструйных рек,
Край гиацинтовый! пурпурный Занте!
Isola d'oro! Fior di Levante!

(1924)

Перевод В. Брюсова

32а. ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЗАМОК

В самой зеленой из наших долин,
Где обиталище духов добра,
Некогда замок стоял властелин,
Кажется, высился только вчера.
Там он вздымался, где Ум молодой
Был самодержцем своим.
Нет, никогда над такой красотой
Не раскрывал своих крыл Серафим!

Бились знамена, горя, как огни,
Как золотое сверкая руно.
(Все это было — в минувшие дни,
Все это было давно.)
Полный воздушных своих перемен,
В нежном сиянии дня,
Ветер душистый вдоль призрачных стен
Вился, крылатый, чуть слышно звеня.

Путники, странствуя в области той,
Видели в два огневые окна
Духов, идущих певучей четой,
Духов, которым звучала струна,
Вкруг того трона, где высился он,
Багрянородный герой,
Славой, достойной его, окружен,
Царь над волшебною этой страной,

Вся в жемчугах и рубинах была
Пышная дверь золотого дворца,
В дверь все плыла и плыла и плыла,
Искрясь, горя без конца,
Армия Откликов, долг чей святой
Был только — славить его,
Петь, с поражающей слух красотой,
Мудрость и силу царя своего.

Но злые созданья, в одеждах печали,
 Напали на дивную область царя.
 (О, плачьте, о, плачьте! Над тем, кто в опале,
 Ни завтра, ни после не вспыхнет заря!)
 И вокруг его дома та слава, что прежде
 Жила и цвела в обаяньи лучей,
 Живет лишь как стон панихиды надежде,
 Как память едва воспоминаемых дней.

И путники видят, в том крае туманном,
 Сквозь окна, залитые красною мглой,
 Огромные формы, в движении странном,
 Диктуемом дико звучащей струной.
 Меж тем как, противные, быстрой рекою
 Сквозь бледную дверь, за которой Беда,
 Выносятся тени и шумной толпою,
 Забывши улыбку, хохочут всегда.

(1901)

Перевод К. Бальмонта

326. НЕПОКОЙНЫЙ ЗАМОК

В той долине изумрудной,
 Где лишь ангелы скользят,
 Замок дивный, замок чудный
 Вырос — много лет назад!
 Дух Царицы Мысли веял
 В царстве том.
 Серафим вовек не реял
 Над прекраснейшим дворцом!

Там на башне,— пурпур, злато,—
 Гордо вились знамена.
 (Это было — все — когда-то,
 Ах, в былые времена!)
 Каждый ветра вздох, чуть внятный

В тихом сне,
Мчался дальше, ароматный,
По украшенной стене.

В той долине идеальной
Путник в окна различал
Духов, в пляске музыкальной
Обходивших круглый зал,
Мысли трон Порфиородной,—
А Она
Пела с лютней благородной
Гимн, лучом озарена.

Лаллом, жемчугом горела
Дверь прекрасного дворца:
Сквозь — все пело, пело, пело
Эхо гимна без конца;
Пело, слава без границы,
Эхо, ты —
Мудрость вещую Царицы,
В звуках дивной красоты.

Но, одеты власяницей,
Беды вторглись во дворец.
(Плачьте! — солнце над Царицей
Не затеплит свой венец!)
И над замком чудным, славным,
В царстве том,
Память лишь о стародавнем,
Слух неясный о былом.

В той долине путник ныне
В красных окнах видит строй
Диких призраков пустыни,
В пляске спутанно-слепой,
А сквозь двери сонм бессвязный,
Суетясь,

Рвется буйный, безобразный,
Хохоча,— но не смеясь!

(1924) *Перевод В. Брюсова*

33а. МОЛЧАНИЕ

Есть свойства, бестелесные явления,
С двойною жизнью; тип их с давних лет,—
Та двойственность, что поражает зренью:
То—тьнь и сущность, вещество и свет.

Есть два молчанья; берега́ и море,
Душа и тело. Властвует одно
В тиши. Спокойно нежное, оно
Воспоминаний и познания́ горе

Таит в себе, и «больше никогда»
Зовут его. Телесное молчанье,
Оно бессильно, не страшись вреда!

Но если встретишь эльфа без названья,—
Молчанья тень, в пустынях без следа,
Где человек не должен ставить ногу,

Знай: все покончено! предайся богу!

(1924) *Перевод В. Брюсова*

34а. ЧЕРВЬ-ПОБЕДИТЕЛЬ

Во тьме безутешной—блистающий праздник,
Огнями волшебный театр озарен;
Сидят серафимы, в покровах, и плачут,
И каждый печалью глубокой смущен.

Трепещут крылами и смотрят на сцену,
Надежда и ужас проходят, как сон;
И звуки оркестра в тревоге вздыхают,
Заоблачной музыки слышится стон.

Имея подобие Господа Бога,
Снуют скоморохи туда и сюда;
Ничтожные куклы, приходят, уходят,
О чем-то бормочут, ворчат иногда.
Над ними нависли огромные тени,
Со сцены они не уйдут никуда,
И крыльями Кондора веют бесшумно,
С тех крыльев незримо слетает — Беда!

Мишурные лица! — Но знаешь, ты знаешь,
Причудливой пьесе забвения нет.
Безумцы за Призраком гонятся жадно,
Но Призрак скользит, как блуждающий свет.
Бежит он по кругу, чтоб снова вернуться
В исходную точку, в святилище бед;
И много Безумия в драме ужасной,
И Грех в ней завязка, и Счастья в ней нет.

Но что это там? Между гаеров пестрых
Какая-то красная форма ползет,
Оттуда, где сцена окутана мраком!
То червь, — скоморохам он гибель несет.
Он корчится! — корчится! — гнусною пастью
Испуганных гаеров алчно грызет,
И ангелы стонут, и червь искаженный
Багряную кровь ненасытно сосет.

Потухли огни, догорело сиянье!
Над каждой фигурой, дрожащей, немой,
Как саван зловещий, крутится завеса,
И падает вниз, как порыв грозовой —
И ангелы, с мест поднимаясь, бледнеют,

Они утверждают, объятые тьмой,
Что эта трагедия Жизнью зовется,
Что Червь-Победитель — той драмы герой!

(1901)

Перевод К. Бальмонта

346. ЧЕРВЬ ПОБЕДИТЕЛЬ

Смотри! огни во мраке блещут
(О, ночь последних лет!).
В театре ангелы трепещут,
Глядя из тьмы на свет,
Следя в слезах за пантомимой
Надежд и вечных бед.
Как стон, звучит оркестр незримый:
То — музыка планет.

Акторов сонм, — подобье бога, —
Бормочет, говорит,
Туда, сюда летит с тревогой, —
Мир кукольный, спешит.
Безликий некто правит ими,
Меняет сцены вид,
И с кондоровых крыл, незримый,
Проклятие струит.

Нелепый фарс! — но невозможно
Не помнить мимов тех,
Что гонятся за Тенью, с ложной
Надеждой на успех,
Что, обегая круг напрасный,
Идут назад, под смех!
В нем ужас царствует, в нем властны
Безумие и Грех.

Но что за образ, весь кровавый,
 Меж мимами ползет?
 За сцену тянутся суставы,
 Он движется вперед,
 Все дальше,— дальше,— пожирая
 Играющих, и вот
 Театр рыдает, созерцая
 В крови ужасный рот.

Но гаснет, гаснет свет упорный!
 Над трепетной толпой
 Вниз занавес спадает черный,
 Как буря роковой.
 И ангелы, бледны и прямы,
 Кричат, плащ скинув свой,
 Что «Человек» — название драмы,
 Что «Червь» — ее герой!

(1924)

Перевод В. Брюсова

35а. ЛИНОР

О, сломан кубок золотой! душа ушла навек!
 Скорби о той, чей дух святой — среди Стигийских рек.
 Гюи де Вир! Где весь твой мир? Склони свой темный взор:
 Там гроб стоит, в гробу лежит твоя любовь, Линор!
 Пусть горький голос панихид для всех звучит бедой,
 Пусть слышим мы, как нам псалмы поют в тоске святой,
 О той, что дважды умерла, скончавшись молодой.

«Лжецы! Вы были перед ней — двуликий хор теней.
 «И над больной ваш дух ночной шепнул: Умри скорей!
 «Так как же *может* гимн скорбеть и стройно петь о той,
 «Кто вашим глазом был убит и вашей клеветой,
 «О той, что дважды умерла, невинно-молодой?»

Rescavimus; но не тревожь напева похорон,
 Чтоб дух отшедший той мольбой с землей был примирен.
 Она невестою была, и Радость в ней жила,
 Надев несвадебный убор, твоя Линор ушла.
 И ты безумствуешь в тоске, твой дух скорбит о ней,
 И свет волос ее горит, как бы огонь лучей,
 Сияет жизнь ее волос, но не ее очей.

«Подите прочь! В моей душе ни тьмы, ни скорби нет.
 «Не панихиду я пою, а песню лучших лет!
 «Пусть не звучит протяжный звон угрюмых похорон,
 «Чтоб не был светлый дух ее тем сумраком смущен.
 «От вражьих полчищ гордый дух, уйдя к друзьям, исчез,
 «Из бездны темных Адских зол в высокий мир Чудес,
 «Где золотой горит престол Властителя Небес».

(1901)

Перевод К. Бальмонта

356. ЛИНОР

Расколот золотой сосуд, и даль душе открыта!
 Лишь тело тут, а дух несут, несут струи Коцита.
 А! Ги де Вер! рыдай теперь, теперь иль никогда!
 Твоя Линор смежила взор,—в гробу, и навсегда!
 Обряд творите похорон, запойте гимн святой,
 Печальный гимн былых времен о жертве молодой,
 О той, что дважды умерла, скончавшись молодой!

«Лжецы! вы в ней любили прах, но гордость кляли в ней!
 Когда в ней стебель жизни чах, вы были с ней нежней.
 Так как же вам творить обряд, как петь вам гимн святой?
 Не ваш ли взгляд, недобрый взгляд, не вы ли клеветой
 Невинность в гроб свели навек,—о! слишком молодой!»

Rescavimus. Но наших уз не отягчай! звучит
 Пусть грустный звон, но пусть и он *ее* не огорчит.

Лиор идет,— «ушла вперед»,— с Надеждой навсегда.
Душа темна, с тобой *она* не будет никогда,—
Она, дитя прекрасных грез, что ныне тихий прах.
Жизнь веет в золоте волос, но смерть в ее очах...
Еще есть жизнь в руне волос, но только смерть в очах.

«Прочь! в эту ночь светла душа! Не плакать мне о ней!
Меж ангелов пою, спеша, пэан далеких дней.
Пусть звон молчит, пусть не смутит, в ее мечтах, вдали,
Ту, что плывет к лучам высот от проклятой земли,
К друзьям на зов, от всех врагов (и сон земной исчез)!
Из ада в высь несись, несись — к сиянию небес,
Из мглы, где стон, туда, где трон властителя небес!

(1924)

Перевод В. Брюсова

36а. СТРАНА СНОВ

По тропинке одинокой
Я вернулся из страны,
Где царит во тьме глубокой
Призрак Ночи-сатаны,
На окраине далекой,
Средь отверженных духов —
Вне пространства и веков.

Там деревья-великаны,
Облеченные в туманы,
Невидимками стоят;
Скалы темные глядят
С неба красного — в озера,
Беспредельные для взора...
Льют безмолвные ручьи
Воды мертвые свои,
Воды, сонные, немые
В реки темно-голубые.

Там, белея в тьме ночной,
Над холодной водой,
Точно спутанные змеи,
Вьются нежные лилеи.
И во всяком уголке,—
И вблизи и вдалеке,—
Где виднеются озёра,
Беспредельные для взора,—
Где, белея в тьме ночной,
Над холодной водой,
Точно спутанные змеи,
Вьются нежные лилеи,—
Возле дремлющих лесов,—
Близ плеснеющих прудов,
Полных гадов и драконов,—
Вдоль вершин и горных склонов,—
С каждым шагом на пути
Странник может там найти
В дымке белых одеяний
Тени всех Воспоминаний...
Чуть заметная на взгляд,
Дрожь колеблет их наряд;
Кто пройдет близ тени дивной,—
Слышит вздох ее призывный.
То — давнишние друзья,
Лица, некогда живые,—
Те, что Небо и Земля
Взяли в пытках агонии.

Кто, судьбой не пощажен,
Вынес бедствий легион,
Тот найдет покой желанный
В той стране обетованной.
Этот дальний, темный край
Всем печальным — чистый рай!
Но волшебную обитель
Заслонил ее Властитель
Непроглядной пеленой;

Если ж он душе больной
 Разрешит в нее пробраться,—
 Ей придется любоваться
 Всем, что некогда цело—
 В закопченное стекло.

По тропинке одинокой
 Я вернулся из страны,
 Где царит во тьме глубокой
 Призрак Ночи-сатаны,
 На окраине далекой,
 Среди отверженных духов,—
 Вне пространства и веков.

(1878)

Перевод С. Андреевского

366. СТРАНА СНОВ

Дорогой темной, нелюдимой,
 Лишь злыми духами хранимой,
 Где некий черный трон стоит,
 Где некий Идол, Ночь царит,
 До этих мест, в недавний миг,
 Из крайней Фуле я достиг,
 Из той страны, где вечно сны, где чар высоких
 постоянство,
 Вне Времени— и вне Пространства.

Бездонные долины, безбрежные потоки,
 Провалы и пещеры, Гигантские леса,
 Их сумрачные формы— как смутные намеки,
 Никто не различит их, на всем дрожит роса.
 Возвышенные горы, стремящиеся вечно
 Обрушиться, сквозь воздух, в моря без берегов,
 Течения морские, что жаждут бесконечно
 Взметнуться ввысь, к пожару горящих облаков.

Озера, беспредельность просторов полноводных,
Немая бесконечность пустынных мертвых вод,
Затишье вод пустынных, безмолвных и холодных,
Со снегом спящих лилий, сомкнутых в хоровод.

Близ озерных затонов, меж далей полноводных,
Близ этих одиноких печальных мертвых вод,
Близ этих вод пустынных, печальных и холодных,
Со снегом спящих лилий, сомкнутых в хоровод,—
Близ гор,— близ рек, что вьются, как водные аллеи,
И ропщут еле слышно, журчат — журчат всегда,—
Вблизи седого леса,— вблизи болот, где змеи,
Где только змеи, жабы, да ржавая вода,—
Вблизи прудков зловещих и темных ям с водою,
Где притаились Ведьмы, что возлюбили мглу,—
Вблизи всех мест проклятых, насыщенных бедою,
О, в самом нечестивом и горестном углу,—
Там путник, ужаснувшись, встречает пред собою
Закутанные в саван видения теней,
Встающие внезапно воздушною толпою,
Вспоминанья бывших невозвратимых Дней.
Все в белое одеты, они проходят мимо,
И вздрогнут, и, вздохнувши, спешат к седым лесам,
Виденья отошедших, что стали тенью дыма,
И преданы, с рыданьем, Земле — и Небесам.

Для сердца, чьи страданья — столикая громада,
Для духа, что печалью и мглою окружен,
Здесь тихая обитель, — услада, — Эльдорадо, —
Лишь здесь изнеможенный с собою примирен.
Но путник, проходящий по этим дивным странам,
Не может — и не смеет открыто видеть их,
Их таинства навеки окутаны туманом,
Они полусокрыты от слабых глаз людских.
Так хочет их Властитель, навеки возбранивший
Приоткрывать ресницы и поднимать чело,
И каждый дух печальный, в пределы их вступивший,
Их может только видеть сквозь дымное стекло.

Дорогой темной, нелюдимою,
 Лишь злыми духами хранимой,
 Где некий черный трон стоит,
 Где некий Идол, Ночь царит,
 Из крайних мест, в недавний миг,
 Я дома своего достиг.

(1901)

Перевод К. Бальмонта

36в. СТРАНА СНОВ

Тропой темной, одинокой,
 Где лишь духов блещет око,
 Там, где ночью черный трон
 (Этим Идолом) взнесен,
 Я достиг, недавно, сонный,
 Граней Фуле отдаленной,
 И божественной, и странной, дикой области, взнесенной
 Вне Пространств и вне Времен.

Бездонный дол, безмерности потока,
 Пещеры, бездны, странные леса;
 На облики, каких не знало око,
 Что миг, то каплет едкая роса.

Горы рушатся всечасно
 В океан без берегов,
 Что валы вздымает властно
 До горящих облаков.

Озер просторы, странно полноводных,
 Безмерность вод,— и мертвых, и холодных,
 Недвижность вод,— застывших в мгле бессилий
 Под снегом наклоненных лилий.

Там близ озер, безмерно полноводных,
 Близ мертвых вод,— и мертвых, и холодных,—
 Близ тихих вод, застывших в мгле бессилий

Под снегом наклоненных лилий,—
Там близ гор,—близ рек, бегущих,
Тихо льющих, век поющих;—
Близ лесов и близ болот,
Где лишь водный гад живет;
Близ прудов и близ озер,
Где колдуний блещет взор;
В каждом месте погребальном,
В каждом уголку печальном,
Встретит, в ужасе немом,
Путник—Думы о былом,—
Формы, в саванах уньных,
Формы в белом, тени милых,
Что идут со стоном там,
В агонии, предаваясь и Земле и Небесам!

Для сердец, чья скорбь безмерна,
Это—край услады верной,
Для умов, что сумрак Ада
Знают, это—Эль-Дорадо!
Но, в стране теней скользя,
Обозреть ее—нельзя!
Тайн ее вовек, вовек
Не познает человек;
Царь ее не разрешит,
Чтоб был смертный взор открыт;
Чье б скорбное Сознание там ни шло,
Оно все видит в дымное стекло.

Тропкой темной, одинокой,
Где лишь духов блещет око,
Из страны, где Ночью—трон
(Этим Идолом) взнесен,
Я вернулся, утомленный,
С граней Фуле отдаленной.

(1924)

Перевод В. Брюсова

37а. ЛЕЛЛИ

Исполнен упрека,
Я жил одиноко,
В затоне моих утомительных дней,
Пока белокурая нежная Лелли не стала стыдливой невестой
моей,
Пока златокудрая юная Лелли не стала счастливой
невестой моей.

Созвездия ночи
Темнее, чем очи
Красавицы-девушки, милой моей.
И свет бестелесный
Вкруг тучки небесной
От ласково-лунных жемчужных лучей
Не может сравниться с волною небрежной ее золотистых
воздушных кудрей,
С волною кудрей светлоглазой и скромной невесты-
красавицы, Лелли моей.

Теперь привиденья
Печали, Сомненья
Боятся помедлить у наших дверей.
И в небе высокоом
Блистательным оком
Астарта горит все светлей и светлей.
И к ней обращает прекрасная Лелли сиянье своих
материнских очей,
Всегда обращает к ней юная Лелли фиалки своих
безмятежных очей.

(1901)

Перевод К. Бальмонта

376. НЕЛЛИ

Я жил одиноко
в печали глубокой
с душой океана мрачней,
пока не назвал я красавицу Нелли
стыдливой невестой своей,
пока не назвал златокудрую Нелли
я радостью жизни моей.

Ах! звезды полночи
не ярче, чем очи
прелестной малютки моей,
и блеск перламутра
румяного утра,
и золото первых лучей—
ничто не сравнится с окутавшей Нелли
волной золотистых кудрей,
с волною небрежно откинутых Нелли
на детские плечи кудрей.

Теперь ни волненья,
ни муки сомненья
не смеют мрачить моих дней.
Весь день надо мною
сияет звездой
богиня блаженства,— и к ней
весь день устремляет красавица Нелли
фиалки лазурных очей;
все время не сводит с нее моя Нелли
сияющих счастьем очей.

(1894—1911)

Перевод Н. Новича

37в. ЮЛЭЛЕЙ

Я жил один,
 В стране кручин
 (В душе был озерный покой).
 Но нежная стала Юлэлей моей стыдливой женой,
 Златокудрая стала Юлэлей моей счастливой женой!

Темней, ах, темней
 Звезды ночей,
 Чем очи любимицы грез!
 И легкий туман,
 Луной сияя,
 С переливами перлов и роз,
 Не сравнится с небрежною прядью — скромной Юлэлей волос,
 Не сравнится с случайною прядью — огнеокой Юлэлей волос.

Сомнений и бед
 С поры этой нет,
 Ибо вместе мы с этих пор,
 И ярко днем
 Озаряет лучом
 Нам Астарта небесный простор,
 И милая взводит Юлэлей к ней материнский свой взор,
 И юная взводит Юлэлей к ней свой фиалковый взор!

(1924)

Перевод В. Брюсова

38а. ВОРОН

ПОЭМА

Когда в угрюмый час ночной,
 Однажды, бледный и больной,
 Над грудой книг работал я,
 Ко мне, в минуту забытья,

Невнятный стук дошел извне,
Как будто кто стучал ко мне,
Тихонько в дверь мою стучал—
И я, взволнованный, сказал:
«Должно быть так, наверно, так—
То поздний путник в этот мрак
Стучится в дверь, стучит ко мне
И робко просится извне
В приют жилища моего:
То гость— и больше ничего».

То было в хмуром декабре.
Стояла стужа на дворе,
В камине уголь догорал
И, потухая, обливал
Багряным светом потолок,
И я читал... но я не мог
Увлечься мудростью страниц...
В тени опущенных ресниц
Носился образ предо мной
Подруги светлой, неземной,
Чей дух средь ангельских имен
Ленорой в небе наречен,
Но здесь, исчезнув без следа,
Утратил имя— навсегда!

А шорох шелковых завес
Меня ласкал— и в мир чудес
Я, будто сонный, улетал,
И страх, мне чуждый, проникал
В мою встревоженную грудь.
Тогда, желая чем-нибудь
Биенье сердца укротить,
Я стал рассеянно твердить:
«То поздний гость стучит ко мне
И робко просится извне,
В приют жилища моего:
То гость— и больше ничего».

От звука собственных речей
Я ощутил себя храбрей
И внятно, громко произнес:
«Кого бы случай ни принес,
Кто вы, скажите, я молю,
Просящий входа в дверь мою?
Простите мне: ваш легкий стук
Имел такой неясный звук,
Что, я клянусь, казалось мне,
Я услышал его во сне».
Тогда, собрав остаток сил,
Я настежь дверь свою открыл:
Вокруг жилища моего
Был мрак — и больше ничего.

Застыв на месте, я впотьмах
Изведал снова тот же страх,
И средь полночной тишины
Передо мной витали сны,
Каких в обители земной
Не знал никто — никто живой!
Но все по-прежнему кругом
Молчало в сумраке ночном,
Лишь звук один я услышал:
«Ленора!» — кто-то прошептал...
Увы! я сам то имя звал,
И эхо нелюдимых скал
В ответ шепнуло мне его,
Тот звук — и больше ничего.

Я снова в комнату вошел,
И снова стук ко мне дошел
Сильней и резче, — и опять
Я стал тревожно повторять:
«Я убежден, уверен в том,
Что кто-то скрылся за окном.
Я должен выведать секрет,
Дознаться, прав я или нет?

Пускай лишь сердце отдохнет,—
Оно, наверное, найдет
Разгадку страха моего:
То вихрь — и больше ничего».

С тревогой штору поднял я—
И, звучно крыльями шумя,
Огромный ворон пролетел
Спокойно, медленно — и сел
Без церемоний, без затей,
Над дверью комнаты моей.
На бюст Паллады взгромоздясь,
На нем удобно поместясь,
Серьезен, холоден, угрюм,
Как будто полон важных дум,
Как будто прислан от кого,—
Он сел — и больше ничего.

И этот гость угрюмый мой
Своею строгостью немой
Улыбку вызвал у меня.
«Старинный ворон! — молвил я,—
Хоть ты без шлема и щита,
Но видно кровь твоя чиста,
Страны полуночной гонец!
Скажи мне, храбрый молодец,
Как звать тебя? Поведай мне
Свой титул в доблестной стране,
Тебя направившей сюда?»
Он каркнул: «Больше-никогда!»

Я был не мало изумлен,
Что на вопрос ответил он.
Конечно, вздорный этот крик
Мне в раны сердца не проник,
Но кто же видел из людей
Над дверью комнаты своей,
На белом бюсте, в вышине,

И на яву, а не во сне,
Такую птицу пред собой,
Чтоб речью внятною людской
Сказала имя без труда,
Назвавшись: Больше-никогда?!

Но ворон был угрюм и нем.
Он удовольствовался тем,
Что слово страшное сказал,—
Как будто в нем он исчерпал
Всю глубь души—и сверх того
Не мог добавить ничего.
Он все недвижимым пребывал,
И я рассеянно шептал:
«Мои надежды и друзья
Давно покинули меня...
Пройдут часы, исчезнет ночь—
Уйдет и он за нею прочь,
Увы, и он уйдет туда!..»
Он каркнул: «Больше никогда!»

Такой осмысленный ответ
Меня смутил. «Сомненья нет,—
Подумал я,— печали стон
Им был случайно заучен.
Ему внушил припев один
Его покойный господин.
То был несчастный человек,
Гонимый горем целый век,
Привыкший плакать и грустить,
И ворон стал за ним твердить
Слова любимые его,
Когда из сердца своего
К мечтам, погибшим без следа,
Взывал он: «Больше никогда!»

Но ворон вновь меня развлек,
И тотчас кресло я привлек

Поближе к бюсту и к дверям
Напротив ворона — и там,
В подушках бархатных своих,
Я приютился и затих,
Стараясь сердцем разгадать,
Стремясь добиться и узнать,
О чем тот ворон думать мог,
Худой, уродливый пророк,
Печальный ворон древних дней,
И что таил в душе своей,
И что сказать хотел, когда
Он каркал: «Больше никогда?»

И я прервал беседу с ним,
Отдавшись помыслам своим,
А он пронизывал меня
Глазами, полными огня —
И я над тайной роковой
Тем глубже мучился душой,
Склонившись на руку челом...
А лампа трепетным лучом
Ласкала бархат голубой,
Где след головки неземной
Еще, казалось, не остыл,
Головки той, что я любил,
И что кудрей своих сюда
Не склонит больше никогда!..

И в этот миг казалось мне,
Как будто в сонной тишине
Курился ладан из кадил,
И будто рой небесных сил
Носился в комнате без слов,
И будто вдоль моих ковров
Святой, невидимой толпы
Скользили легкие стопы...
И я с надеждою вскричал:
«Господь! Ты ангелов прислал

Меня забвеньем упоить...
О! дай Ленору мне забыть!»
Но мрачный ворон, как всегда,
Мне каркнул: «Больше никогда!»

«О, дух иль тварь, предвестник бед,
Печальный ворон древних лет!—
Воскликнул я.— Будь образ твой
Извергнут бурею ночной
Иль послан дьяволом самим,
Я вижу — ты неустрашим:
Поведай мне, молю тебя:
Дает ли жалкая земля,
Страна скорбей — дает ли нам
Она забвения бальзам?
Дождусь ли я спокойных дней,
Когда над горестью моей
Промчатся многие года?»
Он каркнул: «Больше никогда!»

И я сказал: «О, ворон злой,
Предвестник бед, мучитель мой!
Во имя правды и добра,
Скажи во имя божества,
Перед которым оба мы
Склоняем гордые главы,
Поведай горестной душе,
Скажи, дано ли будет мне
Прижать к груди, обнять в раю
Ленору светлую мою?
Увижу ль я в гробу немом
Ее на небе голубом?
Ее увижу ль я тогда?»
Он каркнул: «Больше никогда!»

И я вскричал, рассвирепев:
«Пускай же дикий твой припев
Разлуку нашу возвестит,

И пусть твой образ улетит
В страну, где призраки живут
И бури вечные режут!
Покинь мой бюст и сгинь скорей
За дверью комнаты моей!
Вернись опять ко тьме ночной!
Не смей пушинки ни одной
С печальных крыльев уронить,
Чтоб мог я ложь твою забыть!
Исчезни, ворон, без следа!..»
Он каркнул: «Больше никогда!»

Итак, храня угрюмый вид,
Тот ворон все еще сидит,
Еще сидит передо мной,
Как демон злобный и немой;
А лампа яркая, как день,
Вверху блестит, бросая тень—
Той птицы тень—вокруг меня,
И в этой тьме душа моя
Скорбит, подавлена тоской,
И в сумрак тени роковой
Любви и счастья звезда
Не глянет—больше никогда!!

(1878)

Перевод С. Андреевского

386. ВОРОН

Раз в унылую полночь, в молчаньи немом
Над истлевшим старинного тома листком
Задремав, я поник головою усталой...
Слышу в дверь мою легкий и сдержанный стук:
Верно, в комнату просится гость запоздалый...
Нет, все тихо и немо вокруг.

Тьмою вечер декабрьский в окошко зиял,
От углей потухавших свет бледный дрожал,
Тщетно в книге искал я забвенья печали
О моей незабвенной, утраченной мной,
Что архангелы в небе Ленорой назвали,
Что давно позабыта землей...

Каждый шорох чуть слышный в ночной тишине
Фантастическим страхом, неведомым мне,
Леденил мою кровь, и, чтоб сердца биенье
Успокоить, сказал я: «То в дверь мою стук
Запоздалого гостя, что ждет приглашенья...»
Но — все тихо и немо вокруг...

В этот миг, ободрившись, сказал я смелей:
«Кто там: гость или гостя за дверью моей?
Я заснул и не слышал, прошу извиненья,
Как стучали вы в дверь, слишком тих был ваш стук,
Слишком тих...» Отпер двери я в это мгновенье —
Только тьма и молчанье вокруг.

Долго взоры вперял я во мраке густом,
Полный страхом, сомненьем, и грезил о том,
Что незримо и страшно для смертного взора,
Но в молчаньи один только слышался звук —
Только вторило эхо мой шепот: «Ленора!»
И безмолвно все было вокруг.

Весь волненьем тревожным невольно объят,
Только в комнату я возвратился назад,
Слышу, стук повторился с удвоенной силой.
Что бояться? не лучше ль исследовать звук?
Это в раму стучит, верно, ветер унылый...
Все спокойно и тихо вокруг.

Я окно отворил; вот, среди тишины,
Статный ворон, свидетель святой старины,
С трепетанием крыльев ворвался и гордо

Прямо к бюсту Паллады направился вдруг
И, усевшись на нем с видом знатного лорда,
Осмотрелся безмолвно вокруг.

Гордой поступью, важностью строгих очей
Рассмешил меня ворон и в грусти моей.
«Старый ворон! уже без хохла ты... однако,
Путник ночи, тебя не смирили года...
Как зовут тебя в царстве Плутонова мрака?
Ворон громко вскричал: «Никогда».

С изумленьем услышал я птицы ответ,
Хоть ума в нем и не было сильных примет,
Но ведь все согласятся с моими словами,
Что за дивное диво сочтешь без труда,
Если птицу на бюсте найдешь над дверями,
С странной кличкой такой: «Никогда»...

Но не вымолвил ворон ни слова потом,
Весь свой ум будто вылив в том слове одном.
Неподвижен он был, и промолвил в тиши я:
Завтра утром ты бросишь меня без следа,
Как другие друзья, как надежды былые!..
Ворон снова вскричал: «Никогда».

Как ответ мне, тот крик прозвучал в тишине;
Это все, что он знает, подумалось мне,—
Верно, перенял он у гонимого силой
Злой судьбы, чьих надежд закатилась звезда,
Панихиду по грезам—припев тот унылый:
«Никогда, никогда, никогда!»

Вопреки неотвязчивым думам моим,
Все смешил меня ворон; усевшись пред ним
В бархат мягкого кресла, я впал в размышленье:
Ворон, вещий когда-то в былые года,
Ворон вещий и мрачный, какое значенье
Скрыто в крике твоём: «Никогда»?

Так безмолвно я в думах моих утопал,
Птицы огненный взгляд в сердце мне проникал,
В мягком кресле прилег я спокойно и ловко,
А на бархат свет лампы чуть падал, о да!
Этот бархат лиловый своею головкой
Не нажмет уж она никогда!

Вдруг отраднo мне стало, как будто святым
Фимиамом незримый пахнул серафим...
О несчастный! я молвил, то мне провиденье
Шлет отраду в приют одинокий сюда!
О Леноре утраченной даст мне забвенье!..
Ворон снова вскричал: «Никогда!»

О пророк, злой вещун, птица ль, демон ли ты,
Ада ль мрачный посол, иль во мгле темноты
Пригнан бурей ты с берега грозного моря,
О, скажи, дальний гость, залетевший сюда:
Отыщу ль я бальзам от сердечного горя?
И вещун прокричал: «Никогда!»

Птица ль, демон ли ты, все ж пророк, вестник злой,
Молви мне: в царстве Бога, что чтим мы с тобой,
В отдаленном раю, сбросив бремя печали,
Не сольюсь ли я с милой, воспрянув туда,
С чудной девою, что в небе Ленорой назвали?
Птица вскрикнула вновь: «Никогда!»

Птица ль, демон ли ада — воскликнул я — прочь!
Возвратись же опять в мрак и в бурную ночь!..
Не оставь здесь пера в память лжи безотрадной,
Одинокий приют мой покинь навсегда,
Вынь из сердца разбитого клюв кровожадный!
Ворон крикнул опять: «Никогда!»

И над дверью моей неподвижно с тех пор
Блещет ворона черного демонский взор,
В бледных лампы лучах силуэт его темный

Предо мной на полу распростерт навсегда,
И из круга той тени дрожащей огромной
Не воспрянет мой дух никогда!

(1878)

Перевод Л. Пальмина

38в. ВОРОН

Раз, когда я в глухую полночь, бледный и утомленный, размышлял над грудой драгоценных, хотя уже позабытых ученых фолиантов, когда я в полусне ломал над ними себе голову, вдруг послышался легкий стук, как будто кто-то тихонько стукнул в дверь моей комнаты. «Это какой-нибудь прохожий,— пробормотал я про себя,— стучит ко мне в комнату,— прохожий, и больше ничего». Ах, я отлично помню. На дворе стоял тогда студёный декабрь. Догоравший в камине уголь обливал пол светом, в котором видна была его агония. Я страстно ожидал наступления утра; напрасно силился я утопить в своих книгах печаль по моей безвозвратно погибшей Леноре, по драгоценной и лучезарной Леноре, имя которой известно ангелам и которую здесь не назовут больше никогда.

И шорох шелковых пурпуровых завес, полный печали и грез, сильно тревожил меня, наполнял душу мою чудовищными, неведомыми мне доселе страхами, так что в конце концов, чтобы замедлить биение своего сердца, я встал и принялся повторять себе: «Это какой-нибудь прохожий, который хочет войти ко мне; это какой-нибудь запоздалый прохожий стучит в дверь моей комнаты; это он, и больше ничего».

Моя душа тогда почувствовала себя бодрее, и я, ни минуты не колеблясь, сказал: «Кто бы там ни был, умоляю вас, простите меня ради Бога; дело, видите, в том, что я вздремнул немножко, а вы так тихо постучались, так тихо подошли к двери моей комнаты, что я едва-едва вас расслышал». И тогда я раскрыл дверь настежь,— был мрак и больше ничего.

Всматриваясь в этот мрак, я долгое время стоял, изумленный, полный страха и сомнения, грезя такими грезами, какими не дерзал ни один смертный, но молчанье не было прервано и тишина не была нарушена ничем. Было прошептано одно только слово «Ленора», и это слово произнес я. Эхо повторило его, повторило, и больше ничего.

Вернувшись к себе в комнату, я чувствовал, что душа моя горела как в огне, и я снова услышал стук,— стук сильнее прежнего. «Наверное,— сказал я,— что-нибудь кроется за ставнями моего окна; посмотрю-ка, в чем там дело, разужнаю секрет и дам передохнуть немножко своему сердцу. Это— ветер, и больше ничего».

Тогда я толкнул ставни, и в окно, громко хлопая крыльями, влетел величественный ворон, птица священных дней древности. Он не выказал ни малейшего уважения; он не остановился, не запнулся ни на минуту, но с миною лорда и леди взгромоздился над дверью моей комнаты, взгромоздился на бюст Паллады над дверью моей комнаты,— взгромоздился, уселся и... больше ничего.

Тогда эта черная, как эбен, птица важностью своей поступи и строгостью своей физиономии вызвала в моем печальном воображении улыбку, и я сказал: «Хотя твоя голова и без шлема, и без щита, но ты все-таки не трусь, угрюмый, старый ворон, путник с берегов ночи. Поведай, как зовут тебя на берегах плутоновой ночи». Ворон каркнул: «Больше никогда!»

Я был крайне изумлен, что это неуклюжее пернатое создание так легко разумело человеческое слово, хотя ответ его и не имел для меня особенного смысла и ничуть не облегчил моей скорби; но, ведь, надо же сознаться, что ни одному смертному не было дано видеть птицу над дверью своей комнаты, птицу или зверя над дверью своей комнаты на высеченном бюсте, которым было бы имя *Больше никогда!*

Но ворон, взгромоздившись на спокойный бюст, произнес только одно это слово, как будто в одно это слово он излил всю свою душу. Он не произнес ничего более, он не пошевельнулся ни единым пером; я сказал тогда себе тихо: «Друзья мои уже далеко улетели от меня; наступит утро, и

этот так же покинет меня, как мои прежние, уже исчезнувшие, надежды». Тогда птица сказала: «Больше никогда!»

Весь задрожал я, услышав такой ответ, и сказал: «Без сомнения, слова, произносимые птицею, были ее единственным знанием, которому она научилась у своего несчастного хозяина, которого неумолимое горе мучило без отдыха и срока, пока его песни не стали заканчиваться одним и тем же припевом, пока безвозвратно погибшие надежды не приняли меланхолического припева: «никогда, никогда больше!»

Но ворон снова вызвал в моей душе улыбку, и я подкатил кресло прямо против птицы, напротив бюста и двери; затем, углубившись в бархатные подушки кресла, я принялся думать на все лады, старался разгадать, что хотела сказать эта вещая птица древних дней, что хотела сказать эта печальная, неуклюжая, злополучная, худая и вещая птица, каркая свое: «*Больше никогда!*»

Я оставался в таком положении, теряясь в мечтах и догадках, и, не обращаясь ни с единым словом к птице, огненные глаза которой сжигали меня теперь до глубины сердца, я все силился разгадать тайну, а голова моя привольно покоилась на бархатной подушке, которую ласкал свет лампы,—на том фиолетовом бархате, ласкаемом светом лампы, куда она уже не склонит своей головки больше никогда!

Тогда мне показалось, что воздух начал мало-помалу наполняться клубами дыма, выходящего из кадила, которое раскачивали серафимы, стопы которых скользили по коврам комнаты. «Несчастный!—вскричал я себе.—Бог твой чрез своих ангелов дает тебе забвение, он посылает тебе бальзам забвения, чтобы ты не вспоминал более о своей Леноре! Пей, пей этот целебный бальзам и забудь погибшую безвозвратно Ленору!» Ворон каркнул: «Больше никогда!»

«Пророк!—сказал я,—злосчастная тварь, птица или дьявол, но все-таки пророк! Будь ты послан самим искусителем, будь ты выкинут, извергнут бурею, но ты—неустрасим: есть ли здесь, на этой пустынной, полной грез земле, в этой обители скорбей, есть ли здесь,—поведай мне всю правду, умоляю тебя,—есть ли здесь бальзам забвенья? Скажи, не скрой, умоляю!» Ворон каркнул: «Больше никогда!»

«Пророк!—сказал я,—злосчастливая тварь, птица или дьявол, но все-таки пророк! Во имя этих небес, распростертых над нами, во имя того божества, которому мы оба поклоняемся, поведай этой горестной душе, дано ли будет ей в далеком Эдеме обнять ту святую, которую ангелы зовут Ленорой, прижать к груди мою милую, лучезарную Ленору!» Ворон каркнул: «Больше никогда!»

«Да будут же эти слова сигналом к нашей разлуке, птица или дьявол!—вскричал я, приподнявшись с кресла.—Иди снова на бурю, вернись к берегу плутоновой ночи, не оставляй здесь ни единого черного перышка, которое могло бы напомнить о лжи, вышедшей из твоей души! Оставь мой приют неоскверненным! Покинь этот бюст над дверью моей комнаты. Вырви свой клюв из моего сердца и унеси свой призрачный образ подальше от моей двери!» Ворон каркнул: «Больше никогда!»

И ворон, неподвижный, все еще сидит на бледном бюсте Паллады, как раз над дверью моей комнаты, и глаза его смотрят, словно глаза мечтающего дьявола; и свет лампы, падающий на него, бросает на пол его тень; и душа моя из круга этой тени, колеблющейся по полу, не выйдет больше никогда!

(1885)

Переводчик неизвестен

38г. ВОРОН

Погруженный в скорбь немую
и усталый, в ночь глухую,
Раз, когда поник в дремоте
я над книгой одного
Из забытых миром знаний,
книгой полной обаяний,—

Стук донесся, стук неожиданный
в двери дома моего:
«Это путник постучался
в двери дома моего,
Только путник—
больше ничего».

В декабре — я помню — было
это полночью унылой.
В очаге под пеплом угли
разгорались иногда.
Груды книг не утоляли
ни на миг моей печали—
Об утраченной Леноре,
той, чье имя навсегда—
В сонме ангелов—Ленора,
той, чье имя навсегда
В этом мире стерлось—
без следа.

От дыханья ночи бурной
занавески шелк пурпурный
Шелестел, и непонятный
страх рождался от всего.
Думал, сердце успокою,
все еще твердил порою:
«Это гость стучится робко
в двери дома моего,
«Запоздалый гость стучится
в двери дома моего,
Только гость—
и больше ничего!»

И когда преодолело
сердце страх, я молвил смело:
«Вы простите мне, обидеть

не хотел я никого;
«Я на миг уснул тревожно:
слишком тихо, осторожно,—
«Слишком тихо вы стучались
в двери дома моего...»
И открыл тогда я настежь
двери дома моего—
Мрак ночной,—
и больше ничего.

Все, что дух мой волновало,
все, что снилось и смущало,
До сих пор не посещало
в этом мире никого.
И ни голоса, ни знака—
из таинственного мрака...
Вдруг «Ленора!» прозвучало
близ жилища моего...
Сам шепнул я это имя,
и проснулось от него
Только эхо—
больше ничего.

Но душа моя горела,
притворил я дверь несмело.
Стук опять раздался громче;
я подумал: «ничего,
«Это стук в окне случайный,
никакой здесь нету тайны:
«Посмотрю и успокою
трепет сердца моего,
«Успокою на мгновенье
трепет сердца моего.
Это ветер,—
больше ничего».

Я открыл окно, и странный
гость полночный, гость неожиданный,

Ворон царственный влетает;
я привета от него
Не дождался. Но отважно,—
как хозяин, гордо, важно
Полетел он прямо к двери,
к двери дома моего,
И вспорхнул на бюст Паллады,
сел так тихо на него,
Тихо сел,—
и больше ничего.

Как ни грустно, как ни больно,—
улыбнулся я невольно
И сказал: «Твое коварство
победим мы без труда,
«Но тебя, мой гость зловещий,
Ворон древний, Ворон вещей,
«К нам с пределов вечной Ночи
прилетающий сюда,
«Как зовут в стране, откуда
прилетаешь ты сюда?»
И ответил Ворон:
«Никогда».

Говорит так ясно птица,
не могу я надивиться.
Но казалось, что надежда
ей навек была чужда.
Тот не жди себе отрады,
в чем дому на бюст Паллады
Сядет Ворон над дверями;
от несчастья никуда,—
Тот, кто Ворона увидел,—
не спасется никуда,
Ворона, чье имя:
«Никогда».

Говорил он это слово
так печально, так сурово,
Что, казалось, в нем всю душу
изливал; и вот, когда
Недвижим на изваяньи
он сидел в немом молчаньи,
Я шепнул: «как счастье, дружба
улетели навсегда,
Улетит и эта птица
завтра утром навсегда».
И ответил Ворон:
«Никогда».

И сказал я, вздрогнув снова:
«Верно молвить это слово
«Научил его хозяин
в дни тяжелые, когда
«Он преследуем был Роком,
и в несчастьи одиноком,
«Вместо песни лебединой,
в эти долгие года
«Для него был стон единый
в эти грустные года —
Никогда,— уж больше
никогда!»»

Так я думал и неволью
улыбнулся, как ни больно.
Повернул тихонько кресло
к бюсту бледному, туда,
Где был Ворон, погрузился
в бархат кресел и забылся...
«Страшный Ворон, мой ужасный
гость,— подумал я тогда —
«Страшный, древний Ворон, горе
возвещающий всегда,

Что же значит крик твой:
«Никогда»?

Угадать стараюсь тщетно;
 смотрит Ворон безответно.
Свой горящий взор мне в сердце
 заронил он навсегда.
И в раздумьи над загадкой,
 я поник в дремоте сладкой
Головой на бархат, лампой
 озаренный. Никогда
На лиловый бархат кресел,
 как в счастливые года,
 Ей уж не склоняться —
 никогда!

И казалось мне: струило
 дым незримое кадило,
Прилетели Серафимы,
 шелестели иногда
Их шаги, как дуновенье:
 «Это Бог мне шлет забвенье!»
«Пей же сладкое забвенье,
 пей, чтоб в сердце навсегда
«Об утраченной Леноре
 стерлась память — навсегда!..»
 И сказал мне Ворон:
 «Никогда».

«Я молю, пророк зловещий,
 птица ты иль демон вещей,
«Злой ли Дух тебя из Ночи,
 или вихрь занес сюда
«Из пустыни мертвой, вечной,
 безнадежной, бесконечной,—
«Будет ли, молю, скажи мне,
 будет ли хоть там, куда

«Снизойдем мы после смерти,—
сердцу отдых навсегда?»

И ответил Ворон:

«Никогда».

«Я молю, пророк зловещий,
птица ты иль демон вещей,
«Заклинаю небом, Богом,
отвечай, в тот день, когда
«Я Эдем увижу дальней,
обниму ль душой печальной
«Душу светлую Леноры,
той, чье имя навсегда
«В сонме ангелов—Ленора,
лучезарной навсегда?»

И ответил Ворон:

«Никогда».

«Прочь!—воскликнул я, вставая,—
демон ты иль птица злая.
«Прочь!—вернись в пределы Ночи,
чтобы больше никогда
«Ни одно из перьев черных,
не напомнило позорных,
«Лживых слов твоих! Оставь же
бюст Паллады навсегда,
«Из души моей твой образ
я исторгну навсегда!»

И ответил Ворон:

«Никогда».

И сидит, сидит с тех пор он
там, над дверью черный Ворон,
С бюста бледного Паллады
не исчезнет никуда.
У него такие очи,
как у Злого Духа ночи,

Сном объятого; и лампа
 тьнь бросает. Навсегда
К этой тени черной птицы
 пригвожденный навсегда,—
 Не воспрянет дух мой—
 никогда!

(1890)

Перевод Дм. Мережковского

38д. ВОРОН

Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостною думой,
Над старинными томами я склонялся в полусне,
Грезам странным отдавался, вдруг неясный звук раздался,
Будто кто-то постучался— постучался в дверь ко мне.
«Это верно,— прошептал я,— гость в полночной тишине,
 Гость стучится в дверь ко мне».

Ясно помню... Ожиданья... Поздней осени рыданья...
И в камине очертанья тускло тлеющих углей...
О, как жаждал я рассвета! Как я тщетно ждал ответа
На страданье, без привета, на вопрос о ней, о ней,
О Леноре, что блистала ярче всех земных огней,
 О светилах прежних дней.

И завес пурпурных трепет издавал как будто лепет,
Трепет, лепет, наполнявший темным чувством сердце мне.
Непонятный страх смиряя, встал я с места, повторяя:
«Это только гость, блуждая, постучался в дверь ко мне,
Поздний гость приюта просит в полуночной тишине,—
 Гость стучится в дверь ко мне».

подавив свои сомненья, победивши опасенья,
Я сказал: «Не осудите замедленья моего!
Этой полночью ненастной я вздремнул, и стук неясный
Слишком тих был, стук неясный,— и не слышал я его,

Я не слышал» — тут раскрыл я дверь жилища моего; —
Тьма, и больше ничего.

Взор застыл, во тьме стесненный, и стоял я изумленный,
Снам отдавшись, недоступным на земле ни для кого;
Но как прежде ночь молчала, тьма душе не отвечала,
Лишь — «Ленора!» — прозвучало имя солнца моего, —
Это я шепнул, и эхо повторило вновь его,
Эхо, больше ничего.

Вновь я в комнату вернулся — обернулся — содрогнулся, —
Стук раздался, но слышнее, чем звучал он до того.
«Верно, что-нибудь сломилось, что-нибудь пошевелилось,
Там за ставнями забилося у окошка моего,
Это ветер, усмирю я трепет сердца моего,
Ветер, больше ничего».

Я толкнул окно с решеткой — тотчас важною походкой
Из-за ставней вышел Ворон, гордый Ворон старых дней,
Не склонился он учтиво, но, как лорд, вошел спесиво,
И, взмахнув крылом лениво, в пышной важности своей,
Он взлетел на бюст Паллады, что над дверью был моей,
Он взлетел — и сел над ней.

От печали я очнулся и невольно усмехнулся,
Видя важность этой птицы, жившей долгие года.
«Твой хохол ошипан славно, и глядишь ты презабавно, —
Я промолвил, — но скажи мне: в царстве тьмы, где Ночь
всегда,
Как ты звался, гордый Ворон, там, где Ночь царит всегда?»
Молвил Ворон: «Никогда».

Птица ясно отвечала, и хоть смысла было мало,
Подивился я всем сердцем на ответ ее тогда.
Да и кто не подивится, кто с такой мечтой сроднится,
Кто поверить согласится, чтобы где-нибудь когда —
Сел над дверью — говорящий без запинки, без труда —
Ворон с кличкой: «Никогда».

И, взирая так сурово, лишь одно твердил он слово,
Точно всю он душу вылил в этом слове «Никогда»,
И крылами не взмахнул он, и пером не шевельнул он,
Я шепнул: «Друзья сокрылись вот уж многие года,
Завтра он меня покинет, как Надежды, навсегда».

Ворон молвил: «Никогда».

Услыхав ответ удачный, вздрогнул я в тревоге мрачной,
«Верно, был он,— я подумал,— у того, чья жизнь — Беда,
У страдальца, чьи мученья возрастали, как течение
Рек весной, чье отречение от Надежды навсегда
В песне вылилось — о счастье, что, погибнув навсегда,
Вновь не вспыхнет никогда».

Но, от скорби отдыхая, улыбаясь и вздыхая,
Кресло я свое придвинул против Ворона тогда,
И, склонясь на бархат нежный, я фантазии безбрежной
Отдался душой мятежной: «Это — Ворон, Ворон, да».
Но о чем твердит зловещий этим черным «Никогда»,
Страшным криком «Никогда».

Я сидел, догадок полный и задумчиво-безмолвный,
Взоры птицы жгли мне сердце, как огнистая звезда,
И с печалью запоздалой, головой своей усталой,
Я прильнул к подушке алой, и подумал я тогда:
Я один, на бархат алый та, кого любил всегда,
Не прильнет уж никогда.

Но, постой, вокруг темнеет, и как будто кто-то веет,
То с камильницей небесной Серафим пришел сюда?
В миг неясный упоенья я вскричал: «Прости, мученье!
Это Бог послал забвенье о Леноре навсегда,
Пей, о, пей скорей забвенье о Леноре навсегда!»
Каркнул Ворон: «Никогда».

И вскричал я в скорби страстной: «Птица ты, иль дух
ужасный,
Искусителем ли послан, иль грозой прибит сюда,—

Ты пророк неустрашимый! В край печальный, нелюдимый,
 В край, Тоскою одержимый, ты пришел ко мне сюда!
 О, скажи, найду ль забвенье, я молю, скажи, когда?»
 Каркнул Ворон: «Никогда».

«Ты пророк,— вскричал я,— вещий! Птица ты иль дух,
зловещий,
 Этим Небом, что над нами — Богом, скрытым навсегда —
 Заклинаю, умоляя, мне сказать,— в пределах Рая
 Мне откроется ль святая, что средь ангелов всегда,
 Та, которую Ленорой в небесах зовут всегда?»
 Каркнул Ворон: «Никогда».

И воскликнул я, вставая: «Прочь отсюда, птица злая!
 Ты из царства тьмы и бури,— уходи опять туда,
 Не хочу я лжи позорной, лжи, как эти перья, черной,
 Удались же, дух упорный! Быть хочу — один всегда!
 Вынь свой жесткий клюв из сердца моего, где скорбь —
всегда!»
 Каркнул Ворон: «Никогда».

И сидит, сидит зловещий, Ворон черный, Ворон вещий,
 С бюста бледного Паллады не умчится никуда,
 Он глядит, уединенный, точно Демон полусонный,
 Свет струится, тень ложится, на полу дрожит всегда,
 И душа моя из тени, что волнуется всегда,
 Не восстанет — никогда!

(1894)

Перевод К. Бальмонта

38е. ВОРОН

Как-то в полночь, в час унылый, я вникал, устав, без силы,
 Меж томов старинных, в строки рассужденья одного
 По отвергнутой науке, и расслышал смутно звуки,
 Вдруг у двери словно стуки,— стук у входа моего.

«Это — гость, — пробормотал я, — там, у входа моего.
Гость, — и больше ничего!»

Ах! мне помнится так ясно: был декабрь и день ненастный,
Был как призрак — отсвет красный от камина моего.
Ждал зари я в нетерпении, в книгах тщетно утешенье
Я искал в ту ночь мученья, — бденья ночь, без той, кого
Звали здесь Линор. То имя... Шепчут ангелы его,
На земле же — нет его.

Шелковистый и не резкий, шорох алой занавески
Мучил, полнил темным страхом, что не знал я до того.
Чтоб смирить в себе биенье сердца, долго в утешенье
Я твердил: «То — посещение просто друга одного».
Повторял: «То — посещение просто друга одного,
Друга, — больше ничего!»

Наконец, владея волей, я сказал, не медля боле:
«Сэр иль Мистрисс, извините, что молчал я до того.
Дело в том, что задремал я, и не сразу расслышал я,
Слабый стук не разобрал я, стук у входа моего».
Говоря, открыл я настежь двери дома моего.
Тьма, — и больше ничего.

И, смотря во мрак глубокий, долго ждал я, одинокий,
Полный грез, что ведать смертным не давалось до того!
Все безмолвно было снова, тьма вокруг была сурова,
Раздалось одно лишь слово: шепчут ангелы его.
Я шепнул: «Линор», и эхо — повторило мне его,
Эхо, — больше ничего.

Лишь вернулся я несмело (вся душа во мне горела),
Вскоре вновь я стук расслышал, но ясней, чем до того.
Но сказал я: «Это ставней ветер зыблет своенравней,
Он и вызвал страх недавний, ветер, только и всего,
Будь спокойно, сердце! Это — ветер, только и всего.
Ветер, — больше ничего!»

Растворил свое окно я, и влетел во глубь покоя
 Статный, древний Ворон, шумом крыльев славя торжество,
 Поклониться не хотел он; не колеблясь, полетел он,
 Словно лорд иль лэди, сел он, сел у входа моего,
 Там, на белый бюст Паллады, сел у входа моего,
 Сел,— и больше ничего.

Я с улыбкой мог дивиться, как эбеновая птица,
 В строгой важности—сурова и горда была тогда.
 «Ты,— сказал я,— лыс и черен, но не робок и упорен,
 Древний, мрачный Ворон, странник с берегов, где ночь
 всегда!

Как же царственно ты прозван у Плутона?» Он тогда
 Каркнул: «Больше никогда!»

Птица ясно прокричала, изумив меня сначала.
 Было в крике смысла мало, и слова не шли сюда.
 Но не всем благословенье было—ведать посещенье
 Птицы, что над входом сядет, величава и горда,
 Что на белом бюсте сядет, чернокрыла и горда,
 С кличкой «Больше никогда!»

Одинокий, Ворон черный, сев на бюст, бросал, упорный,
 Лишь два слова, словно душу вылил в них он навсегда.
 Их твердя, он словно стынул, ни одним пером не двинул,
 Наконец, я птице кинул: «Раньше скрылись без следа
 Все друзья; ты завтра сгинешь безнадежно!..» Он тогда
 Каркнул: «Больше никогда!»

Вздрогнул я, в волненьи мрачном, при ответе столь
 удачном.
 «Это— все,— сказал я,— видно, что он знает, жив года
 С бедняком, кого терзали беспощадные печали,
 Гнали в даль и дальше гнали неудачи и нужда.
 К песням скорби о надеждах лишь один припев нужда
 Знала: больше никогда!»

Я с улыбкой мог дивиться, как глядит мне в душу птица.
 Быстро кресло подкатил я, против птицы, сел туда:

Прижимаясь к мягкой ткани, развивал я цепь мечтаний,
 Сны за снами, как в тумане, думал я: «Он жил года,
 Что ж пророчит, вещей, тощий, живший в старые года,
 Криком: больше никогда?»

Это думал я с тревогой, но не смел шепнуть ни слога
 Птице, чьи глаза палили сердце мне огнем тогда.
 Это думал и иное, прислонясь челом в покое
 К бархату; мы, прежде, двое так сидели иногда...
 Ах! при лампе, не склоняться ей на бархат иногда
 Больше, больше никогда!

И, казалось, клубы дыма льет курильница незримо,
 Шаг чуть слышен серафима, с ней вошедшего сюда.
 «Бедный!— я вскричал,— то богом послан отдых всем
тревогам,
 Отдых, мир! чтоб хоть немного ты вкусил забвенья,— да?
 Пей! о, пей тот сладкий отдых! позабудь Линор,— о, да?
 Ворон: «Больше никогда!»

«Вещий,— я вскричал,— зачем он прибыл, птица или
демон?
 Искусителем ли послан, бурей пригнан ли сюда?
 Я не пал, хоть полн уныний! В этой заклятой пустыне,
 Здесь, где правит ужас ныне, отвечай, молю, когда
 В Галааде мир найду я? обрету бальзам когда?»
 Ворон: «Больше никогда!»

«Вещий,— я вскричал,— зачем он прибыл, птица или
демон?
 Ради неба, что над нами, часа страшного суда,
 Отвечай душе печальной: я в раю, в отчизне дальней,
 Встречу ль образ идеальный, что меж ангелов всегда?
 Ту мою Линор, чье имя шепчут ангелы всегда?»
 Ворон: «Больше никогда!»

«Это слово— знак разлуки!— крикнул я, ломая руки.
 Возвратись в края, где мрачно плещет Стиксова вода!

Не оставь здесь перьев черных, как следов от слов
позорных!
 Не хочу друзей тлетворных! С бюста — прочь, и навсегда!
 Прочь — из сердца клюв, и с двери — прочь виденье
навсегда!»

Ворон: «Больше никогда!»

И, как будто с бюстом слит он, все сидит он, все
сидит он,
 Там, над входом, Ворон черный, с белым бюстом слит
всегда!
 Светом лампы озаренный, смотрит, словно демон сонный.
 Тень ложится удлиненно, на полу лежит года,—
 И душе не встать из тени, пусть идут, идут года,—
Знаю,— больше никогда!

(1905—1924)

Перевод В. Брюсова

38ж. ВОРОН

Это было мрачной ночью; сны являлись мне воочью,
 В смутном книжном многострочье мысль блуждала тяжело.
 Над томами я склонялся, в них постигнуть суть пытался,
 Вдруг как будто постучался кто-то в темное стекло...
 «Это путник,— прошептал я,— мне в оконное стекло
Постучал—и все прошло».

Помню этот час, как ныне: мир дрожал в декабрьской стыни,
 Умирал огонь в камине... О, скорей бы рассвело!
 Поверял я книгам горе по утерянной Леноре —
 Это имя в райском хоре жизнь вторую обрело,
 Осчастливленное небо это имя обрело,
А от нас оно ушло.

И под шорохи гардины в сердце множились картины,
 Где сплеталось воедино грез несметное число.

Чтоб избавиться от дрожи, я твердил одно и то же:
«Что же страшного? Прохожий постучал слегка в стекло,
Гость какой-нибудь захожий постучал, придя, в стекло,
Постучал—и все прошло».

Так прогнав свою тревогу, я сказал: «Вздremнул немного,
Извините, ради бога, наваждение нашло.
Вы так тихо постучали, что подумал я вначале—
Не снега ли, не ветра ли застучали о стекло?
Я подумал: звук случайный, вроде ветра о стекло,
Отшумел—и все прошло».

Дверь открыл и на ступени вышел я—лишь тьма и тени.
В сердце скопище видений умножалось и росло,
И, хоть все кругом молчало, дважды имя прозвучало—
Это я спросил: «Ленора?» (так вздыхают тяжело),
И назад печальным эхом, вдруг вздохнувшим тяжело,
Имя вновь ко мне пришло.

И прикрыл я дверь несмело. Как в огне, душа горела.
Вдруг от стука загудело вновь оконное стекло.
Значит, это не случайно! Кто там: друг иль недруг тайный?
Жить под гнетом этой тайны сердце больше не могло.
Я сказал: «Пора увидеть, что б таиться там могло,
Время,—молвил я,—пришло».

И тогда окно открыл я, и в окне, расправив крылья,
Показался черный ворон—что вас, сударь, привело?—
И на статую Паллады взмыл он, точно так и надо,
Черный, сел, вонзая когти в мрамор, в белое чело;
И пока взлетал он с пола изваянью на чело,
И минуты не прошло.

Кто бы мог не удивиться? Был он важен, как патриций.
Все меня в спесивой птице в изумленье привело.
Я спросил, забыв печали: «Как тебя в Аиде звали,
В царстве ночи, где оставил ты гнездо—или дупло?
Как тебя в Аиде кличут, чтоб оставил ты дупло?»
Ворон каркнул: «Все прошло!»

Странно! Гость мой кривоносый словно понял смысл вопроса.
Вот ведь как: сперва без спроса залетел ко мне в тепло,
А теперь дает ответы (пусть случайно, суть не это),
В перья черные одетый, сев богине на чело;
Кто видал, чтоб сел богине на высокое чело
Тот, чье имя «Всёпрошло»?

Он сказал — и смолк сурово, словно сказанное слово
Было сутью и основой, тайну тайн произнесло,
Сам же, словно изваянье, он застыл в глухом молчанье,
И спросил я: «Где мечтанья, расцветавшие светло?
Ты и сам, как все, покинешь дом мой — лишь бы рассвело!»
Ворон каркнул: «Все прошло!»

Как же я не понял сразу, что твердит от раза к разу
Он одну лишь эту фразу — то, что в плоть его вошло, —
Оттого, что жил он прежде в черно-траурной одежде
Там, где места нет надежде (одеянье к месту шло!)
И хозяину былому лишь одно на память шло:
«Все прошло, прошло, прошло!»

И не то, чтоб стал я весел, — к гостю я привстал из кресел
(Он на статуе, как прежде, громоздился тяжело):
«Темной вечности ровесник, злой ты или добрый вестник?
Что за вести мне, кудесник, изречение принесло —
Неуклюжий, тощий, вещий, что за вести принесло
Это — дважды — «все прошло»?

Мысли полнились разладом, и застыл я с гостем рядом.
Я молчал. Горящим взглядом душу мне насквозь прожгло.
Тайна мне уснуть мешала, хоть склонился я устало
На подушки, как склоняла и она порой чело...
Никогда здесь, как бывало, больше милое чело
Не склонится — все прошло.

Мнилось: скрытое кадило серафимы белокрыло
Раскачали так, что было все от ладана бело,
И вскричал я в озаренье: «О несчастный! Провиденье

Прямо в точку било это повторение ответа —
 И решил я: Ворон где-то подхватил чужой повтор,
 А его Хозяин прежний жил, видать, во тьме кромешной
 И твердил все безнадежней, все отчаянней укор,—
 Повторял он все прилежней, словно вызов и укор,
 Это слово—приговор.

Все же гость был тем смешнее, чем ответ его точнее,—
 И возвел я на злодея безмятежно ясный взор,
 Поневоле размышляя, что за присказка такая,
 Что за тайна роковая, что за притча, что за вздор,
 Что за истина седая, или сказка, или вздор
 В злобном карке: приговор!

Как во храме,—в фимиаме тайна реяла над нами,
 И горящими глазами он разжег во мне костер.—
 И в огне воспоминаний я метался на диване:
 Там, где каждый лоскут ткани, каждый выцветший узор
 Помнит прошлые свиданья, каждый выцветший узор
 Подкрепляет приговор.

Воздух в комнате все гуще, тьма безмолвья—все гнетущей,
 Словно кто-то всемогущий длань тяжелую простер.
 «Тварь,—вскричал я,—неужели нет предела на пределе
 Мук, неслыханных доселе, нет забвения Линор?
 Нет ни срока, ни похмелья тризне грусти о Линор?»
 Каркнул Ворон: «Приговор!»

«Волхв!—я крикнул.—Прорицатель! Видно, Дьявол—
 твой создатель!
 Но, безжалостный Каратель, мне понятен твой укор.
 Укрепи мое прозреньё—или просто подозреньё,—
 Подтверди, что нет спасенья в царстве мертвенных озер,—
 Ни на небе, ни в геенне, ни среди ночных озер!»
 Каркнул Ворон: «Приговор!»

«Волхв!—я крикнул.—Прорицатель! Хоть сам Дьявол
 твой создатель,
 Но слышал и ты, приятель, про божественный шатер.

Там, в раю, моя святая, там, в цветущих кущах рая.—
 Неужели никогда я не увижу вновь Линор?
 Никогда не повстречаю деву дивную — Линор?»

Каркнул Ворон: «Приговор!»

«Нечисть! — выдохнул я. — Нежить! Хватит душу мне
 корезить!

За окошком стало брезжить — и проваливай во двор!
 С беломраморного трона — прочь, в пучину Флегетона!
 Одиночеством клейменный, не желаю слушать вздор!
 Или в сердце мне вонзенный клюв не вынешь с этих пор?»

Каркнул Ворон: «Приговор!»

Там, где сел, где дверь во двор, — он все сидит,
 державный Ворон,

Все сидит он, зол и черен, и горит зловещий взор.
 И печальные виденья чертят в доме тени тленья,
 Как сгоревшие поленья, выткав призрачный узор, —
 Как бессильные моленья, выткав призрачный узор.

Нет спасенья — приговор!

(1988)

Перевод В. Топорова

39а. ВАЛЕНТИНА

Фантазия — для той, чей взор огнистый — тайна!
 (При нем нам кажется, что звезды Леды — дым).
 Здесь встретиться дано, как будто бы случайно,
 В огне моих стихов, ей с именем своим.
 Кто всмотрится в слова, тот обретет в них чудо:
 Да, талисман живой! да, дивный амулет!
 Хочу на сердце я его носить! Повсюду
 Ищите же! Стихи таят в себе ответ.
 О, горе, поза быть хоть слог один. Награда
 Тогда потеряна. А между тем дана
 Не тайна Гордия: рубить мечом не надо!

Нет! С крайней жаждою вникайте в письма!
Страница, что те перь твой взор, горящий светом,
Обходит медленно, уже таит в стихах
Три слова сладостных, знакомых всем поэтам,
Поэта имя то, великое в веках!
И пусть обманчивы всегда все буквы (больно
Сознаться) ах, пусть лгут, как Мендес Фердинанд,—
Синоним истины тут звуки!.. Но довольно.
Вам не понять ее,—гирлянда из гирлянд.

(1924)

Перевод В. Брюсова

40а. К МАРИИ-ЛУИЗЕ (ШЮ)

Из всех, кто близость чтут твою, как утро,
Кому твое отсутствие — как ночь,
Затмение полное на тверди вышней
Святого солнца, кто, рыдая, славят
Тебя за все, за жизнь и за надежду,
За воскресенье веры погребенной
В людей, и в истину, и в добродетель,
Кто на Отчаянья проклятом ложе
Лежали, умирая, и восстали,
Твой нежный зов познав: «Да будет свет»,
Твой нежный зов заслышав, воплощенный
В блеск серафический твоих очей,—
Кто так тебе обязан, что подобна
Их благодарность обожанью,— вспомни
О самом верном, преданном всех больше,
И знай, что набросал он эти строки,
Он, кто дрожит, их выводя, при мысли,
Что дух его был с ангельским в общеньи.

(1924)

Перевод В. Брюсова

41а. * * *

Недавно тот, кто пишет эти строки,
Пред разумом безумно преклоняясь,
Провозглашал идею «силы слов» —
Он отрицал, раз навсегда, возможность,
Чтоб в разуме людском возникла мысль
Вне выраженья языка людского:
И вот, как бы смеясь над похвальбой,
Два слова — чужеземных — полногласных,
Два слова итальянские, из звуков
Таких, что только ангелам шептать их,
Когда они загрязят под луной,
«Среди росы, висящей над холмами
«Гермонскими, как цепь из жемчугов»,
В его глубоком сердце пробудили
Как бы еще немисленные мысли,
Что существуют лишь как души мыслей,
Богаче, о, богаче, и страннее,
Безумней тех видений, что могли
Надеяться возникнуть в изъясненьи
На арфе серафима Израфеля
(«Что меж созданий Бога так певуч»).

А я! Мне изменили заклинанья.
Перо бессильно падает из рук.
С твоим прекрасным именем, как с мыслью,
Тобой мне данной,— не могу писать,
Ни чувствовать — увы — не чувство это.
Недвижно так стою на золотом
Пороге, перед замком сновидений,
Раскрытым широко,— глядя в смущеньи
На пышность раскрывающейся дали,
И с трепетом встречая, вправо, влево,
И вдоль всего далекого пути,
Среди туманов, пурпуром согретых,
До самого конца — одну тебя.

(1901)

Перевод К. Бальмонта

416. МАРИИ-ЛУИЗЕ (ШЮ)

Тому недавно, тот, кто это пишет,
В безумной гордости своим сознанием,
«Власть слов» поддерживая, отрицал,
Чтоб мысль могла в мозгу у человека
Родиться, не вмещаема словом.
И вот, на похвальбу в насмешку словно,
Два слова,— два чужих двусложья нежных,
По звуку итальянских,— тех, что шепчут
Лишь ангелы, в росе мечтая лунной,
«Что цепью перлов на Гермоне виснет»,—
Из самых глубей сердца извлекли
Безмысленные мысли, души мыслей,
Богаче, строже, дивней, чем виденья,
Что Израфели, с арфой серафим
(Чей «глас нежней, чем всех созданий божьих»)
Извлечь бы мог! А я! Разбиты чары!
Рука дрожит, и падает перо.
О нежном имени,— хоть ты велела,—
Писать нет сил; нет сил сказать, помыслить,
Увы! нет сил и чувствовать! Не чувство—
Застыть в неподвижности на золотом
Пороге у открытой двери снов,
Смотря в экстазе в чудные покои,
И содрогаться, видя, справа, слева,
Везде, на протяжении всей дороги,
В дыму пурпурном, далеко, куда
Лишь достигает взор,— одну тебя!

(1924)

Перевод В. Брюсова

42а. УЛЯЛЮМ

Небеса были серого цвета,
Были сухи и скорбны листы,

Были сжаты и смяты листы.
За огнем отгоревшего лета
Ночь пришла, сон глухой черноты,
Близ туманного озера Обер,
Там, где сходятся ведьмы на пир,
Где лесной заколдованный мир,
Возле дымного озера Обер,
В зачарованной области Вир.

Там однажды, в аллее Титанов,
Я с моею Душою блуждал,
Я с Психеей, с Душою блуждал.
В эти дни трепетанья вулканов
Я сердечным огнем побеждал,
Я спешил, я горел, я блистал;
Точно серные токи на Яник,
Бороздящие горный оплот,
Возле полюса, токи, что Яник
Покидают, струясь от высот.

Мы менялися лаской привета,
Но в глазах затаилась мгла,
Наша память неверной была,
Мы забыли, что умерло лето,
Что Октябрьская полночь пришла,
Мы забыли, что осень пришла,
И не вспомнили озеро Обер,
Где открылся нам некогда мир,
Это дымное озеро Обер,
И излюбленный ведьмами Вир.

Но когда уже ночь постарела,
И на звездных небесных часах
Был намек на рассвет в небесах,—
Что-то облачным сном забелело
Перед нами, в неясных лучах,
И внезапно предстал серебристый
Полумесяц, двурогой чертой,

Полумесяц Астарты лучистый,
Очевидный двойной красотой.

Я промолвил: «Астарта нежнее
И теплей, чем Диана, она —
В царстве вздохов, и вздохов полна:
Увидав, что, в тоске не слабея,
Здесь душа затомилась одна,—
Чрез созвездие Льва проникая,
Показала она в облаках
Путь к забвенной тиши в небесах,
И чело перед Львом не склоняя,
С нежной лаской в горящих глазах,
Над берлогою Льва возникая,
Засветилась для нас в небесах».

Но Психея, свой перст поднимая,
«Я не верю,— промолвила,— в сны
Этой бледной богини Весны.
О, не медли,— в ней бледность больная!
О, бежим! Поспешим! Мы должны!»
И в испуге, в истоме бессилья,
Не хотела, чтоб дальше мы шли,
И ее ослабевшие крылья
Опускались до самой земли—
И влачились — влачились в пыли.

Я ответил: «То страх лишь напрасный,
Устремимся на трепетный свет,
В нем кристальность, обмана в нем нет
Сибиллически — ярко — прекрасный,
В нем Надежды манящий привет,
Он сквозь ночь нам роняет свой след.
О, уверуем в это сиянье,
Так зовет оно вкрадчиво к снам,
Так правдивы его обещанья
Быть звездой путеводною нам,
Быть призывом, сквозь ночь, к Небесам!»

Так ласкал, утешал я Психею
Толкованием звездных судеб,
Зоркий страх в ней утих и ослеп.
И прошли до конца мы аллею,
И внезапно увидели склеп,
С круговым начертанием склеп.
«Что гласит эта надпись?» — сказал я,
И, как ветра осеннего шум,
Этот вздох, этот стон услышал я:
«Ты не знал? Улялюм — Улялюм —
Здесь могила твоей Улялюм».

И сраженный словами ответа,
Задрожав, как на ветке листы,
Как сухие под ветром листы,
Я вскричал: «Значит, умерло лето,
Это осень и сон черноты,
Небеса потемневшего цвета.
Ровно — год, как на кладбище лета
Я здесь ночью Октябрьской блуждал,
Я здесь с ношею мертвой блуждал.
Эта ночь была ночь без просвета,
Самый год в эту ночь умирал, —
Что за демон сюда нас зазвал?
О, я знаю теперь, это — Обер,
О, я знаю теперь, это — Вир,
Это — дымное озеро Обер
И излюбленный ведьмами Вир».

(1899)

Перевод К. Бальмонта

426. ULALUME

Небеса были хмуро бесстрастны,
листья дрогли на ветке сухой,
листья вяли на ветке сухой,

в октябре октябрем безучастным
эта ночь залегла надо мной...
Это было в Уире ненастном,
в заколдованной чаще лесной,
где белеют в просвете неясном
воды Обера мертвой волной.

Там шел я аллеей Титана
в кипарисах с душою вдвоем,
я с моею Психеей вдвоем.
А в груди словно пламя вулкана
разливалось сернистым огнем,
словно лава катилась ручьем,
как в странах снегов и тумана,
где солнце не греет лучом,
где Янек во льдах океана
застыл, не согретый лучом.

Мы шли в разговоре бесстрастном,
думы о прошлом одна за другой
увядали, как листья на ветке сухой.
Нам был чужд в октябре безучастном
холод ночи, дышавшей зимой,
этой ночи ночей над землей.
Были чужды в Уире ненастном
чары мрачные чащи лесной
и Обер, в просвете неясном
мелькавший мертвою волной.

И вот уж ночь побледнела,
намекнула на утро звезда,
на утро, на утро склонилась звезда,
вдали полоса забелела:
забелела рассветом,— тогда
роговидный, бледнея, несмело
полумесяц взошел, как всегда,
полумесяц Астарты несмело
двуалмазный поднялся тогда.

Я сказал: он нежнее Дианы,
он плывет в волнах вечной тоски,
упивается вздохом тоски,—
он увидел слезой неустанной
орошенную бледность щеки
и вышел, как вестник желанный,
и шепчет: «Те дни далеки,
в могиле не знают тоски».
За созвездием Льва он, желанный,
возвещает забвенью тоски.

Но, закрывшись в смущеньи рукою,
Психея вскричала: «Страшна
мне звезда, что несменно бледна...
Не медли, не медли! Со мною
улетим, улетим... Я должна!»
И, рыдая, в пыли за собою
перья крыльев влачила она,
так плачевно влачила она!

Я воскликнул: «К чему колебанье?
Мы пойдем в этот трепетный свет,
мы вдохнем этот трепетный свет,—
в сибиллическом блеске сиянья
возрожденной надежды привет...
Мы смело доверим сиянью,
что сквозь тьму нас выводит на свет,
что сквозь тьму шлет далекий привет».

Утешал я Психею, лаская,
отгонял рой сомнений и дум,
побеждал рой сомнений и дум,
и шли мы, аллею кончая,—
вдруг пред нами — печален, угрюм,
склеп могильный... Исполненный дум,
я спросил: «Скажи, дорогая,
что за надпись смущает мой ум?»
И услышал в ответ «Ulalume! —
Вот гробница твоей Ulalume...»

Сердце стало хмуро, бесстрастно,
 как лист истомленный, сухой,
 как лист пожелтевший, сухой...
 «Это точно Октябрь безучастный! —
 я вскричал, — здесь минувшей зимой
 проходил я аллеей глухой,
 проносил бремя скорби глухой...
 Что за демон коварный и властный
 управляет моею стопой
 в эту ночь из ночей над землей?
 Я узнал тебя, Уир ненастный,
 я узнал тебя, Обер лесной,
 как обитель волшебницы властной,
 заслоненный болотною мглой!»

(1906)

Перевод А. Курсинского

42в. ULALUME

На деревьях листья облетали,
 и осенний темнел небосвод,
 безотрадный темнел небосвод:
 это было в ночь тихой печали,
 в октябре, в тот нерадостный год;
 уж осенние духи витали
 у таинственных оберских вод,
 поздней ночью уныло витали
 в мрачном Вире, у оберских вод.

Здесь бродил я в аллее прекрасной
 кипарисов, с Душою моею,
 кипарисов, с Психеей моею;
 сердце было тревожно и страстно,
 беспокойно как горный ручей,
 как насыщенный лавой ручей,
 что с вершины Яанек бесстрастной

мчится вниз средь полярных ночей;
бурно мчится с вершины бесстрастной,
средь безмолвья полярных ночей.

Наши речи обдуманы были,—
нашей мысли был медленен ход,
нашей мысли неясен был ход;
мы число, время года забыли,
ночь другую, в тот памятный год...
Мы не знали, как близко мы были
от знакомых нам оберских вод,
в мрачном Вире, где нам говорили,
будто ведьмы ведут хоровод.

Еще ночь не исчезла, не скрылась,
хоть светила уж грезили днем,
хотя звезды уж грезили днем...
Перед нами вдруг даль озарилась
тусклым светом, волшебным огнем...
И Астарты звезда появилась
в фантастическом блеске своем,
и внезапно она появилась
в силуэте рогатом своем.

Я сказал: «Она лучше Дианы;
в море грез она тихо плывет,
в море вздохов печально плывет;
она знает про жгучие раны
в моем сердце, где горе живет,
и прошла мимо звездной поляны,
где созвездие Льва ее ждет,
где разгневанный Лев ее ждет,
и зовет нас в надзвездные страны,
к счастью мирных небес нас зовет».

Но Психея мне грустно твердила:
«Посмотри, она светит во мгле,
я боюсь, она светит во мгле...

Ах, бежим от нее, сколько силы!»
И со страхом на бледном челе,
и со страхом она опустила
свои светлые крылья к земле,
и рыдая она опустила
свои нежные крылья к земле.

«О, не бойся звезды! — я ответил, —
она счастья и радости дочь,
она неба прекрасная дочь;
посмотри, как отраден и светел
ее лик в эту темную ночь!
Она светит для нас — я заметил —
она хочет нам в горе помочь;
озаряя наш путь — я заметил —
она только нам хочет помочь».

Так я спорил с сестрой легкокрылой,
отвлекая от тягостных дум,
удаляясь от тягостных дум,
и пришли мы к гробнице унылой,
но не понял пытливый мой ум,
не постиг утомленный мой ум,
что за надпись над этой могилой?
А Психея прочла: «Ulalume,
здесь погибшая спит Ulalume».

Мои думы тотчас омрачились
и померкли, как тот небосвод,
как осенний померк небосвод,
и я вспомнил те дни, что забылись,
ту же темную ночь в прошлый год,
когда я и Психея явились
в эту местность у оберских вод;
с нашей странною ношей явились
в местность Вира, у оберских вод...
О зачем мы сюда возвратились,
что за демон увлек нас вперед? —

Я узнал те места, что забылись,
что я видел в наш первый приход,
где осенние листья кружились
и где ведьмы ведут хоровод!

(1909)

Перевод М. Трубецкой

42г. ЮЛАЛИУМ

Скорбь и пепел был цвет небосвода,
Листья сухи и в форме секир,
Листья скрючены в форме секир.
Моего незабвенного года,
Был октябрь, и был сумрачен мир.
То был край, где спят Обера воды,
То был дымно-туманный Уир,—
Лес, где озера Обера воды,
Ведьм любимая область — Уир.

Кипарисов аллеей, как странник,
Там я шел с Психеей вдвоем,
Я с душою своей шел вдвоем,
Мрачной думы измученный странник.
Реки мыслей катились огнем,
Словно лава катилась огнем,
Словно серные реки, что Яник
Льет у полюса в сне ледяном,
Что на северном полюсе Яник
Со стоном льет подо льдом.

Разговор наш был — скорбь без исхода,
Каждый помысл, как взмахи секир,
Память срезана взмахом секир:
Мы не помнили месяца, года
(Ах, меж годами страшного года!),
Мы забыли, что в сумраке мир,

Что поблизости Обера воды
 (Хоть когда-то входили в Уир!),
Что здесь озера Обера воды,
 Лес и область колдуний — Уир!

Дали делались бледны и серы,
 И заря была явно близка,
 По кадрану созвездий — близка,
Пар прозрачный вставал, полня сферы,
 Озаряя тропу и луга;
Вне его полумесяц Ашеры
 Странно поднял двойные рога,
Полумесяц алмазной Ашеры
 Четко поднял двойные рога.

Я сказал: «Он нежнее Дианы.
 Он на скорбных эфирных путях,
 Веселится на скорбных путях.
Он увидел в сердцах наших раны,
 Наши слезы на бледных щеках;
Он зовет нас в волшебные страны,
 Сквозь созвездие Льва в небесах —
 К миру Леты влечет в небесах.
Он восходит в блаженные страны
 И нас манит, с любовью в очах,
Мимо логова Льва, сквозь туманы,
 Манит к свету с любовью в очах».

Но, поднявши палец, Психея
 Прошептала: «Он странен вдали!
 Я не верю звезде, что вдали!
О спешим! о бежим! о скорее!
 О бежим, чтоб бежать мы могли!»
Говорила, дрожа и бледнея,
 Уронив свои крылья в пыли,
В агонии рыдала, бледнея
 И влача свои крылья в пыли,
 Безнадежно влача их в пыли.

Я сказал: «Это только мечтанье!
Дай идти нам в дрожащем огне,
Искупаться в кристальном огне.
Так, в сибиллином этом сияньи,
Красота и надежда на дне!
Посмотри! Свет плывет к вышине!
О, уверуем в это мерцанье
И ему отдадимся вполне!
Да, уверуем в это мерцанье,
И за ним возлетим к вышине,
Через ночь — к золотой вышине!»

И Психею, — шепча, — целовал я,
Успокаивал дрожь ее дум,
Побеждал недоверие дум,
И свой путь с ней вдвоем продолжал я.
Но внезапно, высок и угрюм,
Саркофаг, и высок и угрюм,
С эпитафией дверь — увидал я.
И невольно, смущен и угрюм,
«Что за надпись над дверью?» — сказал я.
Мне в ответ: «Юлалюм! Юлалюм!
То — могила твоей Юлалюм!»

Стало сердце — скорбь без исхода,
Каждый помысл — как взмахи секир,
Память — грозные взмахи секир.
Я вскричал: «Помню прошлого года
Эту ночь, этот месяц, весь мир!
Помню: я же, с тоской без исхода,
Ношу страшную внес в этот мир
(Ночь ночей того страшного года!).
Что за демон привел нас в Уир!
Так! то — мрачного Обера воды,
То — всегда туманный Уир!
Топь и озера Обера воды,
Лес и область колдуний — Уир!»

(1924)

Перевод В. Брюсова

42д. УЛЯЛЮМ

Небеса были грустны и серы,
Прелых листьев шуршал хоровод,
Вялых листьев шуршал хоровод,—
Был октябрь одинокий без меры,
Был незабываемый год.
Шел вдоль озера я, вдоль Оберы,
В полной сумрака области Нодд,
Возле озера, возле Оберы,
В полных призраков зарослях Нодд.

Я брел по огромной аллее
Кипарисов— с моею душой,
Кипарисов— с Психеей, душой.
Было сердце мое горячее,
Чем серы поток огневой,
Чем лавы поток огневой,
Бегущий с горы Эореи
Под ветра полярного вой,
Свергающийся с Эореи,
Под бури арктической вой.

Разговор наш был грустный и серый,
Вялых мыслей шуршал хоровод,
Тусклых мыслей шуршал хоровод,
Мы забыли унылый без меры
Октябрь и мучительный год
(Всех годов истребительней год!),
Не заметили даже Оберы
(Хоть знаком был мне шум ее вод),
Даже озера, даже Оберы
Не заметили в зарослях Нодд.

Еще плотен был мрак уходящий,
Но зари уже близился срок,
Да, зари уже близился срок,
Как вдруг появился над чашей

Туманного света поток,
Из которого вылез блестящий
Двойной удивительный рог,
Двуалмазный и ярко блестящий
Астарты изогнутый рог.

Я сказал: «Горячей, чем Диана,
Она движется там, вдалеке,
Сквозь пространства тоски, вдалеке,
Она видит, как блещет слеза на
Обреченной могиле щеке.
Льва созвездье пройдя, из тумана
К нам глядит с нежным светом в зрачке,
Из-за логова Льва, из тумана,
Манит ласкою в ясном зрачке».

Перст подняв, отвечала Психея:
«Нет, не верю я этим рогам,
Не доверюсь я бледным рогам.
Торопись! Улетим поскорее
От беды, угрожающей нам!»
Затряслась; ее крылья за нею
Волочились по пыльным камням,
Зарыдала; а перья за нею
Волочились по грязным камням,
Так печально ползли по камням!

Я ответил: «Нас манит сиянье,
Все твои опасения — бред!
Все твои колебания — бред!
Надежду и Очарованье
Пророчит нам радостный свет!
Посмотри на сияющий свет!
Крепче веруй ты в это сверканье,
И оно нас избавит от бед!
Положись ты на это сверканье!
Нас избавит от горя и бед
В темном небе сияющий свет».

Целовал я ее, утешая,
 Разогнал темноту ее дум,
 Победил темноту ее дум.
 Так дошли мы до самого края,
 Видим: склеп, молчалив и угрюм,
 Вход в него молчалив и угрюм.
 «Что за надпись, сестра дорогая,
 Здесь, на склепе?» — спросил я, угрюм.
 Та в ответ: «Улялюм... Улялюм...
 Вот могила твоей Улялюм!»

Стал я сразу печальный и серый,
 Словно листьев сухой хоровод,
 Словно прелой листвы хоровод.
 Я вскричал: «Одинокий без меры
 Был октябрь в тот мучительный год!
 Видел я этот склеп... этот свод...
 Ношу снес я под каменный свод!
 Что за демон как раз через год
 Вновь под тот же привел меня свод?
 Да, припомнил я волны Оберы,
 Вспомнил область туманную Нодд!
 Да, припомнил я область Оберы,
 Вспомнил призраков в зарослях Нодд».

(1939)

Перевод Н. Чуковского

43а. ЭНИГМА

«Сыскать, — так молвил Соломон Дурак, —
 Нам не легко в сонете пол-идеи.
 И чрез пустое видим мы яснее,
 Чем рыбин чрез неапольский колпак.

Суета сует! Он не под силу дамам,
 И все ж, а х! рифм Петрарки тяжелой.

Из филина пух легкий, ветер, взвей,—
И будет он, наверно, тем же самым».

Наверняка тот Соломон был прав;
Смысл не велик лирических забав,—
Что колпаки и ль пузыри из мыла!

Но за сонетом у меня есть сила,
Бессмертен мой, как будто темный, стих:
Я имя поместил в словах моих!

(1924)

Перевод В. Брюсова

44а. ЗВОН

I

Внемлешь санок тонким звонам,
Звонам серебра?
Что за мир веселий предвещает их игра!
Внемлем звонам, звонам, звонам
В льдистом воздухе ночном,
Под звездистым небосклоном,
В свете тысяч искр, зажженном
Кристаллическим огнем,—
С ритмом верным, верным, верным,
Словно строфы саг размерным,
С перезвякиваньем мягким, с сонным отзвуком времен,
Звон, звон, звон, звон, звон, звон, звон,
Звон, звон, звон,
Бубенцов скользящих санок многозвучный перезвон!

II

Свадебному внемлешь звону,
Золотому звону?

Что за мир восторгов он вещает небосклону!
В воздухе душистом ночи
Он о радостях пророчит;
Нити золота литого,
 За волной волну,
Льет он в лоно сна ночного,
Так чтоб горлинки спросонок, умиленные, немели,
 Глядя на луну!
Как из этих фейных келий
Брызжет в звонкой эвфонии перепевно песнь веселий!
 Упоен, унесен
 В даль времен
Этой песней мир под звон!
Про восторг вещает он.
 Тех касаний,
 Колыханий,
Что рождает звон,
Звон, звон, звон, звон, звон,
 Звон, звон, звон,
Ритм гармоний в перезвоне,— звон, звон, звон!

III

Слышишь злой набата звон,
 Медный звон?
Что за сказку нам про ужас повествует он!
 Прямо в слух дрожащей ночи
 Что за трепет он пророчит?
 Слишком в страхе, чтоб сказать,
 Может лишь кричать, кричать.
 В безразмерном звоне том
Все отчаянье взыванья пред безжалостным огнем,
Все безумье состязанья с яростным, глухим огнем,
 Что стремится выше, выше,
 Безнадежной жаждой дышит,
 Слился в помысле одном,
 Никогда, иль ныне, ныне,
Вознестись к луне прозрачной, долететь до тверди синей!

Звон, звон, звон, звон, звон, звон, звон,
Что за повесть воет он
Об отчаяньи немом!
Как он воет, вопит, стонет,
Как надежды все хоронит
 В темном воздухе ночном!
Ухо знает, узнает
 В этом звоне,
 В этом стоне:
То огонь встает, то ждет;
Ухо слышит и следит
 В этом стоне,
 Перезвоне:
То огонь грозит, то спит.
Возрастаньем, замиранием все вещает гневный звон,
 Медный звон,
Звон, звон, звон, звон, звон, звон, звон,
 Звон, звон, звон,
Полный воем, полный стоном, исступленьем полный звон.

IV

Похоронный слышишь звон,
 Звон железный?
Что за мир торжеств унылых заключает он!
 Как в молчаньи ночи
Дрожью нас обнять он хочет,
Голося глухой угрозой под раскрытой звездной бездной!
 Каждый выброшенный звук,
Словно хриплый голос мук,
 Это — стон.
И невольно, ах! невольно,
Кто под башней колокольной
 Одиноко тянут дни,
 Звон бросая похоронный,
 В монотонность погруженный,
 Горды тем, что богомольно
Камень на сердце другому навалили и они.

Там не люди, и не звери,
 Нет мужчин и женщин, где стоит звонарь:
 Это демоны поверий,
 Звон ведет — их царь.
 Он заводит звон,
 Вопит, вопит, вопит он
 Гимн — пэан колоколов,
 Сам восторгом упоен
 Под пэан колоколов.
 Вопит он, скакать готов,
 В ритме верном, верном,
 Словно строфы саг размерном
 Под пэан колоколов
 И под звон;
 Вопит, пляшет в ритме верном,
 Словно строфы саг размерном,
 В лад сердцам колоколов,
 Под их стоны, под их звон,
 Звон, звон, звон;
 Вопит, пляшет в ритме верном,
 Звон бросая похорон
 Старых саг стихом размерным;
 Колокол бросая в звон,
 В звон, звон, звон,
 Под рыданья, стоны, звон,
 Звон, звон, звон, звон, звон,
 Звон, звон, звон
 Под стелящийся, под гудящий похоронный звон.

(1914)

Перевод В. Брюсова

45а. К ЕЛЕНЕ

Тебя я видел раз, один лишь раз.
 Ушли года с тех пор, не знаю, *сколько*, —
 Мне чудится, прошло *немного* лет.

То было знойной полночью Июля;
Зажглась в лазури полная луна,
С твоей душою странно сочетаясь,
Она хотела быть на высоте
И быстро шла своим путем небесным;
И вместе с негой сладостной дремоты
Упал на землю ласковый покров
Ее лучей сребристо-шелковистых,—
Прильнул к устам полураскрытых роз.
И замер сад. И ветер шаловливый,
Боясь движеньем чары возмутить,
На цыпочках чуть слышно пробирался:
Покров лучей сребристо-шелковистых
Прильнул к устам полураскрытых роз,
И умерли в изнеможеньи розы,
Их души отлетели к небесам,
Благоуханьем легким и воздушным;
В себя впивая лунный поцелуй,
С улыбкой счастья розы умирали,—
И очарован был цветущий сад —
Тобой, твоим присутствием чудесным.

Вся в белом, на скамью полусклонясь,
Сидела ты, задумчиво-печальна,
И на твое открытое лицо
Ложился лунный свет, больной и бледный.
Меня Судьба в ту ночь остановила
(Судьба, чье имя также значит Скорбь),
Она внушила мне взглянуть, помедлить,
Вдохнуть в себя волненье спящих роз.
И не было ни звука, мир забылся,
Людской враждебный мир,— лишь я и ты,—
(Двух этих слов так сладко сочетанье!),
Не спали— я и ты. Я ждал— я медлил—
И в миг один исчезло все кругом.
(Не позабудь, что сад был зачарован!)
И вот угас жемчужный свет луны,

И не было извилистых тропинок,
Ни дерна, ни деревьев, ни цветов,
И умер самый запах роз душистых
В объятиях любовных ветерка.
Все — все угасло — только ты осталась —
Не ты — но только блеск лучистых глаз,
Огонь души в твоих глазах блестящих.
Я видел только их — и в них свой мир —
Я видел только их — часы бежали —
Я видел блеск очей, смотревших в высь.
О, сколько в них легенд запечатлелось,
В небесных сферах, полных дивных чар!
Какая скорбь! какое благородство!
Какой простор возвышенных надежд,
Какое море гордости отважной —
И глубина способности любить!

Но час настал — и бледная Диана,
Уйдя на запад, скрылась в облаках,
В себе таивших гром и сумрак бури;
И, призраком, ты скрылась в полутьме,
Среди дерев, казавшихся гробами,
Скользнула и растаяла. Ушла.
Но блеск твоих очей со мной остался.
Он не хотел уйти — и не уйдет.
И пусть меня покинули надежды, —
Твои глаза светили мне во мгле,
Когда в ту ночь домой я возвращался,
Твои глаза блистают мне с тех пор
Сквозь мрак тяжелых лет и зажигают
В моей душе светильник чистых дум,
Неугасимый светоч благородства,
И, наполняя дух мой Красотой,
Они горят на Небе недоступном;
Коленопреклоненный, я молюсь,
В безмолвии ночей моих печальных,
Им — только им — и в самом блеске дня

Я вижу их, они не угасают:
Две нежные лучистые денницы—
Две чистые вечерние звезды.

(1895)

Перевод К. Бальмонта

456. ЕЛЕНЕ

Тебя я видел раз, лишь раз; шли годы;
Сказать не смею сколько, но не много.
То был Июль и полночь; и от полной
Луны, что, как твоя душа, блуждая
Искала путь прямой по небесам,—
Сребристо-шелковым покровом света,
Спокойствие, и зной, и сон спадали
На поднятые лики тысяч роз,
В саду волшебном выросших, где ветер
Смел пробегать на цыпочках едва,—
На поднятые лица роз спадали,
Струивших, как ответ на свет любовный
В безумной смерти, аромат души,—
На лица роз спадали, что смеялись
И умирали в том саду, заклятom
Тобой и чарой близости твоей.

Одетой в белом, на ковре фиалок,
Тебя лежащей видел я; свет лунный
Скользил на поднятые лица роз
И на твое,— ах! поднятое с грустью.

Была ль Судьба— та полночь, тот Июль,
Была ль Судьба (что именуют Скорбью),
Что повелела мне у входа медлить,
Вдыхая ароматы сонных роз?
Ни шага вокруг; проклятый мир— дремал,
Лишь ты и я не спали (боже! небо!

Как бьется сердце, единя два слова).
Лишь ты и я не спали. Я смотрел,
И в миг единый все вокруг исчезло
(О, не забудь, что сад был тот — волшебный!),
Луны погасли перловые блески,
Скамьи из моха, спутанные тропки,
Счастливые цветы, деревья в грусти,—
Все, все исчезло; даже запах роз
В объятиях ароматных вздохов умер:
Исчезло все,— осталась ты,— нет, меньше,
Чем ты: лишь дивный свет — очей твоих,
Душа твоих взведенных в высь очей.
Лишь их я видел: то был — весь мой мир;
Лишь их я видел; все часы лишь их,
Лишь их, пока луна не закатилась.

О, сколько страшных сказок сердца было
Написано на тех кристальных сферах!
Что за тоска! Но что за упованья!
И что за море гордости безмолвной!
Отважной гордости, и несравненной
Глубокой силы роковой Любви!

Вот, наконец, Диана, наклоняясь
На запад, стерла грозовые тучи;
Ты, призрак, меж деревьев осенявших
Тебя, исчезла. Лишь глаза остались,
Не уходили, — не ушли век,
Мне освещая одинокий к дому
Мой путь, светили (как надежды) — вечно.
Они со мной ведут меня сквозь годы,
Мне служат, между тем я сам — их раб;
Их дело — обещать, воспламенять
Мой долг; спасаем я их ярким блеском,
Их электрическим огнем очищен,
Я освещен огнем их елисейским.
Мне наполняя душу Красотой
(Она ж — Надежда), светят в небе — звезды,

Что на коленях чту в ночных томленьях;
Но вижу их и в полном блеске полдня,
Всегда их вижу,— блещущие нежно
Венеры две, что не затмит и солнце.

(1924)

Перевод В. Брюсова

46а. FOR ANNIE

Слава Богу, что кризис
миновал; не вернется
и тот бред беспокойный,
— то, что жизнью зовется —
и тяжелая немощ
никогда не вернется.

изменили мне силы,
изменили бесспорно —
я лежу без движенья,
безучастно, покорно...
Что с того? Я ведь знаю,
что мне легче бесспорно.

И так тихо, недвижно
я лежу распростертый,
что любой очевидец
скажет сразу: «Он мертвый»,
отшатнется с испугом
и воскликнет: «Он мертвый»!

Унялись мои стоны,
слез и вздохов не стало,
успокоилось сердце,
что так биться устало,
так мучительно билось
и так биться устало.

Тошнота и томление —
все ушло невозвратно;
те ужасные муки
не вернутся обратно,
как и Жизнь-лихорадка
не вернется обратно.

Та жестокая жажда,
у которой во власти
я страдал и томился,
уменьшилась отчасти —
я не рвусь уж к тем водам
отравляющей страсти;
я узнал про источник,
утоляющий страсти:

то источник подземный,
незаметно для ока,
он шумит и струится
под землей неглубоко,
он струится в пещере —
но совсем не глубоко.

Тщетно б люди пустые
доказать мне хотели,
что в жилье моем мрачно,
что мне тесно в постели,
ведь нигде так не спится,
как в подобной постели.

Здесь измученный дух мой
успокоился в грезах,
не жалея о миртах,
забывая о розах,
как о прежних волненьях,
так о миртах и розах.

Мне не жаль тех восторгов
аромата и ласки...

Нет, мне чудятся ныне
лишь анютины глазки,
розмарин,— или рута—
да анютины глазки,
целомудренно-скромны
те анютины глазки.

Так мой дух отдыхает
в торжестве совершенном,
и мне грезится Анни
в сновиденьи блаженном,
мне является Анни
в откровеньи блаженном.

Как она, моя радость,
обняла меня нежно:
на груди ее милой
я заснул безмятежно,
в ее дивных объятьях
задремал безмятежно;

уложила, накрыла
с той же лаской чудесной
и меня поручила
благодати небесной,
сонму духов бесплотных
и Царице Небесной.

И так тихо, бесстрастно
я лежу распростертый,
что и вы поневоле
согласитесь: «Он мертвый»,
отшатнетесь в испуге,
воскликая: «Он мертвый!»

Что с того? В моем сердце
все спокойно и ясно;
в нем любовь моей Анни

светит ярко, прекрасно,
светлый взор моей милой
отразился в нем властно,
в нем царит моя Анни
нераздельно и властно!

(1909)

Перевод М. Трубецкой

466. К АННИ

Хваление небу!

Опасность прошла,
Томленье исчезло,
И мгла лишь была,
Горячка, что «Жизнью»
Зовется— прошла.

Прискорбно, я знаю,
Лишился я сил,
Не сдвинусь, не стронусь,
Лежу, все забыл—
Но что в том!— теперь я
Довольней, чем был.

В постели, спокойный
Лежу наконец,
Кто глянет, тот дрогнет,
Помыслит— мертвец,
Узрев меня, вздрогнет,
Подумава— мертвец.

Рыдания, стенанья,
И вздохи, и пени.
Спокойны теперь,
И это терзанье,
Там в сердце:— терзанье,
С биением в дверь.

Дурнотные пытки
Безжалостных чар
Исчезли с горячкой,
Развеян угар,
С горячкою «Жизнью»,
Что жжет, как пожар.

Из пыток, чье жало
Острее, чем змеи,
Всех пыток страшнее,
Что есть в бытии,—
О, жажда, о, жажда
Проклятых страстей,
То горные смолы,
Кипучий ручей.

Но *это* утихло,
Испил я от вод,
Что гасят всю жажду:—
Та влага поет,
Течет колыбелью
Она под землей,
Из темной пещеры,
Струей ключевой,
Не очень далеко,
Вот тут под землей.

И о! да не скажут,
В ошибке слепой—
Я в узкой постели,
В темнице глухой:—
Человек и не спал ведь
В постели другой—
И коль *спать*, так уж нужно
Быть в постели такой.

Измученный дух мой
Здесь в тишости грез,

Забыл, или больше
Не жалеет он роз,
Этих старых волнений
Мирт и пахнувших роз: —

Потому что, спокойный
Лелея привет,
Запах лучший вдыхает он —
Троицын цвет,
Розмарин с ним сливает
Аромат свой и свет —
И рута — и красивый он,
Троицын цвет.

И лежит он счастливый,
Видя светлые сны,
О правдивости Анни,
О красивой те сны,
Нежно, локоны Анни
В эти сны вплетены.

Сладко так целовала —
«Задремли — не гляди» —
И уснул я тихонько
У нее на груди,
Зачарованный лаской
На небесной груди.

С угасанием света
Так укрыла тепло,
И молила небесных,
Да развеют все зло,
Да царица небесных
Прочь ответит все зло.

И лежу я в постели,
И утих наконец
(Ибо знаю, что любит),
В ваших мыслях — мертвец,

А лежу я довольный,
Тишина — мой венец,
(На груди моей — ласка),
Вы же мните — мертвец,
Вы смотрите, дрожите,
Мысля — вот, он мертвец.

Но ярчей мое сердце
Всех небесных лучей,
В сердце искрится Анни,
Звезды нежных очей,
Сердце рдеет от света
Нежной Анни моей,
Все любовью одето
Светлой Анни моей!

(1911)

Перевод К. Бальмонта

46в. К ЭННИ

Слава небу! был кризис, —
Опасность прошла.
С болезнью, что грызла,
Что медленно жгла,
Та, что названа «Жизнью»,
Лихорадка прошла.

Грустно я знаю,
Что нет больше сил;
Мне и членом не двинуть,
Я лежу, я застыл;
Ну, так что же! Мне лучше,
Когда я застыл.

Я покоюсь так мирно,
В постели простерт,

Что тот, кто посмотрит,
Подумает: мертв,—
Задрожит, меня видя,
Подумаю: он — мертв.

Стенанья, страданья,
Вздохи, рыданья —
Утихли вдруг,
И сердца жестокий,
Ужасный, глубокий,
Сердца стук.

Болезнь, и тошноты,
И муки — прошли,
Лихорадки исчезли,
Что череп мой жгли;
Те, что названы «Жизнью»,
Лихорадки прошли.

И о! из всех пыток,
Что была всех сильней,
Успокоилась жажда
В груди моей,
Та жгучая жажда
Проклятых страстей:
Я глотнул; и погас он,
Нефтяной ручей!

Я глотнул чистой влаги,
Что катилась, журча,
Струилась так близко
Под ногой, из ключа,—
Из земли, в неглубокой
Пещере ключа.

И о! никогда пусть
Не подскажет вам хмель,
Что темно в моей келье,
Что узка в ней постель.

Разве люди в иную
Ложатся постель?
Чтобы *спать*, лишь в такую
Должно лечь постель.

Рассудок мой — Танта́л —
В ней исполнен грез,
Забьл, не жалеет
О прелести роз,
О волненьях при виде
Мирт и роз.

Теперь, когда спит он,
И покой так глубок,
Святей ему дышит
Анютин глазок;
Аромат здесь он слышит
Твой, Анютин глазок!
Розмарин здесь, и рута,
И Анютин глазок.

Так, я счастлив в постели
Дыханием грез
И прелестью Энни,
Омытый в купели
Ароматных волос —
Прекрасной Энни.

Поцелуем согретый,
Лаской нежим, — на грудь
Преклонился я к Энни.
Чтоб тихо уснуть, —
Ей на грудь, словно в небо,
Чтоб глубоко уснуть.

Свет погашен; покрыт я,
Постель тепла.
Энни ангелов молит,

Да хранят ото зла,
Да хранит их царица
Меня ото зла.

И лежу я спокойно,
В постели простерт,
Любовь ее зная,
А вы скажете: мертв!
Я покоюсь так мирно,
В постели простерт,
Любовью согретый,
А вам кажется: мертв!
Вы, увидя, дрожите,
Подумав: мертв!

И ярче сердце,
Чем на небе звезды
Ночью весенней
В нем светит Энни!
Горит разогрето,
Любовию Энни,
И мыслью и светом
Глаз моей Энни!

(1924)

Перевод В. Брюсова

47а. ЭЛЬДОРАДО

Между гор и долин
Едет рыцарь один,
Никого ему в мире не надо.
Он все едет вперед,
Он все песню поет,
Он замыслил найти Эльдорадо.

Но в скитаньях — один
Дожил он до седин,

И погасла былая отрада.
Ездил рыцарь везде,
Но не встретил нигде,
Не нашел он нигде Эльдорадо.

И когда он устал,
Пред скитальцем предстал
Странный призрак — и шепчет: «Что надо?»
Тотчас рыцарь ему:
«Расскажи, не пойму,
Укажи, где страна Эльдорадо?»

И ответила Тень:
«Где рождается день,
Лунных Гор где чуть зрима громада.
Через ад, через рай,
Все вперед поезжай,
Если хочешь найти Эльдорадо!»

(1899)

Перевод К. Бальмонта

476. ЭЛЬ-ДОРАДО

Он на коне,
В стальной броне;
В лучах и тенях Ада,
Песнь на устах,
В днях и годах
Искал он Эль-Дорадо.

И стал он сед
От долгих лет,
На сердце — тени Ада.
Искал года,
Но нет следа
Страны той — Эль-Дорадо.

И он устал,
В степи упал...
Предстала Тень из Ада,
И он, без сил,
Ее спросил:
«О Тень, где Эль-Дорадо?»

«На склоны чер-
ных Лунных гор
Пройди,— где тени Ада!—
В ответ Она.—
Во мгле без дна—
Для смелых— Эль-Дорадо!»

(1924)

Перевод В. Брюсова

47в. ЭЛЬДОРАДО

Надев перевязь
И не боясь
Ни зноя, ни стужи, ни града,
Весел и смел,
Шел рыцарь и пел
В поисках Эльдорадо.

Но вот уж видна
В волосах седина,
Сердце песням больше не радо:
Хоть земля велика —
Нет на ней уголка,
Похожего на Эльдорадо.

Устал он идти,
Но раз на пути
Заметил тень странника рядом
И решился спросить:

«Где может быть
Чудесный край Эльдорадо?»

«Ночью и днем,
Млечным Путем,
За кущи Райского сада
Держи свой путь,—
Ну, и стоек будь,
Если ищешь ты Эльдорадо».

(1958)

Перевод Э. Гольдернесса

47г. ЭЛЬДОРАДО

С песней в устах,
Отринув страх,
В палящий зной, в прохладу—
Всегда в седле,
По всей земле
Рыцарь искал Эльдорадо.

Где юный жар?
Он грустен и стар,
Легла на грудь прохлада:
Искал он везде,
Но нет нигде,
Нет и подобья Эльдорадо.

Встала пред ним
Тень-пилигрим.
Смертным повеяло хладом.
«Тень, отвечай:
Где этот край,
Край золотой Эльдорадо?»

«Мчи грядою
Лунных гор,
Мчи Долиной Тьмы и Хлада,—
Молвит Тень,—
Мчи ночь и день,
Если ищешь Эльдорадо».

(1972)

Перевод Н. Вольпин

48а. К МОЕЙ МАТЕРИ

Когда в Раю, где дышит благодать,
Нездешнюю любовью томимы,
Друг другу нежно шепчут серафимы,
У них нет слов нежней, чем слово Мать.

И потому-то пылко возлюбила
Моя душа тебя так звать всегда,
Ты больше мне, чем мать, с тех пор, когда
Виргиния навеки опочила.

Моя родная мать мне жизнь дала,
Но рано, слишком рано умерла.
И я тебя как мать люблю,— но Боже!

Насколько ты мне более родна,
Настолько, как была моя жена
Моей душе—моей души дороже!

(1901)

Перевод К. Бальмонта

48б. МОЕЙ МАТЕРИ

И ангелы, спеша в просторах рая
Слова любви друг другу прошептать,
Признаньями огнистыми сжигая,
Названья не найдут нежней, чем «мать».

Вот почему и вас так звал всегда я:
Вы были больше для меня, чем мать,
Вы в душу душ вошли,—с тех пор, как, тая,
Виргиния взнеслась, чтоб отдыхать!

Моя родная мать скончалась рано,
Она — мне жизнь дала, вы дали — той,
Кого любил я нежно и безгранно.

Вы более мне стали дорогой
Так бесконечно, как в священной дрожи,
Душе — она, чем жизнь своя дороже.

(1924)

Перевод В. Брюсова

49а. АННАБЕЛЬ-ЛИ

Многие, многие годы назад,
У моря родной мне земли,
Жила одна девушка, звали ее
Красавицей Аннабель-Ли,
И, кроме любви, ни о чем
И думать мы с ней не могли.

Оба мы были простыми детьми,
Детьми той приморской земли;
Но выше земной была эта любовь,
Любовь к моей Аннабель-Ли,—
Настолько, что даже завидовать ей
И ангелы в небе могли!

Многие, многие годы назад
Осенние тучи пришли,
И ветром холодным убили они
Красавицу Аннабель-Ли.
Родные зарыли в могилу ее
У моря родной ей земли.

Знаю — завидовать нашей любви
 И ангелы в небе могли!
 И вот где причина (про то говорят
 Все люди приморской земли),
 Что ветер осенний унес от меня
 Красавицу Аннабель-Ли.

Да, наша любовь была выше земной!
 Ни взрослые так полюбить не могли,
 Ни мудрые так не могли,—
 И кто разлучит ее душу со мной?
 Ни ангелы неба, ни духи земли—
 Не в силах никто меня с ней разлучить,
 С любимой Аннабель-Ли!

Мне при свете луны в душу крадутся сны
 О красавице Аннабель-Ли;
 И в мерцании ночей вижу свет я очей
 Дорогой моей Аннабель-Ли...
 Я расстаться с моей дорогой не могу
 И всю ночь провожу на морском берегу,
 На могиле родной мне земли,
 Возле Аннабель-Ли.

(1879)

Перевод Д. Садовникова

496. АННАБЕЛЬ-ЛИ

Это было давно, это было давно,
 В королевстве приморской земли:
 Там жила и цвела та, что звалась всегда,
 Называлась Аннабель-Ли,
 Я любил, был любим, мы любили вдвоем,
 Только этим мы жить и могли.

И, любовью дыша, были оба детьми
 В королевстве приморской земли.

Но любили мы больше, чем любят в любви,—
Я и нежная Аннабель-Ли,
И, взирая на нас, серафимы небес
Той любви нам простить не могли.

Оттого и случилось когда-то давно,
В королевстве приморской земли,—
С неба ветер повеял холодный из туч,
Он повеял на Аннабель-Ли;
И родные толпой многозатной сошлись
И ее от меня унесли,
Чтоб навеки ее положить в саркофаг,
В королевстве приморской земли.

Половины такого блаженства узнать
Серафимы в раю не могли,—
Оттого и случилось (как ведомо всем
В королевстве приморской земли),—
Ветер ночью повеял холодный из туч
И убил мою Аннабель-Ли.

Но, любя, мы любили сильней и полней
Тех, что старости бремя несли,—
Тех, что мудростью нас превзошли,—
И ни ангелы неба, ни демоны тьмы,
Разлучить никогда не могли,
Не могли разлучить мою душу с душой
Обольстительной Аннабель-Ли.

И всегда луч луны навевает мне сны
О пленительной Аннабель-Ли:
И зажжется ль звезда, вижу очи всегда
Обольстительной Аннабель-Ли;
И в мерцаньи ночей я все с ней,
С незабвенной—с невестой—с любовью моей—
Рядом с ней распростерт я вдали,
В саркофаге приморской земли.

(1895)

Перевод К. Бальмонта

49в. АННАБЕЛЬ ЛИ

Много лет, много лет прошло
У моря, на крае земли.
Я девушку знал, я ее назову
Именем Аннабель Ли,
И жила она только одной мечтой—
О моей и своей любви.

Я ребенок был, и ребенок она,
У моря на крае земли,
Но любили любовью, что больше любви,
Мы, и я и Аннабель Ли!
Серафимы крылатые с выси небес,
Не завидовать нам не могли!

Потому-то (давно, много лет назад,
У моря на крае земли)
Холоден, жгуч, ветер из туч
Вдругдохнул на Аннабель Ли,
И родня ее, знатная, к нам снизошла,
И куда-то ее унесли,
От меня унесли, положили во склеп,
У моря, на крае земли.

Вполовину, как мы, серафимы небес
Блаженными быть не могли!
О, да! потому-то (что ведали все
У моря на крае земли)
Полночью злой вихрь ледяной
Охватил и убил мою Аннабель Ли!

Но больше была та любовь, чем у тех,
Кто пережить нас могли,
Кто мудростью нас превзошли,
И ни ангелы неба,—никогда, никогда!—
Ни демоны с края земли
Разлучить не могли мою душу с душой
Прекрасной Аннабель Ли!

И с лучами луны нисходят сны
О прекрасной Аннабель Ли,
И в звездах небеса горят, как глаза
Прекрасной Аннабель Ли,
И всю ночь, и всю ночь, не уйду я прочь,
Я все с милой, я с ней, я с женой моей,
Я—в могиле, у края земли,
Во склепе приморской земли.

(1924)

Перевод В. Брюсова

49г. АННАБЕЛЬ ЛИ

С тех пор пролетели года и года;
У моря, где край земли,
Вы, может быть, девушку знали тогда
По имени Аннабель Ли,
Друг другу сердца отдав навсегда,
Мы расстаться на миг не могли.

Мы были как дети, она и я,
У моря, где край земли,
В то давнее, давнее время, когда
Жила здесь Аннабель Ли,
И ангелы неба смотреть на нас
Без зависти не могли.

И вот почему из тучи тогда,
У моря, где край земли,
Ветер холодный смертьюдохнул
На прекрасную Аннабель Ли.
И богатый сородич пришел за ней,
И ее схоронили вдали,
В пышной гробнице ее схоронил,
У моря, где край земли.

Да! Ангелы неба смотреть на нас
Без зависти не могли —
И вот (все это знали тогда
У моря, где край земли).
Ветер дунул из туч ночных,
Сгубил и убил Аннабель Ли.

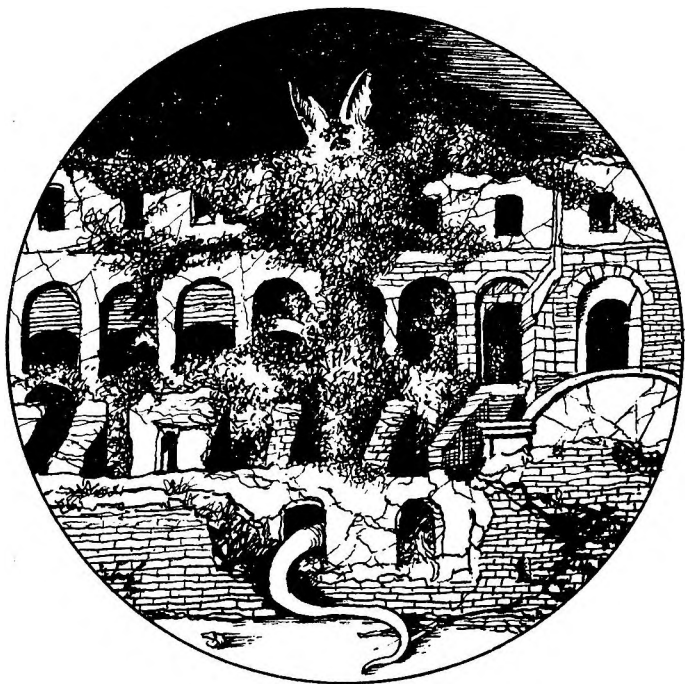
Но самые мудрые никогда
Любить так, как мы, не могли,
Сильнее любить не могли.
И ангелы неба не смели тогда
И демоны недр земли
Разделить, разлучить душу мою
И душу Аннабель Ли.

И сиянье луны навевает мне сны
О прекрасной Аннабель Ли.
Если всходит звезда, в ней мерцает всегда
Взор прекрасной Аннабель Ли.
Бьет ночной прибой — и я рядом с тобой,
С моею душой и женой дорогой, —
Там, в гробнице, где край земли,
Там, у моря, где край земли!

(1946)

Перевод А. Оленича-Гнененко

Комментарии





ЭДГАР ПО В РОССИИ

Имя Эдгара Аллана По стало известно русским читателям в конце 40-х годов XIX века. К этому времени знакомство России с американской литературой было весьма ограниченным: из крупных писателей знали Купера, значительно меньше — Вашингтона Ирвинга. Причин такой малой осведомленности русских читателей было немало, и среди них не последнюю роль играл «языковый барьер». Если литературные связи России и Франции были в ту пору традиционными и прочными, то этого никак нельзя было сказать об отношениях с молодой американской литературой, поэтому не удивительно, что первые переводы По (как и, впрочем, многие последующие тоже) были сделаны не с английского, а с французского языка. Однако важно иметь в виду, что произведения По появились в русских журналах еще при жизни американского писателя (рассказ «Золотой жук» в анонимном переводе в сборнике «Новая библиотека для воспитания». М., 1847). Россия была второй страной после Франции, заинтересовавшейся творчеством писателя — первый французский перевод из Эдгара По — также «Золотой жук» — был опубликован в 1845 году. Этот рассказ привлек внимание В. Г. Белинского, упомянувшего о нем в своей рецензии¹.

¹ Белинский. В. Г. Полн. собр. соч. М., 1956, т. 10, с. 142.

Выход в свет статей Бодлера об Эдгаре По не прошел незамеченным в России. Аполлон Григорьев, который был в начале 50-х годов прошлого столетия ведущим критиком журнала «Москвитянин», довольно подробно разбирает эссе Бодлера. Однако в По он видит «писателя-мистика», недо-ступного большинству, проводившего в рассказах свои особенные мысли»¹.

Следующими рассказами По, появившимися в России, были «Голландский воздухоплаватель», «Спуск в Мельстром», «1002 ночь». Русская критика отнеслась к ним сдержанно, и, хотя рассказы По начинают публиковаться в «Библиотеке для чтения» и в «Заграничном вестнике», его считают «странным писателем, в чьих новеллах больше химических снарядов, чем мужчин и женщин»². Другие критики склонны были видеть в рассказах американского писателя лишь «самовыражение больной личности»³.

Многогранность дарования По предоставляла читателям возможность акцентировать свое внимание на отдельных, весьма специфических сторонах его творчества. Так, например, журнал «Ребус», который уделял большое внимание вопросам спиритизма и оккультных наук, восторженно приветствовал в По единомышленника.

Издатели считали его новеллы приятным развлекательным чтением и стали выпускать рассказы По в дешевых сериях «Дорожной библиотеки», «Чтения для детей и народа» и даже в «Библиотеке ужасов» наряду с «кровавыми драмами» Андре де Лорда и рассказами Пшибышевского.

Естественно, что и переводы этого времени вполне соответствовали «установкам» издателей: они далеки от точности, в них подчеркивалась лишь фабульная сторона; психологическая глубина, отличавшая лучшие произведения По, безвозвратно исчезала. Таковы малохудожественные, бесцветные переводы, вошедшие в трехтомник «Необыкновенные расска-

¹ Обзорение иностранной журналистики за 1852 г.— Москвитянин, 1852, № 22, с. 14.

² Библиотека для чтения, 1855, т. 130, с. 112.

³ Заграничный вестник, 1866, № 1, с. 24.

зы Э. Поэ» (1885, СПб, изд. А. С. Суворина). В том же, 1885, году В. Н. Маракуев издал в Москве том «Повестей, рассказов, критических этюдов и мыслей Э. По» в переводе также анонимном и, по словам К. Бальмонта, «полностью лишенном литературного значения благодаря его малограмотности»¹. Разумеется, такие переводы давали весьма отдаленное представление о подлиннике.

Вероятно, какое-то время По грозила перспектива стать в представлении русских читателей лишь автором забавного «Золотого жука» и десятка замысловатых рассказов, если бы его произведения не привлекли внимания Ф. М. Достоевского. Поместив в 1861 году в своем журнале «Время» три рассказа По («Сердце-обличитель», «Черный кот» и «Черт в ратуше»), Достоевский написал небольшую статью о новеллах По, где отметил неповторимое своеобразие фантазии американского писателя. Особое восхищение у Достоевского вызвала «проницательность... поражающая верность, с которой он рассказывает о состоянии души человека»².

Не удивительно, что Достоевского, тонкого художника-психолога, привлекли именно эти стороны таланта По. Однако многие западные литературоведы склонны видеть в словах Достоевского прямое признание воздействия Эдгара По на его собственное творчество³. Но не следует забывать, что к началу 1860-х годов Достоевский был уже сложившимся писателем, автором таких вещей, как «Бедные люди» (1846), «Двойник» (1846), «Белые ночи» (1848), «Униженные и оскорбленные» (1861).

Из переводов этого времени выделяются работы писателя-демократа Н. Шелгунова, опубликованные в журнале «Дело» в 1874 году. Во вступительной статье к этой публикации Шелгунов дает восторженную оценку рассказам По. Заслуживает интереса тот факт, что революционный демократ увидел

¹ Бальмонт К. Вступительная статья к кн.: Баллады и фантазии Э. По. М., 1895, с. XII.

² Время, 1861, кн. 1, с. 231.

³ См., например, вступление к кн.: Edgar Allan Poe. *A Collection of Critical Essays*. Ed. by R. Reagan, N.Y., 1967, p. 8.

и оценил в По именно те качества, которые привлекли и Бодлера: «Если в Гофмане,—пишет Шелгунов,—выразилась Германия и немецкая душа, то в Эдгаре По, напротив, выразился антипод янки, превратившего время, небо и землю в деньги и аршин»¹.

Однако в целом переводы 1850—1870 годов передавали лишь занимательно-событийную сторону рассказов По. Стихотворения По до конца 1870-х годов не переводились. Первым стихотворением, которое привлекло внимание переводчиков, был знаменитый «Ворон». Поэтому разговор о судьбе поэзии По в России по неизбежности тесно связан с темой освоения русскими переводчиками «Ворона».

Первый русский перевод «Ворона» принадлежит С. А. Андреевскому и был опубликован в марте 1878 года в «Вестнике Европы». С. А. Андреевский (1847—1919) заслуживает того, чтобы о нем упомянуть особо. Русский поэт и критик, по профессии юрист, ученик и друг А. Ф. Кони, он известен своим участием в деле В. Засулич (он должен был выступать защитником, однако не был допущен к процессу). Андреевский опубликовал статьи о Лермонтове, Баратынском, Тургеневе; трактат «О смерти». Но перевод «Ворона», выполненный Андреевским, это практически пересказ, сделанный четырехстопным ямбом. Андреевский попытался теоретически обосновать необходимость изменения размера в комментариях: «Не говоря уже о том, что, соблюдая такой размер, т. е. размер подлинника (речь идет о «Вороне». — Е. Н.), мы должны были бы во многом исказить смысл подлинника, сверх того, музыка подобного стиха в русском переводе несколько не соответствует характеру поэмы — печальному и мрачному... В своем переводе мы, конечно, старались передать не столько буквенный текст подлинника, сколько его общее впечатление и всегда, в самих отступлениях, действовали в духе приемов автора»². Справедливости ради надо

¹ Дело, 1874, № 4, с. 276.

² Андреевский С. А. Стихотворения (1878—1885). СПб, 1886, с. 168—169.

отметить, что переводчику это не всегда удавалось: помимо неудачных мест, в переводе встречаются и явные русицизмы, иногда возникает условно-романтический пейзаж, которого нет у По:

И эхо нелюдимых скал
В ответ шепнуло мне его,
Тот звук...

Вскоре появился перевод «Ворона» Л. Пальмина, сделанный явно «по Андреевскому», с некоторыми сокращениями и слегка измененной строфической. Через два года после выхода в свет перевода Л. Пальмина публикуется «кондратьевский вариант»: сохранены те же рифмы, лишь заменен размер.

«Теоретическое» обоснование необходимости изменения размера подлинника, данное С. Андреевским, оказалось настолько живучим, что в переводе Л. Оболенского (см.: Оболенский Л. Е. «Последние поэмы». СПб, 1886) мы вновь встречаемся с четырехстопным ямбом.

Существует и перевод «Ворона» в прозе, сделанный неизвестным переводчиком («Повести, рассказы, критические этюды и мысли Э. По». М., 1885),— перевод крайне далекий от оригинала.

Во всех ранних поэтических переводах По—будь то «Ворон», «Страна сновидений» или «Аннабель Ли»—заметно стремление переводчиков «подогнать» стихотворения По под привычные поэтические формы, в результате чего американский поэт полностью теряет свою индивидуальность, выглядит бледным отражением Апухтина или Надсона.

Положение значительно меняется к концу 1880-х—началу 1890-х годов, когда в русской литературе складывается направление, получившее название символизма и объединившее на некоторое время весьма различных писателей и поэтов. В Эдгаре По символисты видели своего прямого предшественника. Так, К. Бальмонт в предисловии к «Балладам и фантазиям» По утверждал, что «Э. По—первый по значению и первый хронологически поэт-символист XX ве-

ка»¹. Русские символисты разделяли восторженное отношение к По Бодлера, который был для них одним из «учителей». Стихами Бодлера увлекались и Мережковский, и молодой Брюсов, и Бальмонт. Так, в стихотворении Брюсова «К Бодлеру» есть строки:

Как страшно радостный и близкий мне пример,
Ты все мне чудисься, божественный Бодлер,
Любовник ужасов, обрывов и химер!
Пребудь же призраком вовек в душе моей,
С тобой дай слиться мне, о маг и чародей,
Чтоб я без ужаса мог быть среди людей!

Поэтому символисты считали долгом чести продолжить дело, начатое Бодлером,—доказать, что Америка не разглядела в Эдгаре По великого поэта. С конца 1880-х и до 1910-х годов—в период, совпадающий с расцветом русского символизма,—происходит настоящее знакомство русских читателей с творчеством По. В трагической судьбе американского поэта символистам слышался вызов силам, враждебным искусству. Нельзя забывать, что для «русских символистов первого поколения символизм был прежде всего освобождением: освобождением от односторонней аскетической морали русской либеральной общественности»². По стал в их глазах изгоем и пророком.

Заслуживает внимания высокая оценка творчества По, данная Александром Блоком: он назвал американского поэта «тайным возрождением Нового Света», увидев в нем «тайную запрятанную глубокую культуру», и даже поставил По в один ряд с Пушкиным³.

В представлении символистов По был одинокой фигурой на общем фоне американской литературы XIX века. В таком подходе была известная односторонность, вызванная поверх-

¹ Эдгар По. Баллады и фантазии. М., 1895, с. IX.

² Жирмунский В. Преодолевшие символизм.—В кн.: В. Жирмунский. Вопросы теории литературы. Л., 1928, с. 278.

³ Блок А. Собр. соч. в 6 тт. М., 1971, т. 6—«Записные книжки», запись от 10 ноября 1911 г.

ностным знакомством с американской литературой. В глазах русских символистов По превратился в первого «проклятого» поэта, а высокая оценка его произведений подкрепляется непререкаемым авторитетом Бодлера.

Особое значение символисты придавали музыкальности стиха. Поэтому не удивительно, что именно «Ворон» привлек их внимание в первую очередь. В 1890 году появляется перевод этого стихотворения, выполненный Д. Мережковским.

По своим художественным достоинствам он несоизмеримо выше всех предыдущих. Мережковский впервые попытался передать в переводе размер и внутреннюю рифмовку подлинника. Однако набор художественных средств, которыми пользуется Мережковский, ограничен. Некоторые слова введены явно только ради рифмы. Есть и прямые добавления в духе Мережковского, имеющие мрачный символический смысл:

Тот не жди себе отрады,
В чьем дому на бюст Паллады
Сядет Ворон над дверьми,
От несчастья никуда
Тот, кто Ворона увидел,
Не спасется никогда.

В 1895 году выходят в свет «Баллады и фантазии» Э. По в переводе К. Бальмонта. Долгое время именно с бальмонтскими переводами были связаны главные впечатления русских читателей о поэзии По.

Вопрос о творчестве Бальмонта — поэта и переводчика — довольно сложен: выросло уже несколько поколений, по сути дела знающих о Бальмонте лишь понаслышке, — единственное за долгие годы издание произведений Бальмонта (включая и переводы) вышло в серии «Библиотека поэта» в 1969 году. Репутация его и как поэта, и как переводчика многим представляется весьма сомнительной: понятие «бальмонтщина» заслонило самого поэта. Но напомним, что о Бальмонте высоко отзывались Чехов и Горький, Брюсов и Блок, Белый и Цветаева, Анненский и Балтрушайтис. В течение

десятилетий Бальмонт был признанным мэтром русской поэзии. Блок говорил, что «с именем Бальмонта у меня с давних пор соединяется чувство весны и запах черемухи»¹. Марина Цветаева считала, что «Бальмонт — лучшее, что дал старый мир... Мы все обязаны ему...». Брюсов в книге *Urbi et orbi* посвятил Бальмонту послание:

Вечно вольный, вечно юный,
Ты как ветер, как волна,
Речь твоя поет как струны,
Входит в души, как весна...

И кончалось оно словами:

Мы пророки... Ты — поэт.

Это признание очень важно для понимания оценки Бальмонта современниками. Разумеется, оценка эта подвергалась пересмотру, как, например, у Брюсова — от клятв в вечной дружбе и восторженных признаний до полууничижительных оценок в статьях 1921 года.

Неоднородно и переводческое наследие Бальмонта. Диапазон переводимых им поэтов поражает широтой: Бальмонт открыл для русской литературы целый ряд имен, доселе неизвестных или известных крайне мало: Блейка и Байрона, Шелли и Э. По, Теннисона, Уайльда, Бодлера, Мицкевича. Он переводил из французской, испанской, польской, чешской, болгарской, литовской, грузинской, индийской, японской, монгольской поэзии... Бальмонт «проглатывал» целые библиотеки, постоянно изучал новые языки, побывал в десятках экзотических стран — не считая стран европейских. По справедливому замечанию Л. Озерова, «Бальмонт в своем творчестве актер... Он любил перевоплощаться не только в другого человека, но и в другой народ»².

Сам Бальмонт писал:

Нам нравятся поэты
Похожие на нас.

¹ Блок. А. Собр. соч. в 6 тт. М., 1971, т. 6, с.111.

² Озеров Л. Необходимость прекрасного. М., 1983, с. 215.

Поэты, которых переводил Бальмонт, и в самом деле были ему внутренне близки. Для заработка он переводил лишь в начале своего литературного пути, когда друзья достали ему заказы на переводы из истории Скандинавии и Италии (1890 год).

В переводческих пристрастиях Бальмонта заметна тяга к ярким незаурядным личностям. «Из поэтов особенно привлекали Бальмонта те, которые любили и умели изображать цельные, стремительные характеры и типы людей исключительных, живущих «удесятеренной» жизнью... Этим объясняется влечение Бальмонта к испанской драме, особенно Кальдерону, и к создателю образов Эшера и Эгея — «безумному Эдгару»¹. Переводы молодого Бальмонта высоко ценили А. Блок и Б. Пастернак.

Однако Бальмонта упрекали — и порой справедливо — за субъективизм и поспешность. Так, Максимилиан Волошин считал бальмонтовские переводы из Гауптмана «очень небрежными и... даже намеренно искаженными». С раздражением, а порой крайне резко и несправедливо отзывался о его переводах в 1920-е годы В. Брюсов. Следует признать, что немало сделал для развенчивания авторитета Бальмонта-переводчика К. Чуковский (см. его статьи о переводах Уитмена).

Но нельзя забывать, что Бальмонт — это переводчик рубежа веков, и в его переводах отчетливо видна тенденция, свойственная переводчикам прошлого столетия: дать свое переложение оригинала, предложить вариацию на тему. Таковы были блестящие работы Жуковского, Лермонтова, которые порой далеко отходили от подлинника. В переводах Бальмонта как бы борются два направления: стремление сохранить своеобразие подлинника (основное требование к переводу в XX веке) и желание как можно ярче передать «дух» оригинала (преобладающая тенденция у переводчиков XIX века).

Бальмонт был настолько ярок и самобытен в собственном поэтическом творчестве, что его личность неминуемо накла-

¹ Брюсов В. Собр. соч. в 7 тт., М., 1975, т. 6, с. 255.

дывала отпечаток на все его переводы. Как заметила М. Цветаева, «изучив 16 (пожалуй) языков, говорил и писал он на особом 17 языке, на бальмонттовском».

Бальмонт начал переводить Эдгара По в 1893—1894 годах. Работа эта—с перерывами—длилась до 1911 года, когда вышло «Собрание сочинений Э. По». Бальмонт практически не переделывал своих переводов (как, впрочем, и стихотворений), в отличие от Брюсова, многократно возвращавшегося к созданному.

В 1893 году Бальмонт приступает к работе над переводами По. В то время он был скромным автором тоненькой, убого изданной книжки—«Сборник стихотворений»,—вышедшей в Ярославле и не имевшей никакого успеха (Бальмонт скупил и уничтожил почти весь скромный тираж). В этой книге преобладают перепевы надсоновской поэзии и народовольческих мотивов. По выражению критика А. Измайлова, лирический герой раннего Бальмонта—«кроткий и смиренный юноша, проникнутый самыми благонамеренными и умеренными чувствами». Набор поэтических средств Бальмонта довольно ограничен, пока ничто не предвещает появление нового яркого имени на литературном горизонте.

Сборник «Под северным небом» (1894) разительно отличается от предыдущего—и тематикой, и поэтическим темпераментом автора. В корне меняется и техника стиха. В многочисленных положительных отзывах критики подчеркивались «музыкальность» и «особое чувство языка», присущее поэту. Именно в это время (1893—1894) Бальмонт усиленно работает над переводами из По. Не исключено, что погружение в стихию творчества американского поэта в немалой степени повлияло и на собственное творчество Бальмонта. Ограничимся одним примером. В его стихотворении «Фантазия» (1893) явственно проступают черты «Ворона» (перевод которого опубликован Бальмонтом в 1894 году в журнале «Артист»):

Чьи-то вздохи, чье-то пенье, чье-то скорбное моление,
И тоска, и упоенье—точно искрится звезда,
Точно светлый дождь струится,—и деревьям что-то мнится,
То, что людям не приснится, никому и никогда.

Заметим, что если на «стихотворения в прозе» первого сборника Бальмонта в основном повлиял Тургенев, то в сборнике «Под северным небом» ощутимо воздействие По (ср. «Сказку Ночи» Бальмонта и притчу Э. По «Тишина»).

Однако влияние По на Бальмонта не ограничивается лишь техникой стиха. Вновь и вновь Бальмонт возвращается к темам поэзии По. Таков его цикл «Отсветы зарева», которому предпослано два эпиграфа из По:

(1) А меж тем огонь безумный
И глухой, и многошумный
Все горит...

(2) Leaping higher, higher, higher...

Некоторые стихотворения Бальмонта живо перекликаются с высказываниями По. Например, строки

Белейшие цветы растут из тины,
Червонней всех цветов на плахе кровь,
И смерть — сюжет прекрасный для картины

не могут не напомнить слова По о том, что «самая поэтическая тема на свете — это смерть молодой прекрасной женщины».

Период работы над переводами из По совпал с годами становления Бальмонта. Он жадно впитывает новое. Не удивительно, что молодой русский поэт воспринял многое из творчества По. Особенно ощутимо это влияние в сборнике 1894 года. В дальнейшем оно становится менее заметным. Во многом это объясняется ростом художественного мастерства самого Бальмонта. Однако некоторые особенности техники стиха, воспринятые у По, прочно вошли в творческий арсенал Бальмонта.

Заметим, что Бальмонт работал над переводами из По значительно тщательнее и дольше, чем над переводами из других поэтов в последующие годы. Возможно, не последнюю роль тут сыграло то, что от успеха этих переводов во многом зависела литературная судьба самого Бальмонта.

Есть еще одно обстоятельство, привлекавшее Бальмонта к американскому поэту: обаяние легенды о По — непонятном

поэте, задыхавшемся среди слишком уж практичных своих соотечественников. Легенда эта была особенно близка Бальмонту, долгие годы влачившему полунищенское существование. И здесь Бальмонт — яростный защитник По, и по своему темпераменту он сродни Бодлеру. Вступительная статья Бальмонта о творчестве По (к Собранию сочинений 1911 года) — это страстная защита брата по духу. Бальмонту свойственна и романтизация личности американского поэта: для него он «любимый песнопевец, самый звездный из заблудившихся на земле трубадуров вечности».

В жизни Бальмонта заметно стремление подражать образу Эдгара По. Вот одна из записей в дневнике Брюсова (1895): «Сейчас заходил Бальмонт, ликующий, безумный, эдгаровский...» О «демонизме» Бальмонта ходили легенды — как, впрочем, и о «приключениях» По; причем оба поэта немало потрудились над созданием этих легенд. На самом же деле они были прежде всего великими тружениками — работали страстно и самозабвенно.

После выхода в свет бальмонтских переводов в русских журналах — и в столичных, и в провинциальных, — появляется большое количество статей, знакомящих публику с жизнью и творчеством По. Примечательны их названия: «Поэт безумия и ужаса», «Мрачный гений», «Американский Гофман», «Родоначальник символизма Эдгар По» и др. (большинство из этих статей идут без подписей или под инициалами). Поскольку прежде всего из этих статей у русского читателя возник образ «безумного Эдгара», стоит хотя бы кратко остановиться на некоторых из них.

Заслуживает внимания тот факт, что ни в одной статье гениальность Эдгара По не вызывает у авторов ни тени сомнений. По представляется как крупнейший и талантливейший лирик, разница лишь в том, рассматривается ли его творчество на фоне только XIX века или всей мировой поэзии. Авторы статей единодушны и в другом — в горячей, страстной защите личности поэта, в утверждении права художника вести тот образ жизни, который он выбирает сам, а не тот, который больше импонирует обывателю. Ни в одной из тогдашних статей (а их появилось около десяти) ханжеская

мораль Грисуолда не только не находит поддержки, но, напротив, встречает яростный отпор.

В статьях ощутима тенденция к романтизации облика «гонимого поэта»: «Поэ не придавал ни малейшего значения требованиям реальной, окружающей его жизни, на которую смотрел как на сновидение»¹. «Он искал приключений и загадок, ибо сам был и то, и другое»² и т. д.

Немалое место в статьях отведено описанию жизни поэта. Во многом оно дается искаженно или неточно: источники, которыми приходилось пользоваться авторам, крайне скудны, большинство сведений черпалось из эссе Бодлера и других французских публикаций. Но интересно другое: стремление «приблизить» По к русскому читателю, создать в его воображении понятную и столь знакомую картину бедствий талантливому поэту. В одной статье, например, читаем: «Его, одетого в лохмотья, редакционный лакей не решался пускать дальше передней и принял рукопись только для того, чтобы отвязаться от назойливых приставаний какого-то оборвыша»³. Или же: «Жена поэта лежала накрытая единственным теплым одеянием — солдатской шинелью»⁴. Так же трактуется и пристрастие По к алкоголю: «Начинался запой... и Эдгар терял место... Знакомая история! У нас в России много таких несчастных людей»⁵. Надо заметить, что эти «запой» авторы статей живописуют довольно красочно, добавляя в назидание: «Он кончил жизнь в кабаке»⁶.

Еще одна особенность большинства статей: трогательное незнание американской жизни. Так, согласно одному из авторов, По «оказался на улице с 12 су в кармане», если верить другому, «за «Ворона» он получил 10 шиллингов»,

¹ Американский Гофман.— В журн.: Книжки «Недели», 1899, № 11.

² Вступительная статья к кн.: Избранные сочинения Эдгара По. СПб, 1895 (Ежемесячное приложение к журналу «Живописное обозрение»).

³ Там же, с. IV.

⁴ Новый журнал иностранной литературы, 1898, № 2, с. 198.

⁵ Там же.

⁶ Семья, 1899, № 42, с. 6.

третий сообщал, что По «поступил в какую-то третьеразрядную военную школу» (это о знаменитом Вест-Пойнте!) и т. д. Нередки и умозаключения вроде следующего: «Очевидно, поэзия среди практических янки может быть только фантастически-отрицательного характера»¹, или: «В Америке таких людей мало, поэтому Америка его не поняла»².

Попытка Евг. Аничкова³ дать более объективную оценку жизни и творчества По, показать его произведения на фоне литературной Америки того времени успеха не имела: легенда уже была создана и читатели не хотели с ней расставаться. Именно эта «первая волна» признания на десятилетия определила восприятие По в России как гонимого и непонятого поэта. И по сей день, однако, мы встречаемся с подобной оценкой, звучащей порой трогательно-наивно. Так, в одной из повестей Л. Жуховицкого «Колькин ключ» героиня — девушка-строитель — копит деньги, чтобы когда-нибудь построить дом для «таких несчастных поэтов, как Эдгар По».

Успех переводов Бальмонта был настолько велик, что в глазах русских читателей По становится в первую очередь поэтом и лишь потом прозаиком. Только этим можно объяснить довольно курьезное явление: некоторые рассказы По стали переводиться стихами. Так случилось, например, с новеллой «Черный кот», переложенной стихами В. Отрадным (1896):

...Однажды ночью, сильно пьяный,
Вернулся я к себе домой,
Злой, бессердечный и упрямый,
И недовольный сам собой...
Себя не помня, уязвленный,
Поступок дьявольский решил,
Вином проклятым воспаленный,
Я перочинный нож открыл.
И, ухватив Плутона сразу,

¹ Книжки «Недели», 1899, № 11, с. 228.

² Новый журнал иностранной литературы, 1898, № 2, с. 194.

³ Аничков Евг. Предтечи и современники. СПб, 1910.

Со злобой дикой, без стыда
 Лишил кота мгновенно глаза,
 Себя покоя навсегда¹.

Повышенный интерес к поэзии По в 1910-е годы нередко переходил в моду. Об этом можно судить и по стихотворениям русских поэтов. Так, у О. Мандельштама описан литературный вечер того времени (1912 год):

Мы напряженного молчанья не выносим,—
 Несовершенство душ обидно, наконец!
 И в замешательстве уж объявился чтец
 И радостно его приветствовали: «Просим!»
 Я так и знал, кто здесь присутствовал незримо:
 Кошмарный человек читает «Улялюм»...

О популярности По в России можно судить и по общему количеству переводов. В 1901—1912 годах выходит пятитомное собрание сочинений По в переводе Бальмонта, неоднократно тогда переиздававшееся—как и «Полное собрание сочинений» Э. По в трех томах в переводе М. А. Энгельгардта. Публикуют свои переводы Л. Уманец и В. Федоров, однако они чаще всего так слабы, что обаяние поэзии По совершенно исчезает.

В. Брюсов впервые познакомился с произведениями По в начале 1890-х годов, причем открыл для него американского поэта К. Бальмонт. Брюсов так вспоминал об этом времени: «Многое, очень многое мне стало понятно, мне открылось только через Бальмонта. Он научил меня понимать других поэтов, научил по-настоящему любить жизнь. Вечера и ночи, проведенные мною с Бальмонтом, когда мы без конца читали друг другу свои стихи и стихи своих любимых поэтов: он мне—Шелли и Э. По, я ему—Верлена, Тютчева, Каролину Павлову,—эти вечера и ночи... останутся навсегда в числе самых значительных событий моей жизни»².

¹ Русская мысль, 1896, № 4.

² Брюсов В. Автобиография.—В кн.: Русская литература XX века / под ред. С. Венгрова, т. 1. М., 1914, с. 111.

Возможно, интерес к работе Бальмонта над стихами По и свойственное Брюсову стремление померяться силами и превзойти соперника (особенно после шумного успеха бальмонтских переводов) и побудили его заняться переводами По. Брюсов считал, что «Бальмонт лишь очень приблизительно передает смысл английских стихов, пропускает огромное количество мыслей, образов и тем более нюансов подлинника. Форма передана не менее удовлетворительно...»¹.

Из всех переводов Бальмонта, по мнению Брюсова, «наиболее удовлетворительны те, где перевод сделан белыми стихами»² (то есть всего два стихотворения).

Брюсов переводил По практически до конца своей жизни, то есть более двадцати лет: полное собрание его переводов из По вышло в 1924 году — в год смерти Брюсова. Ко многим переводам, как уже отмечалось выше, Брюсов возвращался не раз, причем варианты значительно отличались друг от друга. Порой трудно даже предположить, что сделаны они одним человеком — например, три перевода «Ворона».

Брюсов ценил творчество По необычайно высоко: «Ради того, чтобы читать в подлиннике Эдгара По, стоит и должно изучить английский язык», — писал он³. Однако в разные годы жизни интерес к творчеству По у Брюсова проявлялся по-разному. Так, молодого Брюсова особенно привлекал психологизм рассказов По, стремление американского писателя заглянуть в тайники человеческой души. «Рассказы По поразительны своей психологией и гипнотической силой своего языка, а не затаенными в них мыслями сомнительной философской ценности», — писал он⁴. Не случайно в стихотворении Брюсова «Искушение гибели» есть такие строки:

Иль некто (все имена примеривать надо ль?)
 Не создал ли образ, мрамор на вечность:
 Вместит все в себя — Лейбницева монада,
 The imp of the perverse — Эдгара По человечность?

¹ По. Э. Стихотворения. Пер. В. Брюсова. М., 1924, с. 110.

² Там же.

³ Брюсов В. Собр. соч. в 7 тт., т. 6, с. 249.

⁴ Там же, т. 6, с. 127.

Острый интерес к этим «тайникам человеческой души» замечен в цикле рассказов Брюсова «Земная ось» (1907), где сам автор в предисловии признает воздействие на него Э. По. Так, рассказ Брюсова «В подземной тюрьме» явно перекликается с «Колодцем и маятником»; «В зеркале» напоминает «Овальный портрет» и «Вильяма Вильсона» благодаря схожей трактовке образа двойника. Рассказ «Теперь, когда я проснулся» вызывает ассоциации с «Черным котом». Видимо, и сам Брюсов чувствовал «гипнотическое влияние» американского писателя, и это, возможно, было одной из причин, по которой он ни разу не переиздавал этот сборник.

Интересно, что на обложке этой книги помещено объявление о готовящихся Брюсовым переводах из По. Следовательно, работа над переводами и над «Земной осью» шла одновременно: это был период максимального погружения Брюсова в творчество По.

Сборник «Земная ось» особого успеха не имел: то, что у По лишь намечалось контурами, давалось в подтексте, у Брюсова прозвучало намеренно резко и вызывающе. Так, например, у него, пусть устами персонажа, утверждалось, что «по своей природе человек преступен». Критика справедливо упрекала Брюсова в акцентировании патологических черт у его героев — преступников, садистов, развратников... Не удивительно, что автору пришлось оправдываться и во вступительной статье уверять читателей, что герои его рассказов не имеют отношения к нему, Валерию Брюсову.

Стихотворения Брюсова этого времени (1905—1910) также несут следы заметного воздействия американского поэта. Помимо эпиграфов из По («В трюме») появляются стихотворения, которые явно написаны «по мотивам Эдгара По»:

Ты в гробнице распростерта в миртовом венце.

Я целую лунный отблеск на твоём лице...

(«В склепе»)

Нередко в стихотворениях Брюсова появляются излюбленные образы поэзии По: «Астарта небесная, предвестница утра...» («Из ада низведенные»). Возникает в его стихах и образ «безумного Эдгара»:

...Какую сказку сотворили б мы
Из нашей страсти! новый сон Эдгара!
Она зажглась бы— как над миром тьмы
Торжественное зарево пожара!

(«В ответ на одно признание»)

Эти цитаты можно было бы продолжать: образы По органически вплетались в ткань брюсовских стихотворений; они становились фоном (а иногда и импульсом) для читательских ассоциаций.

В последние годы жизни Брюсова привлекали иные стороны творчества По. Заметим, что после революции Брюсов подверг жестокой критике своих бывших соратников по символизму — Бальмонта, Белого, Вяч. Иванова, Сологуба. В 1920-е годы Брюсов утверждал, что «поэзия... должна сознательно стать выразителем переживаний коллективных». И тем не менее Брюсов методично переводит все стихотворения и поэмы По, пишет о нем большую вступительную статью, дает подробные комментарии к стихотворениям. После всех «ревизий» имя По остается для Брюсова в первом ряду имен мировой литературы.

В 1920-е годы Брюсов особенно увлечен поисками новых форм для выражения «нового содержания поэзии». Поэтому закономерен его интерес к поэзии По, отличающейся стиховой виртуозностью.

В своей статье «Опыты по метрике и ритмике» Брюсов неоднократно обращается к «Философии творчества» По. В последние годы жизни особенно заметной стала та отвлеченность Брюсова, его страсть к схематичности, к механизации, к систематизации и стабильности, о которых писала М. Цветаева. Не исключено, что в творчестве По, критика и автора «рационалистических рассказов», Брюсов — порой неосознанно — искал единомышленника.

Заслуживает внимания и то, что Брюсова, как и По, в конце жизни интересовали проблемы, внешне далекие от поэзии. Так, в цикле стихов последних лет (из книги «Меа», 1922—1924) целые стихотворения посвящены «колбам, тиглям, рефракторам, скальпелям». В статье «Научная поэзия» Брюсов так пытается обосновать необходимость единства

искусства и науки: «Мы находим между наукой и искусством различие только в методах, которыми она пользуется. Метод науки — анализ, метод искусства — синтез... Наука дает те элементы, из которых творит художник, и искусство начинается там, где наука останавливается»¹.

Нельзя сказать, что современники с восторгом воспринимали эти попытки «воспеть жар холодных числ». В связи с этим нельзя не вспомнить о последней книге По, которая привела в недоумение американских читателей в 1848 году. Речь идет об «Эврике», «поэме в прозе», которая по сути является образцом «научной поэзии». В ней По пытался решить загадку возникновения Вселенной, используя известные ему научные данные. Следовательно, можно говорить о некоторых общих направлениях мысли двух таких различных, на первый взгляд, поэтов. И вполне естественно, что в лице Брюсова поэзия По нашла страстного приверженца и переводчика.

В оценке переводов Брюсова (как и Бальмонта) приходится преодолевать некоторые стереотипы. Авторитет Брюсова-поэта был настолько велик — особенно в 20-е — 40-е годы, что из всех имевшихся переводов предпочтение всегда (или почти всегда) отдавалось брюсовским. Его переводы долгое время принято было считать самыми точными. Действительно, переводы Брюсова производят впечатление наибольшей близости оригиналу. Однако Брюсов порой излишне скрупулезен в своем стремлении наиболее точно передать подлинник: появляются строки, копирующие английские обороты, часто от его переводов возникает ощущение искусственности, натянутости. Напомним, что именно в это время Брюсов занимается вопросами теории стиха, уделяя особое внимание именно синтаксису. Но в переводах громоздкость фраз часто лишает стихотворение плавности и гибкости, присущих поэзии По. Поэтому наряду с несомненными удачами Брюсова многие его переводы уступают бальмонтским. Однако вклад Брюсова в развитие русской и советской школы перевода, безусловно, велик. И даже не самые удачные его строки

¹ Брюсов В. Избр. соч. в 2 тт. М., 1955, т. 2, с. 208.

порой звучат гораздо ярче многих ремесленных переложений, которых появилось так много в России 1910—1920 годов.

В 1930—1940-е годы количество новых переводов из По резко уменьшается. В эти годы в По нередко видят небезынтересного, но несколько устаревшего художника, «одного из замечательнейших выразителей психологии упадка и разложения», как, например, охарактеризовал его С. Динамов¹. И хотя творчество По высоко ценили Горький и Луначарский, анализ его произведений в нашем литературоведении тех лет носил преимущественно вульгарно-социологический характер.

Углубленное исследование творчества По началось в конце 50-х — начале 60-х годов, когда его произведения стали рассматриваться в контексте развития американского романтизма в целом. Начался новый и очень плодотворный этап освоения художественного наследия По в нашей стране. В 1950—1980-х годах помимо многочисленных собраний рассказов Э. По вышел в свет ряд сборников и антологий, где довольно полно представлены его стихотворения, причем, как правило, в новых переводах, выполненных представителями послевоенного поколения советских переводчиков.

В данный сборник вошли переводы Эдгара По, опубликованные в нашей стране за последние сто с лишним лет — с 1878 по 1988 годы. При работе над сборником составитель стремился не только продемонстрировать читателям лучшие образцы переводческой деятельности таких мастеров, как Бальмонт, Брюсов и др., но и воссоздать историю восприятия поэзии По в России. Каждое поколение переводчиков искало в стихах По черты, созвучные их эпохе, будь то 70-е годы прошлого века, рубеж столетий или наши дни. Вот почему в сборник вошли и переводы, которые, с современной точки зрения, возможно, далеки от совершенства (С. Андреевского, Л. Пальмина, М. Трубецкой). Они даны в Приложении. Но не следует забывать, что эти переводы с интересом читались сто лет назад и сыграли немалую роль в приобщении русских читателей к поэзии По.

¹ Динамов С. Научно-фантастические новеллы Э. По.— Литература и марксизм, 1931, № 3.

В первый раздел книги входят стихотворения и поэмы, традиционно включаемые в сборники поэзии По (многие из них были тщательно отобраны самим поэтом). В разделе «Стихотворения разных лет» помещены стихи, не включенные Э. По в сборники, а также ранние стихотворения и варианты. Третья часть — Приложение («Русские переводы 1878—1988») — воссоздает историю освоения По русскими переводчиками и дает возможность сравнить различные переводы одного и того же стихотворения, выполненные в разные эпохи и с разных творческих позиций. У переводов дается дата первой публикации, у оригиналов — написания и последней редакции.

Е. Нестерова

ПРИМЕЧАНИЯ

POEMS

1. TAMERLANE

Написан, вероятно, во время учебы По в Виргинском университете. Опубликован в 1827 г.

В предисловии к поэме По говорит, что «пытался разоблачить глупость самой попытки сочетать лучшие сердечные чувства и тщеславие». Основной конфликт поэмы — столкновение в душе героя, великого азиатского завоевателя, жажды господства над миром и стремление к простой человеческой любви.

В поэме сказались и собственные честолюбивые мечты По о «покорении мира». Письма 18-летнего поэта полны грандиозных замыслов: перед нами — романтик, стремящийся прожить жизнь подобно героям Байрона. «Ричмонд и США были для меня слишком маленькой сценой, весь мир скоро станет моим театром». «Я должен или победить, или умереть, либо добиться своего, либо покрыть себя позором», — пишет По в декабре 1828 г.

Увлечение Байроном, героями его «восточных поэм» в этом произведении особенно заметно. Как справедливо замечает Ю. В. Ковалев, Восток был для По сугубо эстетической категорией: «Главным и, вероятно, единственным источником представлений По о Востоке была европейская (и прежде всего английская) романтическая поэзия. То, что было известно 18-летнему Э. По о Востоке, было известно всем американцам, читавшим байроновские «Восточные поэмы», «Лалла Рук» Т. Мура или сочинения Кольриджа и Саути» (Ковалев Ю. В. Эдгар Аллан По, Л., 1984, с. 73).

Первый женский образ, появившийся в поэме (По назвал свою героиню Адой—разумеется, не без влияния Байрона), уже несет в себе черты будущих героинь По—Ленор, Улялюм, Эннабел Ли. Возлюбленная Тамерлана не существует сама по себе, она лишь «луч от лика», отражение его любви.

С первых же строк поэмы возникает параллель с «Манфредом» Байрона. Если отбросить немногочисленные «восточные» реалии (типа упоминания Самарканда—столицы государства Тимура), которыми По пытается заменить исторический фон, то всю поэму можно рассматривать как предсмертный монолог, произнесенный Манфредом перед аббатом; в поэме несколько раз встречается слово *Father* в качестве обращения к священнику. Автор, правда, не объясняет, что побудило мусульманина каяться в предсмертный час перед католическим священником.

Первоначальный вариант «Тамерлана» насчитывает 406 строк; в 1829 г., при издании второго сборника, По сократил его почти наполовину, оставив 243 строки. Поэма значительно выиграла от этих изменений: По исключил пространные рассуждения о величии и заурядности великих людей; сократил сцену прощания героя с Адой, где Тамерлан рисовался застенчивым юношей, не решившимся разбудить спящую возлюбленную и т. д.

2. SONG

Посвящено Саре Эльмире Ройстер, в которую По был влюблен в ранней юности. Перед отъездом По в Виргинский университет (1826) молодые люди были тайно помолвлены. Однако родственники не одобряли их взаимного увлечения: Аллан ясно дал понять, что его воспитанник не может рассчитывать на права законного наследника. Пылкие письма По оставались без ответа; позже выяснилось, что Ройстер-старший перехватывал послания Эдгара к дочери, ибо родители всеми силами старались убедить ее принять предложение «более подходящего» претендента—Баррета Шелтона, который был старше По и обладал солидным состоянием. Существует легенда о том, что поэт приехал в Ричмонд в день свадьбы своей возлюбленной и появился в ее доме в разгар торжества.

3. DREAMS

Написано под влиянием «Чайльд-Гарольда» Байрона. Некоторые исследователи считают, что поэт говорит в нем о той минуте, когда ему стало ясно: его истинное призвание—поэзия.

4. SPIRITS OF THE DEAD

Выдержано в духе «кладбищенской поэзии» Юнга и Грея. Поэт описывает свои чувства после посещения кладбища. Духи мертвых, по мнению По, сохраняют власть над волей и думами живых: именно поэтому «новая жизнь» для них невозможна и им остается жить только воспоминаниями. Эта мысль будет встречаться и в поздних стихотворениях По, и в его рассказах («Ворон», «Улялюм», «Морелла», «Лигейя», «Элеонора»).

5. EVENING STAR

Это раннее стихотворение По несет заметные следы влияния Т. Мура («Ирландские мелодии»). Однако в нем уже намечена своеобразная система образов, свойственная позднему творчеству По (ср. «Улялюм»).

7. STANZAS

Эпиграф — неточная цитата из Байрона (*The Island*, II, XVI, 13—16).

О том, какое значение придавал поэт воздействию природы на душу человека, говорится в его письмах: «Есть минуты, когда... ничто не в силах доставить мне удовольствие, кроме общения с горами и лесами» — этими «алтарями» Байрона... Я могу часами бродить без цели и мечтать...» (Письмо По Дж. Р. Лоуэллу, 2 июля 1844 г.). Эти мысли нашли свое воплощение и в рассказах («Элеонора», «Поместье Арнгейм», «Домик Лэндора»).

8. A DREAM

Опубликовано в сборнике *Tamerlane and Other Poems* (1827). Тема стихотворения — столкновение мечты и действительности. Поэт стремится найти утешение хотя бы во сне, но сон и реальность в его представлении меняются местами, и подлинная жизнь выглядит ужаснее самого страшного сна. Это стихотворение напоминает строки байроновского «Хочу я быть ребенком вольным».

9. THE HAPPIEST DAY

Стихотворение по-разному трактуется исследователями: «счастливый день» может означать конкретное событие в жизни По —

например, отъезд из Ричмонда в Виргинский университет и связанные с этим «большие надежды» юноши. Но возможно, что поэт имел в виду то таинственное озарение, о котором несколько раз рассказывал друзьям, когда он впервые осознал свое призвание (см. коммент. к *Dreams*).

10. THE LAKE—TO—

Одна из немногих «пейзажных» зарисовок в творчестве По, хотя изображение природы носит несколько условный, отвлеченно-романтический характер. Вновь повторяется любимая мысль По о целебном действии природы на человеческую душу; здесь заметно влияние Т. Мура, чье творчество По высоко ценил за «воображение в лучшем смысле слова» (см. статью «Поэтический принцип»).

11. SONNET—TO SCIENCE

Фактически служит вступлением к поэме «Аль-Аараф» и был направлен против рационализма, уничтожившего, по мнению юного поэта, волшебство и загадочность в природе. Для По природа и прекрасное — понятия тождественные; наука (т. е. то, что сейчас именуется «цивилизацией») разрушает природу и убивает красоту. Только наедине с природой человек обретает гармонию. Эта мысль наиболее ярко выражена в поздних рассказах По «Остров феи» (1841), «Элеонора» (1842): «Но есть одно наслаждение, еще доступное падшему роду человеческому,— и, быть может, единственное,— которое даже в большей мере, нежели музыка, возрастает, будучи сопутствуемо чувством одиночества. Разумею счастье, испытываемое от созерцания природы». У По сочеталось свойственное европейским романтикам «обожествление» природы с известной долей американского рационализма, стремлением «упорядочить» ее. Такая своеобразная «урбанизация природы» особенно заметна в его поздних рассказах.

Сонет направлен против тех, для кого поэзия — «изучение, а не страсть», против проникновения «метафизики» в поэзию (заметим, что «метафизика» означала для По синоним наукообразия).

12. AL AARAAF

«Аль-Аараф» является, пожалуй, одним из самых туманных и загадочных произведений По. Многочисленные критики пытались дать различные трактовки, но сошлись в одном: это — «поэма без героя», «попытка космического мышления».

Сам По определял содержание поэмы как «рассказ о другом

мире — о звезде, открытой Тихо Браге, которая так внезапно появилась и исчезла, — а, может быть, вовсе и не рассказ...». В Коране, который цитирует поэт, говорится, что Аль-Аараф — царство между небом и адом, своеобразное чистилище. Жители этого царства могут видеть рай, но лишены «знания» ангелов. По считал, что это место «наиболее пригодно для душ художников и скульпторов», поэтому один из его героев — Анжело — знаменитый Микеланджело Буонаротти (заметим, что, кроме имени, герой ничем не напоминает скульптора — о его земной жизни не сказано ни слова). Анжело влюбляется в Ианту, спутницу богини Незейи. В этой поэме поэт занимается мифотворчеством, подобно Блейку и Шелли: богиня Незейя воплощает красоту, Лигейя — гармонию и т. д.

Многие исследователи указывают на подражание По Мильтону («Потерянный рай») и Т. Муру («Любовь ангелов» и «Лалла Рук»).

В «Аль-Аарафе» впервые появляется образ Лигейи: строки, посвященные ей, могут стоять рядом с лучшими стихотворениями По. Лигейя, олицетворяющая гармонию мироздания, для поэта неразрывно связана с музыкой. В этом можно проследить связь По с античной музыкальной эстетикой, в частности, с учением о «гармонии сфер» пифагорейцев и учением о гармонии Гераклита.

Следует учитывать, что произведение не завершено. Из переписки По видно, что он предполагал создать поэму в 4-х частях, а опубликованный вариант содержит лишь две части.

Isola d'oro! Fior di Levante! (um.) — Золотой остров! цветок Леванта!

13. ROMANCE

Вошло в сборник *Al Aaraaf, Tamerlane and Minor Poems* (1829) под названием *Preface*. Сам поэт высоко оценивал это стихотворение. В письме Джону Нилу (29 декабря 1829 г.) он писал: «Лучшее — это маленькая вещица под названием «Вступление»... Я уверен, что там есть строки, которые пока никто не превзошел» (речь шла о строках 11—15).

«*Condor years*» — «годы кондора», поэт подчеркивает этим определением длительность, долговечность: кондоры живут до 300 лет. Сходный образ (*Condor wings*) встречается в стихотворении *The Conqueror Worm* (1843).

14. TO —

Обычно это стихотворение считается ранним вариантом «Сна во сне», но поэт столько раз переделывал его, что в окончательном виде

его можно рассматривать как самостоятельное произведение. Исследователи считают, что стихотворение посвящено Элизабете Херринг, кузине По.

15. TO —

Принято считать, что стихотворение обращено к Саре Эльмире Ройстер (в замужестве — Шелтон), а последние строки намекают на богатство ее мужа, Баррета Шелтона. Известно, что после его смерти вдова получила в наследство 50 000 долларов — сумму по тем временам весьма значительную.

16. TO THE RIVER —

В большинстве опубликованных вариантов поэт сохранил в скобках название реки [По], вероятно, рассчитывая на изящный каламбур (ассоциация с фамилией поэта). Заметно воздействие байроновского стихотворения «Стансы к реке По».

17. TO —

Первоначальный вариант насчитывал 20 строк, которые в дальнейшем поэт сократил до 8. Адресат посвящения неизвестен.

18. FAIRY-LAND

Это стихотворение По предложил редактору бостонской газеты *Yankee* Джону Нилу, который 20 сентября 1829 г. издал отрывок, снабдив его следующим замечанием: «Это чепуха, но чепуха довольно изысканная». Осенью того же года поэт решил показать это стихотворение Н. П. Уиллису, редактору *American Monthly Review*. Резкий отзыв Уиллиса поверг его в отчаяние, и По уничтожил стихотворение. Уиллис не постеснялся описать этот случай в своей газете. По его словам, он испытал немалое удовольствие, глядя, как сгорает в камине это стихотворение. Однако, как пишет Уиллис, он все же вытащил уцелевший кусок бумаги, на котором можно было прочесть четыре строчки. Именно эти строки он и представил на суд читателей.

Разумеется, к этому «комментарии» следует относиться осторожно — розыгрыши читателей были в духе американских журналистов того времени. Однако эпизод этот, по мнению исследователей, вполне мог происходить в действительности.

Следует обратить внимание на связь стихотворения с англоязычным фольклором, где «Fairy-Land» — «волшебная страна» — означало и царство умерших.

19. TO HELEN

Опубликовано неполностью в сборнике *Poems* в 1831 г. Последний вариант относится к 1845 г. (*The Raven and Other Poems*).

Многие исследователи склонны считать это стихотворение одним из лучших у поэта, противопоставляя его «гармоничность» «хаосу» поздней лирики По. Дж. Р. Лоуэлл так отозвался о нем: «Только немногие поэты могут достичь такого изящества и симметрии». Стихотворение навеяно воспоминаниями о детской влюбленности поэта в Джейн Стэнард, мать школьного товарища По. Она умерла в 1824 г. в возрасте 31 года, когда Эдгару было 15 лет. Ее карандашный портрет много лет стоял на письменном столе поэта. Судя по сохранившимся описаниям, миссис Стэнард была женщиной редкостной красоты, отмеченной классическим совершенством черт. В «Елене» своих грез юный поэт обрел идеал рыцарственного поклонения; ей он приносил свои первые стихи. Впоследствии По называл Д. Стэнард «своей первой идеальной любовью».

Красота женщины, ее «классическое лицо» возвращают поэта к далеким временам Трои, легендам древней Греции и Рима. В стихотворении отчетливо ощущается отзвук платоновского восприятия красоты как тоски по быломu. Елена у По — воплощение женской красоты. В то же время она — богиня души Психея, олицетворяющая «небесную» красоту. Такая двойственность, зыбкость образа — один из излюбленных приемов По.

Это стихотворение отличается особым гармоничным видением мира. Красота не несет в себе чувства грусти, утраты или раскаяния, как в поздних стихотворениях По.

Nicean — никейский. Никея — древний город в Малой Азии. *Nicean barks* — вероятно, означает корабли Александра Македонского.

20. ISRAFEL

Опубликовано в сборнике *Poems* (1831). Окончательный текст — в 1845 г. (*The Raven and Other Poems*). Хотя По и указал на Коран как на первоисточник эпиграфа, однако в данном случае он лишь перефразировал отрывок из книги английского ориенталиста Джорджа Сейла (*Sale. Preliminary Discourse on the Koran; IV, 1734*).

По здесь по-своему трактует традиционную для романтизма тему

поэта и поэзии. Израфел (Израфил) — поэт-ангел, лучший из бардов, ибо обладает способностью открывать законы красоты. Он играет «на струнах собственного сердца», а потому легко находит путь к сердцам других людей. В этом стихотворении утверждается родство поэзии и музыки. По размышляет, имеет ли право поэт (и искусство вообще) на «страстную песнь». Ответ пока утвердительный, однако позже По будет провозглашать обратное. Своим отношением к «страстной поэзии» По близок не английским романтикам, а Шиллеру, утверждавшему в «Письмах об эстетическом воспитании человека», что страстное искусство — это противоречие, ибо неизбежное следствие прекрасного — освобождение от страстей.

Английский литературовед Л. Чейз назвал *Irafel* «первой чистой песней поэта», то есть первым стихотворением, в котором По освободился от подражательности. Основной размер — разностопный ямб, обретающий большую гибкость, благодаря разнообразной рифмовке. Появляются рифмы, которые впоследствии станут опорными в «Колоколах»: dwell — well — tell — spell.

21. THE SLEEPER

Впервые опубликовано в 1831 г. под названием *Irene*. Сам По считал его одним из лучших. Аллитерации, ассонансы, четкий ритмический рисунок — все это указывает на возросшее мастерство По. В этом стихотворении впервые отчетливо звучит одна из главных тем поэзии По — «смерть молодой прекрасной женщины и горе ее возлюбленного» (так позднее сформулировал эту тему поэт в «Философии творчества»).

Судя по высказываниям По, смерть в его представлении была явлением не страшным, а болезненным, за которым следовало «превращение во что-то иное, о чем человек может только догадываться». Поэтому она не противоречила его понятию прекрасного. По считал, что с потерей возлюбленной любовь приобретает «более небесный характер».

Заметим, что тема смерти была очень популярна в поэзии США того времени. Особенно часто возникает тема смерти у поэтов-южан, где она приобретала несколько абстрактный характер «гибели прекрасного».

22. THE VALLEY OF UNREST

Представляет собой зарисовку воображаемого пейзажа. По придавал большое значение подобным темам; он писал: «Настоящего

поэта больше привлекает воображаемый пейзаж, нежели размышления».

Впервые опубликовано в 1831 г. под названием *The Valley Nis* (см. № 61); в дальнейшем подверглось значительной переделке.

23. THE CITY IN THE SEA

Здесь По продолжает одну из тем своей юношеской лирики — описание царства мертвых (см. коммент. к *The Spirits of the Dead*). Но перед читателем возникает уже не реальное кладбище, а город на дне моря, которым управляет Смерть. Время как бы остановилось — события происходят «вне времени, вне пространства», а герой стихотворения — лишь поводь в царстве мертвых.

Написано в 1831 г., образной системой напоминает рассказ По «Король-Чума» (1835) и притчу «Тишина» (1837). Вероятно, символические образы (Смерть на троне, царство мертвых, проклятие тишиной) По стремился сначала воплотить в поэзии, а рассказы, написанные позже, представляют собой «развернутые» (а отчасти и «расшифрованные») строки стихотворений.

24. TO ONE IN PARADISE

Считается одним из «самых музыкальных» стихотворений По. Поэт поместил его в рассказ *The Assignment*, где его сочиняет герой. Судя по всему, По имел в виду Байрона и историю его отношений с Терезой Гвиччиоли.

Ianthe — имя, которым Байрон называл Шарлотту Харли, одиннадцатилетнюю дочь графа Эдуарда Оксфорда. Поэт познакомился с ней во время посещения поместья ее родителей; он посвятил ей «Чайльд-Гарольда».

25. HYMN

Первоначально было вставлено По в рассказ «Морелла» — его сочиняла героиня. Но, начиная с издания 1842 г., По снял стихотворение из текста — вероятно, потому, что молитва в устах героини, занимающейся черной магией, была неуместна. Это единственное стихотворение По, связанное с религией. Его понятие о Боге значительно отличалось от официальной клерикальной трактовки. В произведениях По ни разу не упоминается имя Христа. Вера По «в жизнь по ту сторону сознания», в возможность душ умерших влиять на судьбы живых скорее отражает идеалистические взгляды Плато-

на. Судя по высказываниям поэта, он признавал Бога лишь как творца Вселенной. Своеобразный пантеизм По, подразумевавший существование Бога, тождественного с природой и растворенного в ней, сочетался с объективно-идеалистическими взглядами.

26. SERENADE

Впервые напечатано в *Baltimore Saturday Visitor* 20 апреля 1833 г., затем было забыто и не входило в сборники поэта до 1917 г., пока его не «открыл» профессор Дж. К. Френч, роясь в подшивке старых газет.

27. THE COLISEUM

В июне 1833 г. журнал *Baltimore Saturday Visitor* объявил конкурс на лучший рассказ и стихотворение; были установлены премии в размере 50 и 25 долларов. Председателем жюри был известный романист Дж. П. Кеннеди. По представил на конкурс рассказ «Рукопись, найденная в бутылке» и стихотворение «Колизей». Несмотря на то, что и стихотворение, и рассказ были признаны лучшими, По получил премию только за рассказ — жюри посчитало, что не следует вручать обе премии одному автору. Это стихотворение было вскоре опубликовано в журнале. Дж. П. Кеннеди принял большое участие в судьбе По — помог получить место редактора в газете, ввел в свой дом, ссудил деньгами и т. д.

28. TO F—S S. O—D

Это стихотворение (в слегка измененных вариантах) По посвящал разным женщинам: своей кузине Элизабете Р. Херринг (1834), Элизе Уайт (1835), Мэри Э. Херринг (1840), Ф. С. Осгуд (1845), Мэри Нил (1846). Публикуется по изданию *The Raven & Other Poems*, где указано имя Фрэнсис Осгуд — поэтессы, восхищавшейся талантом По и принимавшей большое участие в судьбе больной Вирджинии.

29. TO F—

Первоначальный вариант (*To Mary*, 1835) был, по мнению исследователей, посвящен Мэри Уиндери, подруге Эльмиры Ройстер — «первой любви» По. В 1845 г. поэт «перепосвятил» это стихотворение Фрэнсис С. Осгуд.

30. THE BRIDAL BALLAD

Баллада написана на традиционный сюжет: после смерти возлюбленного героиня выходит замуж за другого и ей чудится, что рядом под венцом стоит погибший Делорми. Отличается эмоциональной напряженностью и довольно простым для поэзии По языком. Принято считать, что стихотворение носит автобиографический характер и относится к истории отношений юного поэта и Сары Эльмиры Ройстер (см. коммент. на с.393).

31. TO ZANTE

Один из немногочисленных сонетов По. Заслуживает внимания акцентирование слов «no more», которые прозвучали в полную мощь в «Вороне», однако встречались уже в юношеской поэзии По.

Zante—Вероятно, По использовал в качестве источника слова Шатобриана о том, что остров Занте получил свое название от греческого слова, означающего цветок гиацинта.

Isola d'oro! Fior di Levante!— см. коммент. на с. 396.

32. THE HAUNTED PALACE

Опубликовано в журнале *American Museum* в апреле 1839 г., т. е. за 5 месяцев до того, как По включил его в рассказ «Падение дома Ашеров». В письме Р. Грисуолду от 29 мая 1841 г. По прямо указал на то, что под заколдованным чертогом «имел в виду разум, преследуемый фантомами». Поэт подчеркивал аллегоричность и стихотворения, и новеллы. Американские исследователи обращают внимание на то, что чертог как бы представляет голову человека (окна— глаза, рубины— губы, перлы— зубы и т. д.). Интересно и то, что музыкальная тональность стихотворения полностью совпадает с его цветовой гаммой: зеленый, лучезарный, желтый, золотистый цвета в первых строфах, где описаны «владения Мысли», уступают место тревожным черным и красным тонам.

33. SONNET—SILENCE

Впервые опубликовано в январе 1840 г. Окончательный вариант— в 1845 г. (*The Raven and Other Poems*).

Форма сонета не совсем выдержана: в нем не 14, а 15 строк. Мысль о тишине как символе смерти часто встречается у По (см. *Silence, Shadow, The City in the Sea*).

34. THE CONQUEROR WORM

Впервые опубликовано в 1843 г. в журнале *Graham's Magazine*; в 1845 г. поэт поместил второй вариант в рассказ «Лигейя» — его сочиняет перед смертью главная героиня. Тема новеллы По — единоборство Любви со Смертью, где Смерть отступает и усилием воли герой воскрешает свою возлюбленную. Идея стихотворения кажется прямо противоположной: все кончается могилой, торжествует лишь Червь-победитель. Таким образом, По дает как бы два варианта повествования.

35. LENORE

Возникло из раннего *A Poem* после многократных переделок (первый текст относится к 1831 г., последний — к 1849 г.). Его можно рассматривать как черновой набросок к «Ворону»: уже найдена тема — смерть молодой женщины и имя — Ленор (Линор); появилось слово “*nevermore*”, хотя оно и не стало ключевым. Имя Ленор, возможно, подсказано балладой Г. А. Бюргера, широко известной в то время в Англии и США.

Начинается стихотворение строкой из «Экклезиаста» (XII, 6) и представляет собой монолог героя — Де Вира, произнесенный во время похорон Ленор. В целом его можно назвать «плачем по умершей».

Peccavimus (lat.) — мы согрешили.

37. EULALIE

Одно из «традиционных» для По стихотворений — «песнь о красивой девушке с красивым именем», как нередко иронически отзывались критики. Однако в этом стихотворении проглядывают черты *Ulalume*.

38. THE RAVEN

Опубликовано в газете *Evening Mirror* 29 января 1845 г. «Ворон» был почти сразу перепечатан несколькими крупными журналами, а спустя некоторое время опубликован и в Англии, где имел огромный успех. По с гордостью цитировал письмо английской поэтессы Э. Б. Баррет: «Ворон» произвел сенсацию... Мои друзья зачарованы музыкой этого стихотворения... Я слышала, что “*nevermore*” пресле-

дует людей как призрак» (Е. А. Пое. *Letters*, N. Y., 1948, v. 2., p. 319).

«Ворон» — одно из самых законченных стихотворений поэта. Здесь особенно чувствуется та «математическая точность», которой впоследствии восхищался Бодлер.

Как утверждал один из современников, поэт как-то сказал, что «написал «Ворона» с целью увидеть, насколько близко можно приблизиться к абсурдному, не переступая черту». Стихотворение строится на грани шутки и трагедии, конкретного предмета и символа, разума и безумия.

Современников поэта волновал вопрос об истоках «Ворона» (чему немало способствовал и По своей «Философией творчества»). Указывалось на сходство с «Умирающим Вороном» Брайента, «Сказанием о Старом Мореходе» Кольриджа, «Барнеби Раджем» Диккенса. В 1833 г. поэт Т. Чиверс в статье «Происхождение «Ворона» пытался доказать, что это плагиат из его стихотворения. Указывались и другие источники.

Отдельными деталями «Ворон» действительно напоминает все эти произведения. Но нельзя забывать одно из основных положений теории По: оригинальность поэт определял как «способность тщательно, спокойно и разумно комбинировать». И «Ворон» явился доказательством реальности создания качественно нового из отдельных известных элементов, которые По в процессе художественного творчества слил воедино.

39. A VALENTINE

Написано 13 февраля 1846 г. Содержит «зашифрованное» имя — Frances Sargent Osgood, следует читать первую букву первой строки, вторую букву второй строки и т. д. Позже поэт сочинил аналогичным образом стихотворение *An Enigma*.

40. TO M. L. S——

Посвящено Марии Луизе Шью. Дочь врача, женщина глубоко религиозная, Мария Луиза помогала семье По, ухаживая за больной Вирджинией, а после ее смерти — за самим поэтом, тяжело воспринявшим утрату. По посвятил ей несколько стихотворений, полных признательности и благодарности (из них сохранилось только два). Это стихотворение написано вскоре после смерти Вирджинии.

41. ТО——

Посвящено Марии Луизе Шью (см. коммент. к предыдущему стихотворению). Одно из трех стихотворений (не считая незаконченной драмы «Полициан»), написанных белым стихом. Несмотря на то, что По не раз высоко отзывался о достоинствах верлибра в своих критических статьях, сам он предпочитал традиционный стих.

42. ULALUME

Опубликовано в декабре 1847 г. в нью-йоркском журнале *American Review*. 11 января 1848 г. перепечатано в нью-йоркском *Home Journal*. Читателям было предложено самим определить автора— такая игра была вполне в духе времени. В редакцию посыпались письма, и авторство По было установлено. Хотя в дальнейшем символисты называли шедевром По именно «Улялюм», современники восприняли это стихотворение гораздо сдержаннее, чем «Ворона». Вот отзыв одной из знакомых поэта после чтения «Улялюм»: «Бог нас простит, но мы ничего не могли в нем разобрать. Оно могло вполне быть написано на одном из забытых языков... Я думаю, По хотел посмотреть, как далеко можно зайти, разыгрывая публику» (цит. по кн.: A. Quinn. *Edgar Allan Poe. A Critical Biography*. N. Y., 1963, p. 502).

Стихотворение вызвало наибольшее число толкований у исследователей. Приведем лишь некоторые из них: «Это кошмарное путешествие личности, которая была введена в заблуждение обманом: внешняя реальность не реальна, а может принимать любую форму, диктуемую воображением» (G. A. Omans. *Poe's "Ulalume."* Drama of Sollipsistic Self in "Papers on Poe". Chanty Music Press, 1972, p. 62). «Психея— душа поэта— тщетно ищет забвения в Лете поэзии; роковое любопытство влечет его в царство воспоминания, где он натывается на могилу своего утраченного счастья» (Эдгар По в лучших переводах. Под ред. Новича, СПб., 1911, с. 80).

Другие возможные варианты трактовки: стихотворение представляет собой традиционный (идущий от средневековой поэзии) разговор тела с душой; По использует тему двойника, популярную у романтиков и не раз возникающую у самого По (см. рассказы «Вильям Вильсон», «Падение дома Ашеров»). Заметим, что сам поэт отказывался комментировать это стихотворение, несмотря на многочисленные просьбы.

Сочетание трех- и четырехстопных амфибрахия и анапеста,

многочисленные повторы строк и рифм создают завораживающее ощущение, превращая стихотворение в своеобразное заклинание.

В стихотворении большую роль играют астрологические реалии (увлечение астрологией было свойственно многим поэтам-современникам По). Астарта, богиня плодородия в древней Финикии, символизирует в «Улялюм» планету Венеру, покровительницу земной любви. Ей противостоит римская богиня Диана (она же Луна), символизирующая «небесную» любовь. «Астарта проходит через созвездие Марса (имеется в виду Марс, бог войны и крови), что, согласно астрологическим представлениям, крайне неблагоприятно. Здесь Венера приобретает рог и видна на небе вместе с Луной» (A. Barbault. *Traité pratique d'astrologie*. Paris, 1961, p. 199).

Auber — Даниэль Франсуа Обер (1782—1871), французский композитор, балет которого «Озеро фей» пользовался во времена По большой известностью.

Weir — Роберт Уолтер Уир (1803—1889), американский художник, автор многочисленных зарисовок долины реки Гудзон. Эти имена должны были придать стихотворению дополнительный оттенок таинственности. Читатели последующих поколений, забыв о конкретных людях, нередко видели здесь либо названия местности, либо «мифические имена, сочиненные поэтом» (так, например, считает А. Тейт — см.: *The Complete Poetry and Selected Criticism of E. A. Poe*. Ed. by A. Tate. N. Y., 1968, p. 122). Здесь кроется происхождение множества ошибок в русских переводах. Например, у В. Федорова читаем:

..... Это было
В октябре, в полуночи глухой
Там, где озеро Обер унылое
Мутнело застылой тоской.

43. AN ENIGMA

Посвящено Саре Анне Бланш Робинсон Льюис — поэтессе, довольно часто публиковавшейся в балтиморских журналах под псевдонимом «Стелла». Сара Льюис и ее муж, известный адвокат, были хорошими знакомыми По и оба восхищались талантом поэта. По неоднократно бывал в их доме, а после его смерти миссис Клемм долгое время жила в доме Льюисов.

Сонет содержит «загадку» — в нем «зашифровано» имя адресата — Sarah Anna Lewis: следует читать первую букву первой строки, вторую букву второй и т. д.

44. THE BELLS

Опубликовано после смерти поэта 27 октября 1849 г. в нью-йоркском журнале *Union Magazine*. История этого стихотворения такова. В 1848 г. (по всей вероятности, летом) поэт зашел навестить М. Л. Шью (см. коммент. на с. 404) и пожаловался, что неважно себя чувствует, даже колокольный звон раздражает его: «Я должен написать стихотворение, а у меня нет ни чувства, ни вдохновения; у меня нет темы, я совершенно выжат». Тогда Мария Луиза взяла чистый лист бумаги и, подражая почерку По, вывела заглавие: *The Bells*, by E. A. Poe, а затем и первую строку: “The Bells, the little silver bells.” Поэт быстро окончил строфу. Мария Луиза предложила начало второй строфы: “The heavy iron bells”, которую поэт немедленно продолжил.

В первоначальном варианте стихотворение состояло из 18 строк. Поэт вернулся к нему вновь зимой 1849 г., написал несколько вариантов (последний насчитывал 113 строк), которые отправил в разные журналы.

Несмотря на то, что стихотворение было «подсказано» поэту, его тема уже неоднократно возникала в рассказах По («Дьявол на колокольне», «Маска Красной Смерти»).

Стихотворение состоит из четырех частей, каждая из которых выдержана в особой тональности: серебряные колокольчики саней, свадебные колокола, набат, возвещающий об опасности, похоронный звон. Тема стихотворения — символическое изображение жизни человека: рождение, любовь, трагедия, смерть.

Всемирную известность получила музыкальная поэма для оркестра, хора и солистов «Колокола», написанная С. В. Рахманиновым на слова этого стихотворения в переводе К. Бальмонта.

45. TO HELEN

Посвящено Саре Елене Уитмен — поэтессе, поклоннице спиритизма и оккультных наук, богатой вдове. «Прелестная, утонченная, туманно-загадочная и ускользающая, облаченная в покровы из легкого шелка, она являлась, защищенная веером от чересчур резкого света дня, словно идеальное воплощение духовной женственности... Следом, развеваясь, тянулся тонкий, как паутина, шарф и едва уловимый запах эфира, которым был пропитан ее платок», — так описывали Сару Елену Уитмен современники.

14 февраля 1848 г. Сара Елена опубликовала стихотворение,

несомненно навеянное «Вороном» Э. По. В ответ поэт отправил ей свои ранние стихи («К Елене», 1831). Между ними завязалась переписка. 1 июня 1848 г. По переслал ей новое стихотворение — «К Елене». «Таинственный круг замкнулся. Мысли о Елене Уитмен стали преследовать его как наваяждение. Он был влюблен и с нетерпением ждал того момента, когда сможет увидеть «Елену», — писал один из биографов По Г. Аллен. Встреча состоялась в середине сентября, а через несколько дней поэт предложил миссис Уитмен руку и сердце.

15 декабря во время второго визита По в Провиденс между ним и Еленой Уитмен был заключен брачный контракт, причем родственники невесты позаботились о том, чтобы защитить имущественные интересы невесты: ценные бумаги на сумму 8.300 долларов переходили к матери Елены. По дал слово воздерживаться от спиртного. Свадьба должна была состояться 25 декабря. Однако По нарушил свое обещание, и помолвка была расторгнута.

Следует сказать, что душевное состояние По в эти месяцы было крайне неуравновешенным. Добиваясь согласия на брак с Еленой Уитмен, По писал страстные письма Энни Ричмонд (см. коммент. к № 46). Если бы не уязвленная гордость, можно было бы сказать, что отказ, полученный По, был им воспринят почти с радостью. Эта буря страстей, пронесшаяся над поэтом, очистила его душу. Во всех письмах По этого периода чувствуется явное облегчение, они полны радости возвращения к привычной жизни и литературному труду.

46. FOR ANNIE

Опубликовано в апреле 1849 г. в бостонском журнале *Flag of Our Union*. Посвящено Энни Ричмонд, с которой поэт познакомился осенью 1848 г., когда читал публичные лекции. Первую встречу с ней он описал в рассказе «Домик Лэндора»: «Не обнаружив ничего похожего на звонок, я легонько постучал в полуоткрытую дверь тростью. И тотчас же на пороге появилась фигура — молодая женщина лет двадцати восьми — стройная или скорее даже хрупкая, немного выше среднего роста. Видя, как она приближается с какой-то даже не поддающейся описанию сдержанной решимостью, я сказал себе: «Вот поистине грация, чуждая всякого искусства, напротив, совершенная своей естественностью». Второе впечатление, произведенное ею на меня, но гораздо более глубокое, нежели первое, было впечатление одухотворенности».

Через некоторое время поэт навестил семью Энни Ричмонд

вторично. Энни все больше завладевала его мыслями. Дом Ричмондов, дышащий спокойствием и уютом, показался ему раем. Ожидая окончательного решения Елены Уитмен, он понял, что не может жить без Энни Ричмонд. А позже, думая о своей возможной женитьбе на миссис Шелтон, По выбирал место для жилья «неподалеку от Энни».

Это стихотворение было напечатано со следующим предисловием одного из знакомых По — литератора Уилсона: «Вряд ли можно найти лучшее помещение капитала (неважно, кто это делает — правительство, общество или частное лицо), которое умножило бы славу нынешнего периода американской литературы, чем установив определенный годовой доход Эдгару По при условии, что он будет писать только по вдохновению, не будет продавать свои мысли журналам и не опубликует ничего, пока не пройдет год. Но, увы, надеяться на это бесполезно...» (цит. по кн.: *The Poems of E. A. Poe*. Ed. by K. Campbell, p. 288).

Стихотворение отличает особая легкость ритма — варианты анапеста, дактиля, амфибрахия. Именно эта легкость ввела в заблуждение С. Малларме, переведившего стихотворение на французский язык: он подумал, что речь идет о выздоровлении, а не о смерти.

“*I have drunk of a water / That quenches all thirst...*» — имеется в виду вода из Леты, в античной мифологии реки забвения.

47. ELDORADO

Написано в начале весны 1849 г. и опубликовано 21 апреля 1849 г. в бостонском журнале *Flag of Our Union*. Некоторые исследователи видят в нем свидетельство интереса По к современной проблематике — имеется в виду «золотая лихорадка», охватившая в конце 40-х годов США. По, однако, придал балладе философский смысл. Эльдorado из страны, сулящей лишь богатство, превращается у него в символ высших исканий человека.

48. TO MY MOTHER

Опубликовано 7 июля 1849 г. в бостонском журнале *Flag of Our Union*. Посвящено Марии Клемм, тетке поэта, матери Вирджинии. Это одно из немногих стихотворений, где поэт не скрывает и не зашифровывает реальных событий своей жизни. Мария Клемм была настоящим «добрым ангелом» своего маленького семейства. Она

обивала пороги редакций, выпрашивая аванс для «бедного Эдди»; старалась, как могла, облегчить полунищенское существование семьи. После смерти Вирджинии Мария Клемм продолжала заботиться о По. Строя планы своей будущей семейной жизни (вначале имея в виду Елену Уитмен, затем — Эльмиру Шелтон), По ставил непременным условием, чтобы его «Мадди» — так он называл свою тетку, жила бы вместе с ними.

По форме стихотворение представляет сонет.

My mother — my own mother... — Мать По, Элизабет По, актриса, умерла, когда Эдгару было два года.

49. ANNABEL LEE

Опубликовано 9 октября 1849 г. в газете *New York Tribune*. Написано, вероятно, весной 1849 г. Сразу несколько женщин претендовали на то, чтобы считаться героиней этого стихотворения — и не удивительно, ибо По был щедр на посвящения, особенно устные. Тем не менее, большинство исследователей склонны видеть в этом стихотворении дань памяти Вирджинии, умершей 30 января 1847 г.

UNCOLLECTED POEMS

50. O TEMPORA! O MORES!

«**O Tempora! O Mores!**» — «О времена, о нравы!» — восклицание Цицерона в его речи против Катилины.

Демокрит из Абдера (род. ок. 470 г.) был известен как «смеющийся философ», т. к. считал, что юмор — часть «*summum bonum*» — высшего блага человеческой природы.

with a Vestris air — Вестри — знаменитая семья танцоров, три поколения которой выступали на сценах европейских театров и получили широкую известность.

...This there the seat of reason lies in him — намек на ахиллесову пяту.

51. TO MARGARET

Это стихотворение составлено из строчек, принадлежащих разным поэтам, причем ради юмористического эффекта они намеренно искажены (1 строка — из Мильтона, 3—4 — из Каупера, 5—6 — из Шекспира, 7 — из Попа).

Написано в альбом балтиморской красавицы Маргарет Бэссет. Альбом был продан на аукционе в 1930 г. ее внучкой, носящей имя Ленор...

52. TO OCTAVIA

Написано в альбом Октавии Уолтон, внучки губернатора штата Джорджия. В 1827 г. Октавия навестила своих балтиморских родственников, в доме которых, вероятно на вечеринке, и познакомилась с юным поэтом.

53. IMITATION

Обычно считается ранним вариантом стихотворения *A Dream Within a Dream* (окончательная редакция—1849 г.). Однако они имеют так мало общего, что их можно рассматривать как отдельные стихотворения.

54. ALONE

В стихотворении особенно ярко звучит тема, излюбленная у европейских романтиков: разрыв мечты и действительности. Поэт подчеркивает свою отчужденность от людей, нежелание окунаться в обыденность жизни. В стихотворении отчетливо проступают байроновские мотивы—неистовая страсть, вызывающая непонимание окружающих, «бурная жизнь», «видение демона».

Многие критики—например, А. Тейт—склонны считать это стихотворение литературным кредо юного поэта.

Написано в альбом Люси Холмс—одной из балтиморских знакомых По—в 1829 г.

Впервые опубликовано в 1875 г. и вызвало ожесточенный спор между издателем и крупнейшим знатоком творчества По—Д. Х. Ингрэмом, т. к. последний считал авторство По сомнительным. Однако после проведения тщательной экспертизы, на которой присутствовали и криминалисты, авторство По было доказано.

55. TO ISAAC LEA

Написано в мае 1829 г. в письме издателю Айзеку Ли, в котором По обсуждал план издания своего сборника, куда собирался включить поэму «Аль-Аараф» и стихотворения. Однако переговоры окончились безрезультатно.

56. ELIZABETH

Этот акrostих был написан в 1829 г. в альбом кузины По, Элизабет Ребекки Херринг (имя адресата читается по начальным буквам каждой строки). Судя по отзывам современников, Элизабет была очень красива. Поэт много лет переписывался с ней; она навестила семью По в 1846 г., во время болезни Вирджинии.

57. AN ACROSTIC

Второй акrostих, посвященный Элизабет Херринг.

L.E.D. — инициалы английской поэтессы Летиции Элизабет Лэндон (Letitia Elizabeth Landon), весьма популярной в США в 1820-х годах.

Zantippe — имеется в виду жена Сократа (Xanthippe), известная своим сварливым нравом.

Endimion — миф об Эндимионе несколько искажен поэтом: по легенде Эндимион был не убит, а усыплен в пещере, куда богиня Луны приходила к нему каждую ночь.

58. LINES ON JOE LOCKE

Единственное из сохранившихся сатирических стихотворений, написанных По во время учебы в Вест-Пойнте. Известно, что По устроил подписку среди кадетов для издания книги стихов. Велико было их разочарование, когда вместо колких эпиграмм, высмеивающих офицеров и преподавателей, они прочитали поэму «Аль-Аараф»...

Лейтенант Джозеф Локк (1808—1864) — помощник военного инструктора по военной тактике в Вест-Пойнте. В его обязанности входило докладывать о нарушениях воспитанниками правил внутреннего распорядка.

59. INTRODUCTION

В настоящем виде была напечатана лишь однажды — в сборнике *Poems* 1831 г. Два четверостишия под названием *Preface* вошли в сборник *Al Aaraaf, Tamerlane and Minor Poems* (1829). Позже По назвал этот отрывок *Romance* (см. коммент. на с. 396).

60. FAIRY LAND

Хотя это стихотворение (1831) и принято считать измененным вариантом *Fairy-Land* (1829), однако поэт столь значительно переработал его, что практически возникло новое произведение. Отдельные строки перекликаются с другими стихотворениями По (*A Dream Within a Dream, The Valley of Unrest, The Sleeper*).

61. THE VALLEY NIS

Ранний вариант стихотворения *The Valley of Unrest* написан в 1831 г. и значительно отличается от окончательной редакции (ср. № 22).

62. A PAEAN

Считается ранним вариантом *Lenore*. Та же тема трактуется в *Irene* и *The Sleeper*.

63. TO —

Это послание (как и *The Divine Right of Kings*, № 64)—еще один штрих к поэтической переписке Э. По и Ф. С. Осгуд: написано в ответ на стихотворение поэтессы *So Let It Be...* Опубликовано в конце мая 1845 г. *Ellen King*—псевдоним Осгуд.

65. STANZAS [TO F.S.O.]

Адресовано Ф. С. Осгуд; опубликовано 15 ноября 1848 г. в *Graham's Magazine*.

66. TO MISS LOUISE OLIVIA HUNTER

Посвящено юной поэтессе Луизе Оливии Хантер. По всей вероятности, это—дань «южной галантности», столь присущей Э. По. В это время поэт был тяжело болен после смерти Вирджинии и написал это стихотворение по просьбе М. Л. Шью—возможно, чтобы «поддержать юное дарование» (молодой поэтессе весьма симпатизировала Ф. С. Осгуд).

67. LINES ON ALE

Существует легенда, что поэт написал это стихотворение в маленькой таверне г. Лоуэлла. Он приехал в этот городок в 1848 г. для чтения лекции «Поэты и поэзия Америки». Говорят, что это стихотворение украшало стены таверны вплоть до 1920 г.

Е. Нестерова

Эдгар Аллан По
«СТИХОТВОРЕНИЯ»

Сборник

(На английском языке с параллельным русским текстом)

Составитель
ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА НЕСТЕРОВА

Издательский редактор *В. Я. Бонар*
Художник *Ю. М. Сковородников*
Художественный редактор *П. В. Иващенко*
Технический редактор *И. К. Дергунова*
Корректоры *Л. В. Данинбург, Е. В. Солнцева*

ИБ № 4206

Сдано в набор 31.07.87. Подписано в печать 15.08.88. Формат 70×100¹/₃₂. Бумага офсетная. Гарнитура таймс. Печать офсетная. Условн. печ. л. 16,77. Усл. кр.-отт. 33,86. Уч.-изд. л. 19,12. Тираж 73 710 экз. Заказ № 1408. Цена 2 р. Изд. № 3845

Издательство «Радуга» В/О «Совэксспорткнига» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
119859, Москва, ГСП-3, Zubovskiy bulvar, 17

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 170024, г. Калинин, пр. Ленина, 5.



